Андрей Платонов

Жена машиниста



АНДРЕЙ
ПЛАТОНОВ

ЖЕНА МАШИНИСТА



Повести
и рассказы

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство 1979

Р2
П37

Текст печатается по изданиям:
Андрей Платонов. В прекрасном и яростном мире. М., «Художественная литература», 1965.
Андрей Платонов. Избранное. М., «Московский рабочий», 1966.
Андрей Платонов. Течение времени. Повести и рассказы. М., «Московский рабочий», 1971.
Андрей Платонов. Рассказы. Красноярское книжное изд-во, 1972.
Андрей Платонов. Потомки солнца. Повести и рассказы. М., «Советский писатель», 1974.

Составитель и автор вступительной статьи Н. Г. Кузин.

П $\frac{70302-071}{М158(03)-79}$

НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

Противоречивые и в то же время категорические чувства охватывают нас всякий раз, когда мы предпринимаем попытки войти в сокровенные тайники мыслей большого художника. Возникает странное, невыразимо-трепетное ощущение, когда хочется как бы исповедоваться перед кем-то.

Но постепенно возбуждение наше не то чтобы проходит вовсе, но обретает ту уравновешенную форму, когда «ум, алчущий познаний», подчиняет себе душевную сумятицу. Стремление постигнуть напряженность мироощущения подлинного художника сопряжено с повышенной активностью нашего воображения, с пробуждением обостренного чувства самоанализа. В конечном счете, постигая хотя бы некоторую часть мировоззренческих исканий творца, мы очень часто открываем и «себя в себе», свой рисунок мира, свое очарование жизнью...

1

Обращение к произведениям выдающегося русского советского писателя Андрея Платоновича Платонова (1899—1951) всегда невольно и зачастую с новой стороны приоткрывает нам двери в сферу самопознания. Свидетельством тому не только непрестанно растущий огромный читательский интерес к писателю с момента его «вторичного возвращения» в отечественную словесность (с конца 50-х — начала 60-х годов), но и непосредственное воздействие его художественных открытий на творчество и виднейших литераторов современности (от С. Залыгина до В. Распутина и В. Лихоносова) и более молодых.

Андрей Платонов начал пробовать свои силы в литературе (в стихах) очень рано, еще в дореволюционную пору, когда после четырехклассной городской школы четырнадцатилетним парнишкой был вынужден идти работать сначала в контору воронежского страхового общества «Россия», а потом литейщиком на трубный завод, помощником машиниста на локомобиле...

Но подлинное ощущение себя как личности и своего истинного творческого призвания он обрел с победой Великого Октября.

«Я жил и томился, потому что жизнь превратила меня из ребенка во взрослого человека, лишая юности. До революции я был мальчиком, а после нее уже некогда быть юношей, некогда расти, надо сразу нахмуриться и биться... Фраза о том, что революция — паровоз истории, превратилась во мне в странное и

хорошее чувство: вспоминая ее, я очень усердно работал на паровозе. Были во мне тогда и другие — такие же слова (из детского чтения):

В селе за рекою
Потух огонек...

Эти стихи... сразу же объяснили мне уют, скромность и теплоту моей родины — и от них я больше любил уже любимое. Позже слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции»,— так вспоминал в 1922 году о своем взрослении писатель в письме к будущей жене М. А. Платоновой.

Примечательнейшее признание: «слова о революции-паровозе» и строки из пушкинского стихотворения как бы одновременно помогают Платонову найти свое место в жизни — место «взрослого человека».

Такое двуединое[1] восприятие обновляющегося мира и себя в этом мире (через революцию и любовь к слову) Платонов сохранит и в годы первого практического участия в революционном преобразовании общества, совмещая службу в отрядах ЧОНа, работу в железнодорожном депо, в Воронежском губернском земельном управлении с активной журналистской деятельностью, и во все последующие годы профессионального писательского подвижничества до самого смертного часа.

Правда, были моменты, когда гармония двуединства нарушалась волею обстоятельств. Так, например, в автобиографии 1924 года писатель говорит, что в трудную для народного хозяйства страны пору (1922—1924) он почти целиком ушел в практическую работу: «Засуха 1921 года произвела на меня чрезвычайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом — литературой».

Об этом же он скажет и по горячим следам засухи: «Но какая скука только писать о томящихся миллионах, когда можно действовать и кормить их. Большое слово не тронет голодного человека, а от вида хлеба он заплачет, как от музыки, от которой он уже никогда не заплачет. Отныне наша жалость и кипение души будут остывать не в форме искусства, а в форме работы, преобразующей материю, скручивающей мир...» («Воронежская коммуна», 1921, 25 авг.)

---

[1] Это двуединство, разумеется, вычленено нами отнюдь не в противовес нерасторжимому триединству платоновского мировоззрения (народ, поэзия, революция), о котором очень точно сказал критик В. Васильев в своей книге «Сопричастность жизни» (М., «Современник», 1977), а для того, чтобы подчеркнуть благотворную равновеликость воздействия на писателя художественного слова и революционного дела.

В эти и последующие три года Платонов действительно проделывает громаднейшую работу по мелиорации и электрификации сначала в Воронежской, а затем в Тамбовской областях, но никогда не прекращает и «созерцательного» занятия, ибо прекрасно сознает свою неостановимую «страсть к размышлению и писательству», ставшую, по его же признанию, «основным и телесным» делом..

Уже публикации Платонова в периодике первых послереволюционных лет (только в 1918—1922 годах в газетах «Воронежская коммуна», «Красная деревня», журналах «Красный луч», «Железный путь», «Кузница», «Красная нива» и других им опубликованы сотни корреспонденций, десятки статей, стихов и рассказов) свидетельствовали о незаурядных литературных данных молодого автора. В этих же ранних платоновских работах вполне отчетливо обнаруживаются и многие черты его поздней зрелой прозы: масштабность философской концепции, пронзительный (проповеднический) гуманизм, напряженная «мыслеемкость» образа и неповторимый рисунок платоновского стиля. Современный широкий читатель пока знает очень немногие произведения писателя той поры (рассказы «Маркун», «Потомки солнца»), но те, кто знаком с ранним платоновским творчеством не понаслышке, единодушны во мнении, что первые прозаические опыты Платонова, равно как и его публицистика тех лет, показывают рождение самобытного художника и оригинального мыслителя.

Революцию Платонов воспринял как реальное воплощение своей сокровенной мечты, когда «человек каменный, еле зеленеющий мир превращает в чудо и свободу...» И сам человек, превращая мир в «чудо и свободу», возрождается заново. Возрождается, создает себя прежде всего через труд,— вот почему тема труда занимает столь важное место в творчестве Платонова.

Еще в первые годы революционного переустройства жизни, когда в произведениях некоторых писателей преобладал больше разрушительный, нежели созидательный пафос, молодой инженер из потомственных пролетариев и начинающий художник слова угадывал в «великих героях, мучениках и гениев терпения и труда», то есть в рабочем люде России, огромную творческую мощь как раз созидательного начала.

Следует, разумеется, сказать, что платоновская вера в рукотворную мощь пролетариата носила в ту пору несколько абстрактный характер. Тут давали себя знать историко-философские заблуждения писателя (он рассматривал весь доктябрьский период как царство эмоций, а в послеоктябрьском видел торжествующую поступь разума), абсолютизация профессиональных знаний в человеке, их возвышение над его нравственной (при-

родной) сущностью, чрезмерное возвеличивание «вселенского человека», оторванного от бытийных традиций прошлого, от родной почвы, а в связи с последним — художественно-публицистическая проповедь рационализма, приоритета научного знания над законами природы — тут, видимо, сказалось увлечение Платонова идеями оригинального русского мыслителя-утописта Н. Ф. Федорова (1828—1903) — автора «Философии общего дела», выдвинувшего, в частности, идею регуляции природы средствами науки и техники (известно, что федоровские философские воззрения оказали заметное влияние не только на Платонова, на Н. Заболоцкого, например)...

Впрочем, отношение к диктату науки у Платонова было довольно сложным и не совсем «по Федорову» [1], хотя общий пафос федоровской концепции (проповедь всеобщего объединенного и добровольного труда во имя управления природой) окажется очень длительное время созвучным философским устремлениям писателя.

Как человек, влюбленный в технику, горячо верящий в неисчерпаемые возможности и силы науки (об этом свидетельствуют те же рассказы «Маркун», «Потомки солнца» и, написанные несколько позднее, во второй половине 20-х годов, «Лунная бомба», «Эфирный тракт»), Платонов, однако, никогда не фетишизировал голый научный техницизм, наоборот, развенчивал его однобокость, предупреждал, какой губительный урон он может принести, если оторвется от жизни, встанет над человеком. Не случайно писатель признавался в одном из писем: «...я больше люблю мудрость, чем философию, и больше знание, чем науку», как бы проводя разделительную черту между наукой подлинной (знание) и отвлеченной, воспарившей над жизнью. И герои его названных выше ранних произведений (а они в подавляющем большинстве одержимы научными идеями) тоже разнятся как раз, если воспользоваться выражением П. В. Палиевского, «мерой научности» [2].

Инженеры-изобретатели Матиссен и Михаил Кирпичников («Эфирный тракт») самозабвенно верят в великую преобразовательную силу научных открытий. Однако вера их питается отнюдь не одинаковыми источниками. Матиссен напрочь оторван от окружающего мира, ему претит всякое проявление в человеке чувственности, для достижения своей научной цели он вытра-

[1] Весьма убедительно это раскрыто в статье М. Лобанова «Образ и схема», вошедшей в его книгу «Надежда исканий». (М., «Современник», 1978, с. 145—159).

[2] Палиевский П. В. Литература и теория. М., «Современник», 1978.

вил из себя, в сущности, все человеческое, и, только достигнув этой цели, «он понял, что ему неинтересно и то, чего он добился... Он узнал, что сила сердца питает мозг, а мертвое сердце умерщвляет ум». Да, слишком запоздалое прозрение.

В отличие от Исаака Матиссена Михаил Кирпичников и в периоды наивысшего научного «заболевания» не до конца утрачивает способность оставаться земным человеком («Очутившись в вагоне, Кирпичников сразу почувствовал себя не инженером, а молодым мужиком с глухого хутора и повел беседу с соседями на живом деревенском языке»), и это помогает ему не бездумно-апологетически воспринимать все научные открытия, но и видеть в них и нечто противоестественное жизни и даже страшное... Примечательна в этом смысле реакция Кирпичникова на изобретение, которое ему показал Матиссен (суть этого изобретения — «обстреливание мозгом вселенной»).

«Кирпичников почувствовал горячую жгущую струю в сердце и в мозгу — такую же, какая ударила его в тот момент, когда он встретил свою будущую жену. И еще Кирпичников сознал в себе какой-то тайный стыд и тихую робость — чувства, которые присущи каждому убийце даже тогда, когда убийство совершено в интересах целого мира. На глазах Кирпичникова Матиссен явно насиловал природу. И преступление было в том, что ни сам Матиссен, ни все Человечество еще не представляло из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветней всех человеков».

Как видим, демаркационная линия научных миров обоих ученых обозначена довольно четко.

Бездушный (а значит, и безнравственный) техницизм, насилующий природу, может быть, и способен преобразовать мир, но такое «преобразование» антигуманно в своей основе.

Каков же тогда путь осуществления мечты по превращению жизни в «чудо и свободу»? Путь этот — в творческом и одухотворенном труде миллионов людей (а не избранных одиночек) — вот что все больше и больше начинает привлекать Платонова-художника. Естественно, что и миллионы — тоже не близкая масса, а коллектив разных индивидуальностей, неповторимых ЛИЧНОСТЕЙ, великолепно сознающих свою особую миссию в переделке мира (на первый взгляд здесь тоже много общего с той же идеей Федорова Н. Ф. об объединенно-добровольном труде, но коллективизм Платонова — конкретное воплощение дела жизни, а не иллюзорное прожектерство). К этому коллективу, и в частности к рабочей его ветви, полностью причислял себя и сам писатель, сообщая в одном из писем А. М. Горькому: «Рабочий класс — это моя родина, и мое будущее связано с пролетариатом...»

В 20-е годы Платонов создает ряд художественных произведений, основными героями которых и являются рядовые представители многомиллионной армии обновителей мира. Разумеется, далеко не сразу с победой Октября пришли платоновские труженики к осознанию себя творцами истории. Не сразу многие из них пришли к пониманию великой силы коллективизма, хотя в некоторых рассказах («Родина электричества», «О лампочке Ильича», «Луговые мастера») уже присутствует праздничный дух мирного коллективного ратоборчества, когда «прелести сущей жизни» выявляются непосредственно как результаты слаженной деятельности содружества людей. Эти рассказы — художественные свидетельства зарождения небывалого еще в истории трудового содружества — «вечной смычки двух апогеев революции — рабочего и крестьянина», как говорит председатель кредитного товарищества из рассказа «О лампочке Ильича».

Большинство платоновских тружеников из произведений 20-х годов («Происхождение мастера», «Сокровенный человек», «Ямская слобода» и др.) в первую очередь озабочены поисками правды жизни в условиях революционной взвихренности, душевным самопознанием в «хорошее революционное утро». Миросозерцание их в основе своей пока резко индивидуалистическое, ибо выросли они в предреволюционные годы (в «темноте далеких родин»), когда, как говорил позднее Платонов в статье «Павел Корчагин», «еще не было взаимного ощущения человека человеком, столь связанных общей целью и общей судьбой».

Все они (и Фома Пухов — герой повести «Сокровенный человек», и Захар Павлович из повести «Происхождение мастера», и Филат из «Ямской слободы») — превосходные умельцы-мастера, хранящие в душах своих тайное очарование рабочего ритма, по преимуществу знавали в своей жизни не радость работы, а ее подневольную необходимость, ее истязательные щупальцы, высасывающие из человека физические и нравственные силы.

Революция застала платоновских тружеников как раз в состоянии душевного разлада между жаждой деятельности и бесперспективностью практических результатов этой деятельности, озарила их томления светом перспективы превращения «плетня в политике» (а по сокровенности своей «плетень» этот есть кладезь народной мудрости и сноровки) в полноправного члена общества. Может быть, именно потому эти люди после победы революции бродят по дорогам России, чтобы глубже познать «теплоту родины», то есть разобраться в самой сути революционных преобразований.

Путешествуя по стране, «странные» платоновские правдоискатели постепенно преодолевают индивидуалистические барьеры

настороженности и даже неприятия окружающей действительности, начинают даже прозревать (чаще стихийно пока) до мысли о необходимой связи отдельного человека со всем человечеством («оказалось, что на свете жил хороший народ и лучшие люди не жалели себя»), а самое основное — пытаются осмыслить и свое духовное возрождение в условиях обновляющегося общества.

«Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснилось в заросшей жизнью душе Пухова. Революция — как раз лучшая судьба для людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как нарождение.

Во второй раз — после молодости — Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, неимоверной в тишине и в действии. Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, родственность всех тел к своему телу. Он постепенно догадывался о самом важном и мучительном. Он даже остановился, опустив глаза,— нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и смелость революции. Вот где таилось для него сомнение.

Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены. Он тронулся по своей линии к буровой скважине, легко превозмогая опустевшее счастливое тело.

...Свет и теплота утра напряглись над миром и постепенно превращались в силу человека».

Другой платоновский «чудак» Захар Павлович («Происхождение мастера»), сначала «ради безошибочности» отвергающий революции, потом желающий вступить в такую партию, которая бы сразу установила «земное блаженство», еще не приходит к пуховскому ощущению революции как хранительнице «родственности всех тел к своему телу» (к этому пришел его приемный сын Саша Дванов, поверивший, что «революция — это конец света», то есть смерть всему, что убивало в человеке человеческое), но подспудно чувствуется, что человеколюбие, пытливый ум старого мастера непременно должны привести его в лагерь тех людей, у которых «нечаянное в душе».

«Нечаянное в душе» у платоновских правдоискателей — это не просто стихийная вспышка-озарение, а пробуждение высокого гуманистического сознания. Человек, преодолевая эгоцентрическую замкнутость (виной тому чаще всего была косность социальных условий прошлого), стал сознавать практическую пользу и необходимость своих усилий для других, понимать свое существование не только в житейском, но и, если хотите, в философ-

ском, бытийном предназначении. (Вспомним, к примеру, такой момент: в написанной годом раньше «Сокровенного человека» повести «Епифанские шлюзы» Платонов на судьбе английского инженера Бертрана Рамсея Перри, приглашенного Петром Великим для строительных работ, показывает, как человек, тоже горячо любящий дело, работу, но в силу тогдашних исторических условий лишенный ощущения «родственности... тел», гибнет в тоске и одиночестве.) Влюбленные в работу герои Платонова начинают переосмыслять и свою «трудолюбивую песню» в том смысле, что в их сознании происходит переакцентировка ценностей: раньше, казалось, они любили технику, орудия труда больше человека (и Захар Павлович, знающий, «что есть машины и другие мощные изделия, и по ним ценил благородство человека», и Фома Пухов...), по постепенно коренным образом меняют свое мнение. Недаром один из героев очерка «Первый Иван» (1930) электрик Гюли (киргиз по национальности) горячо верит, что в скором времени «всякий киргиз будет электрик и механик,— от них пустыня зарастет, а человек останется».

Конечно, отношение человека к труду остается главным критерием в оценке личности. Только отношение это перерастает простую профессиональную добросовестность. Платоновские умельцы вообще-то и на ранней стадии революции непрестанно бились над непростым вопросом социально-этической сущности своего профессионального долга: ради самопрокорма совершенствует человек свое рабочее мастерство, или есть тут более возвышенные причины?..

Отгремели бои гражданской. Революция — этот «край света» — встала на мирные рельсы. «Чудные» платоновские труженики в своих периферийных уголках продолжают напряженно искать смысл своего предназначения в жизни, продолжают мучиться над болевыми проблемами времени. Уже появлялись первые ростки новых социалистических отношений, но вместе с ними выползали на свет и сорняки, грозящие притормозить завоевания революции. Это приспособленцы всех мастей и рангов, пытающиеся не только примазаться к бытию новой жизни, но и стать, так сказать, ее идеологами, «интеллектуальным» авангардом времени.

К числу таких «теоретиков» и принадлежит герой повести «Город Градов» Иван Федотович Шмаков — фигура в некотором роде непреходящая, в смысле бюрократического усердия и лицемерия.

В гротескной форме лепит Платонов этот тип философствующего бюрократа, ухитрившегося прийти к такому спекулятивному умозаключению: «Бюрократия имеет свои заслуги перед ре-

волюцией: она склеила расползавшиеся части народа, пропитала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей».

Демагогические разглагольствования шмаковых можно было бы не принимать всерьез, если бы за ними не стояла более опасная болезнь, именуемая обывательщиной. Именно на обывательскую (а также мелкобуржуазную) психологию и рассчитаны шмаковские «Записки государственного человека» — этот «революционный» кодекс бюрократии.

В «Городе Градове» Платонов смеется. Но это не равнодушное зубоскальство, свойственное некоторым сатирическим произведениям той поры. Платоновский смех можно назвать гоголевским «смехом сквозь слезы» — в нем слышна острая боль и переживание за то, как бы шмаковщина не помешала пробуждению «нечаянного в душах» любимых писателю беспокойных тружеников — правдоискателей, с большим трудом нащупывающих жизненную тропу в социализм.

К счастью, реальные социальные преобразования общества развивались с такой стремительностью, что рассеивали или почти рассеивали опасения писателя относительно «градовщины». Под влиянием этих преобразований коренным образом менялась и нравственно-психологическая конституция человека труда вообще, и его отношение к порученному делу в частности.

2

Медленно, сначала нередко интуитивно, но постепенно все более осмысленно постигая течение жизни, приходят герои-труженики Платонова к тому пониманию труда, которое писатель концентрированно охарактеризовал в статье «Пушкин — наш товарищ»: «Риск искусства художника любого рода оружия — от поэта до машиниста — всегда был. Задача социализма — свести этот риск на нет, потому что творческий, изобретательный труд лежит в самом существе социализма».

Стремление к практической возможности «творческого, изобретательного труда» свойственно всем героям-труженикам платоновских произведений, но есть и существенные различия, скажем, между странствующими искателями правды 20-х годов и их душевными братьями, любовно выписанными в рассказах 30-х годов. Различия как психологического, так и мировоззренческого склада.

И те и другие без остатка растворены в народе, их мировосприятие является неотъемлемой частью народного мироощущения. Крепка и нерушима их связь, вернее, слитность с природой, де-

лом (как справедливо отметил тот же В. Васильев, «герой писателя весь, целиком внутри жизни, внутри народа, внутри природы, внутри дела». Это обстоятельство неоднократно подчеркивается даже названиями произведений — «Среди народа», «Среди животных и растений»). Неизменной в известной степени осталась и их приверженность к философичности (любомудрию), к некоторой своеобразно-задиристой парадоксальности в толковании жизненных явлений.

Но рабочие герои платоновских произведений 30-х годов теперь уже мало похожи на тех чудаковато-наивных наблюдателей, что несколькими годами раньше хоть и с тайной радостью, но все же не без сомнения вглядывались в «конец света», сотворенный Октябрем. Теперь платоновские мастера труда чувствуют себя активными преобразователями общества, твердо знают свое значение в общем деле народа и страны, что и позволяет машинисту Петру Савельичу (рассказ «Жена машиниста») сказать такие горделивые слова: «А без меня народ неполный!»

А пришли они к такой высоте самосознания через горнило первого послереволюционного десятилетия, сыгравшего исключительную роль в мировоззренческой и нравственной перековке человека из народа. Преодолевая рукотворным трудом косность стихии, освобождаясь от ее диктата, этот человек под воздействием новых форм жизни, опирающихся на принципы равноправия, товарищеской взаимовыручки, сознательной и одухотворенной целеустремленности к преобразованию мира, энергично возвращает себе отнятое вековым социальным гнетом чувство хозяина земли не в номинальном, а действенно-практическом смысле. При полной поддержке складывающихся общественных отношений в стране возвращает он себе и право на дерзновенное соревнование со временем, и чувство ЛИЧНОЙ ответственности за этот захватывающий поединок. Вот почему и приходит к нему теперь уже не интуитивное, а осознанное понимание своей кровной неделимости со всем народом и своей незаменимости в этом возрожденном усилиями революции слитке. Этот человек и становится теперь главным героем художественных творений Андрея Платонова.

Но писатель стремился в своих произведениях не просто зафиксировать рождение, становление и развитие новых нравственно-мировоззренческих форм в сознании человека, но дать художественное и философское обобщение тем одушевленным силам, которые способствовали укреплению в людях чувства обязательности «дороги к друг другу» и ликвидации «провала между истиной и действительностью», чувства прочного стояния на земле. Одной из таких сил, укрепляющих дух, гордое сознание сво-

ей великолепной, по словам Горького, должности человека, является труд. В условиях социалистических преобразований общества, революционизировавших сознание рабочих людей, труд становится для платоновских умельцев радостным смыслом жизни, магистральным маршрутом движения по ней. В сущности, это стало тем самым «открытием нового центра внутри человека», ради которого и вел писатель свой подвижнический поиск.

Некогда вечно торопящиеся «познать всю вселенную» платоновские герои, не утрачивая активности и неуемной любознательности, предпочитают теперь разобраться в проблемах бытия не спеша, ибо установившийся размеренный лад жизни уже не терпел суетливости. В превращении неусидчивого и говорливого правдоискателя-индивидуалиста в раздумчивого, уверенного в своих силах коллективиста, не утратившего, однако, своей индивидуальной своеобычинки, Платонов видит не какой-то феномен, а закономерную и типичную диалектику психологии человека труда в обществе, покончившем с классовым антагонизмом.

Такие изменения в образе жизни рабочего человека, в его характере, психологии порождались всеми социально-общественными формами, в том числе и бурным развитием науки и техники. Сам писатель неизменно оставался верен своей любви к научно-техническому прогрессу, очень своеобразно мыслил о предназначении науки, хотя нашему современнику размышления его могут показаться странноватыми.

«...Наука родилась в тот момент, когда человек почувствовал себя отделенным от вселенной, когда природа извергла из себя это существо, и человек захотел снова слиться с ней для своего спасения...

...Все научные теории, атомы, ионы, электроны, гипотезы, всякие законы — вовсе не реальные вещи, а отношения человеческого организма ко вселенной в момент познающей деятельности...»,— находим мы такие рассуждения в платоновских письмах к жене в 30-годы.

А в одном из писем 1936 года писатель сообщает, что он «...нечаянно открыл принцип беспроводной передачи энергии». Затем уточняет: «Но только принцип. До осуществления — далеко. Будет время — напишу статью в научный журнал... Страсть к научной истине не только не умерла во мне, а усилилась за счет художественного созерцания»,— делится своими замыслами с женой Андрей Платонович.

Страстью к научной истине в ее практическом техническом воплощении наделены и платоновские труженики. Отмеченная выше любовь платоновских героев к технике, к машинам растет,

как говорится, по восходящей линии, но в произведениях 30—40-х годов она уже не носит самодовлеющего характера. Рабочие герои писателя, может быть, более, чем когда-либо, понимают необходимость благотворного союза человека и техники, однако они видят теперь в этом союзе надежную силу ускорения «счастливого смысла совокупного, образующего творчества».

Платонов был свидетелем и участником ранней стадии технической революции, которая нашла в его лице восторженного поклонника и поэтического летописца. Как и в наше время повсеместного научно-технического господства, так и в годы его зачаточных форм остро вставали проблемы глубинного нравственного содержания, многие из которых прямо или косвенно зависели от главного человеческого предназначения: способности трудиться по душевному порыву.

И надо прямо сказать, что Платонов оказался одним из самых проницательных художников слова. Он сумел не только высокохудожественно, психологически убедительно раскрыть характер человека, одухотворенного творческим трудом; своим пристальным художническим вниманием к теме труда он предвосхитил ее авангардное место в будущем. Недаром и в наши дни многие из затронутых писателем проблем, касающихся, так сказать, «производственной» жизни, остаются исключительно животрепещущими. Платонов, как неоднократно отмечалось в нашей критике, превосходно умел описывать и саму механику этой производственной жизни, но никогда не упускал из поля зрения главного «механизма» — человека, нравственно-психологического климата его души.

Рабочие герои Платонова уже тогда прекрасно сознавали, что духовную наполненность труда не возместить никакими «мозговыми» техническими усовершенствованиями. Можно трудиться простым землекопом, когда вся «техника» — обычная штыковая лопата, можно управлять новейшим мощным (для своего времени) паровозом, ощущая в себе, как машинист Мальцев из рассказа «В прекрасном и яростном мире», «отважную уверенность великого мастера», но и в том и в другом случаях чувствовать великую радость и сердечный смысл труда, гордость рабочего призвания.

В чем тут секрет?

В общем-то секрет, по Платонову, лежит опять же в сокровенности человека, хранящего «нечаянное в душе». В новых условиях жизни на первое место среди этого «нечаянного в душе» выходят чувство сопричастности с другими и чувство ответственности перед всем народом. Но чувства эти не являются «свыше», они откристаллизовываются в сложных жизненных коллизиях

«прекрасного и яростного мира», мучительно, порой с большим трудом преодолевая честолюбие, равнодушие, вызванное житейскими невзгодами (Ольгина тетка и частично Лиза из рассказа «На заре туманной юности»), эгоцентрическую замкнутость (вспомним раздвоенность Фроси и ее нетерпеливое ожидание немедленного счастья из великолепного рассказа «Фро», или нравственное прозрение пятерых сыновей умирающей старухи в другом платоновском шедевре — в «Третьем сыне», или скрипача Сарториуса из рассказа «Скрипка», жаждущего испытать свою душу во всей многообразной судьбе нового мира»).

Но зато какую полноту мировосприятия испытывают платоновские герои, когда в сердце их прорывается выстраданное чувство спаянности с сердцами других. (Это то, о чем говорил писатель в 20-е годы о себе: «И теперь исполняется моя долгая, упорная детская мечта — стать самому таким человеком, от мысли и руки которого волнуется и работает весь мир ради меня и ради всех людей, и из всех людей — я каждого знаю, с каждым спаяно мое сердце».)

Спаянность такая и была ядром одухотворения труда. В рассказе «Свежая вода из колодца» Платонов выявляет психологическую суть подобной спаянности, когда бригада землекопов так наладила трудовой ритм, что за короткий срок каждый рабочий увеличил выработку в три-четыре раза. И все это достигается без каких-либо технологических усовершенствований, без «давления свыше» и, на первый взгляд, даже без особого энтузиазма самих землекопов. Да, при не очень внимательном чтении может создаться впечатление, что герои рассказа относятся к работе довольно безразлично. Однако не будем торопливы и прочитаем рассказ, воспользовавшись советом его автора, «бережно и медленно». Давайте вникнем не только в идею произведения, но и в его поэтику, ибо даже в ней можно обнаружить отражение сокровенных платоновских раздумий, сливающихся часто с мыслями его героев.

Герои Платонова — люди дела, поэтому не любят пустых и праздных разговоров. И писатель, видимо, для более резкого выделения именно этой черты и начинает повествование без всяких преамбул: деловито, по-информационному сухо сообщает о получении землекопами задания.

«Нашему прорабу была поставлена задача: ему приказали усилить грунты в ложе пруда, чтобы предупредить поглощение вод сухими песками... Прораб сказал нам, что для усиления грунтов в ложе водоема надобно столько же сделать работы, сколько было сделано для постройки всего тела плотины, и даже немного больше».

И следом автор дает живую сцену: разговор прораба с рабочими. Все это подано исключительно сжато, лаконично, по за каждой репликой мы сразу чувствуем характер. И видим, что землекопы из бригады Бурлакова не механические исполнители, а мыслящие работники.

Прораб, ставя перед рабочими задачу, сам сомневается в реальности ее выполнения.

«— А вдруг да не справитесь и не закончите под снег? — встревоженно сказал прораб.— Лучше я затребую добавочную силу через район...

— Кого потребуешь? Землекопов? — спросил Зенин.— Откуда вам их дадут, из какой области-губернии? Везде же работа идет... Чего зря говорить.

— Ну а что делать?

— Как чего? Работать будем! — ответил Бурлаков прорабу.

— А рук же мало, как тут быть?..

Здесь объявился молчавший Альвин.

— Так и быть, чтобы лучше было, — сказал он. — Работа большая, и мы ее начнем делать — и сами из маленьких большими станем.

Прораб недовольно поглядел на Альвина.

— Чего ты, Георгий? — обратился он к Альвину. — Ты знаешь, сколько кубометров придется на каждую душу?

— Это я понимаю, я сосчитал... Так мы же не без сознания станем работать... Мы не без смысла живем!..»

Слова Альвина не вызывают возражения, и можно предположить, что и всем другим членам бригады внутренне свойственно такое же одушевленное понимание важности работы.

Но вряд ли достаточно только одного понимания, чтобы трудиться с максимальной отдачей. И тут как бы на помощь своим героям приходит сам автор с идеей важности вдохновения в работе. Вдохновения, которое может прийти не сразу, но и не обойдет человека, живущего «не без смысла». И тогда даже труд «по обязанности» становится если не любимым, то, по крайней мере, ничуть не тягостным.

Егор Альвин, выполняющий ежедневно четыре-пять норм задания, является проводником авторской идеи вдохновения. Повествование в рассказе ведется от первого лица, однако мы словно бы забываем об этом, зато непроизвольно замечаем, как авторские раздумья «переселяются» в его героев. И когда вчитываешься в размышления Альвина о земле, звездах, и когда следишь, как бригадир Бурлаков дотошно пытается изучить приемы работы Альвина,— всюду ощущаешь, что платоновские герои даже в кажущемся одиночестве ни на минуту не прерывают своих напря-

женных раздумий о судьбе других, о связях с народом. Мышлению их присуща тяга к философскому осмыслению действительности (как и для героев 20-х годов), но обобщения их всегда конкретны, неотрывны от насущных проблем времени и психологически точны.

«— В работе лучше всего,— смущенно и тихо произнес Альвин,— будто со всем народом и природой говоришь. Мне, бывало, всегда кажется так.

— А что тебе кажется? Что тебе народ говорит?

— Слов не слышно. Это не такой разговор.

— А ты ему?

— Я ничего не говорю. Я люблю его. Сказать нечего и нехорошо, работаешь — и все.

Бурлаков удивленно смотрел на Альвина...»

Да, на первых порах для членов бурлаковской бригады альвинские признания о том, как он за работой ведет речь «будто со всем народом и природой», то есть всегда помнит, что он составная часть народа (это ведь, в сущности, сокровенная авторская идея), кажутся удивительными. Но постепенно и сам Бурлаков, и другие землекопы, тоже хранящие «нечаянное в душах», не только воспринимают альвинский «секрет» вдохновения, но и естественно овладевают им как нормой рабочего поведения, суть которого и выразил тот же Бурлаков: «У каждого, дорогой, своя душа, а свежую воду мы все льем из одного колодца».

Мы видим, как задушевная авторская идея вдохновения и ее философское ядро (чувство неделимости «человека со всем народом») ненавязчиво обретает психологическую плоть в поступках героев рассказа, и понимаем, что альвинское «...желание вывести равнодушного человека из его скупого оцепенения, чтобы он увидел невидимое им — людей и природу в их усилии к будущему времени — и соединился с ними своим сердцем и своей силой», есть не что иное, как обретенный маршрут духовного прозрения.

3

Герои Платонова живут всегда в реальном мире, который как уже сказано, сам писатель называл «прекрасным и яростным», отстаивая тем самым художественное право на изображение этого мира и человека в мире во всей сложности, минуя и отвергая утвердившиеся в литературе все условные формы, которые, по мысли писателя, зачастую «не способны дать той глубокой радости, которая равноценна помощи в жизни». Известно, что Платонов довольно критично оценивал творчество таких писателей-

романтиков, как Паустовский и Грин, хотя и отдавал должное их художественному дару. В отвлеченном романтизме Платонов усматривал «стерилизацию действительности», подмену искусства искусственностью.

Не соглашаясь в чем-то с чересчур категоричными и резковатыми оценками, которые давал Платонов, скажем, тем же писателям-романтикам, мы все-таки должны признать правоту Платонова-реалиста в главном: «центр литературного дела всегда будет заключаться в существе человека, а не возле него».

И сам Платонов всегда искал и находил такой «центр» прежде всего в «существе человека», причем по преимуществу человека-современника. Даже в произведениях, сюжетно-событийная канва которых проходит, казалось бы, и вне окружающего писателя современного ему мира («Епифанские шлюзы», в какой-то мере «Такыр» и «Джан») или в мире, сотворенном фантазией художника (упоминаемые выше научно-фантастические рассказы 20-х годов «Лунная бомба», «Эфирный тракт», а также «Мусорный ветер» и отчасти «По небу полуночи», написанные в конце 30-х годов), писатель подходил к проблеме человека под углом зрения самой что ни на есть современности.

Что же касается рабочих героев писателя, то тут Платонову — превосходному знатоку психологии труженика — приходилось делать «дополнительные усилия» лишь в художественно-философском плане, жизненное же присутствие таких героев не требовало каких-то «особых» поисков.

Платоновские мастера, как уже было показано, необратимо приобщаются к коллективному труду, видя в нем аккумулятор творческого вдохновения. Но ничуть не растрачивают они и свой индивидуально-творческий почерк.

Для героя рассказа «В прекрасном и яростном мире» машиниста Александра Мальцева, водившего состав «с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и потому властвующего над ним», для другого машиниста (более старшего поколения, чем мальцевское), Петра Савельича из рассказа «Жена машиниста», без шутки заявляющего, что плохое масло он лучше сам съест, а в машину даст «чистое и обильное», для старого механика-пенсионера Евстафьева из рассказа «Фро», ежедневно «в неистовстве одинокого энтузиазма» с волнением ждущего, что его снова вызовут в поездку, и для многих других платоновских умельцев преданная любовь к своей профессии сочетается с государственным отношением к порученному делу.

Тот же Петр Савельич, утверждающий, что без него «народ неполный», в то же время отлично понимает: незаменимых лю-

дей нет. И поэтому он заботится о подрастающей смене, передавая младшим свой богатый профессиональный и житейский опыт. Помощника машиниста Кондрата Петр Савельич усыновляет не только потому, что сердечно полюбил его, но и для того, чтобы воспитать настоящего преемника и продолжателя своей жизненной программы.

«Ну ладно, будешь сыном, я тебя научу. А так вы нам все машины покалечите!» — любовно, но в то же время строго говорит Петр Савельич. Мастер не хочет доверять технику равнодушному человеку, его забота о продолжателях дела своего в первую очередь нацелена в область нравственную.

Применительно опять же к нашим дням Петр Савельич — самый настоящий наставник, и его взгляд на эту проблему шире простого профессионального учительства, что опять же делает рассказ Платонова «Жена машиниста» исключительно современным и актуальным.

Андрей Платонов полагал, что «творческий, изобретательный труд лежит в самом существе социализма». А творчество всегда в конечном итоге — радость. Потому-то платоновские герои и в драматичных, даже в трагичных, ситуациях сохраняют бодрый дух и крепкую веру в торжество добра и света жизни. Но оптимизм их очень далек от того бодрячества, которое было свойственно героям некоторых произведений предвоенных лет, или самоуверенной напористости (зачастую эгоистичной в самом корне), коей нередко наделены претендующие на «положительность» персонажи современных произведений.

Восторженное отношение к миру у платоновских тружеников выстрадано всем жизненным опытом, стало убеждением, своего рода регулятором морального состояния.

Стрелочник Сергей Семенович Пучков (рассказ «Среди животных и растений») из той же альвинской породы: для него тоже ничто не было безжизненным.

«Изредка Пучков подымал на пути после прихода поезда какую-либо вещь и долго смотрел на нее и вникал в ее значение. Затем он воображал человека, которому эта вещь принадлежала, и успокаивался лишь тогда, когда ясно представлял себе в своей фантазии этого промчавшегося безызвестного пассажира. Благодаря пустой папиросной коробке, ключу для консервных банок или комку ваты Сергею Семеновичу приходилось думать о характере, лице и даже о цели жизни того человека, который только что миновал его в поезде...» В Сергее Семеновиче исключительно развито чувство прекрасного, он умеет и в будничной обстановке видеть поэзию жизни — вспомним, как он умеет завороженно слушать музыку, доносящуюся из рабочего общежития, или когда

обходит свой дистанционный участок, вслушиваясь в «вечное пение металла — от течения воздуха, от шума дальних листьев и ветвей, заставляющих рельсы напевать в ответ»: он умеет сострадать, проникнуться сочувствием чужой беде и радости. Все это внутренне подготовило его к подвигу, который он совершает: рискуя собственной жизнью, предотвращает аварию, спасая десятки жизней других людей.

И семнадцатилетняя Ольга, спасшая жизнь подразделению красноармейцев (рассказ «На заре туманной юности»),— тоже из той же когорты одаренных высокой душевностью людей, для которых гуманизм дела всегда опережает гуманизм слова.

В рассказе «В прекрасном и яростном мире» Платонов проводит одного из таких вот гуманистов дела через сложные сцепления тревожно-трагедийных ситуаций, когда в жизни временно возобладала жестокость «роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека» (в реальном мире не исключены и такие состояния).

Главный герой рассказа — машинист Мальцев, в характер которого писатель вложил лучшие черты рабочего человека — пытливый ум, талантливость, сознание силы своего мастерства, чувство гражданского долга — попадает в беду: в сильный грозовой разряд он временно потерял зрение и чуть не сделал крушение пассажирского состава, был отстранен от работы и осужден.

Ради восстановления справедливости друзья активно встают на защиту Мальцева, но «роковые силы» не менее активно препятствуют этой справедливости: машиниста подвергают жестокому эксперименту, в результате которого он по-настоящему слепнет. И все-таки зло вынуждено отступить перед силой солидарности, товарищества и взаимовыручки, от имени которой говорит помощник Александра Мальцева по работе и он же — герой-рассказчик: «Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, что не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, я чувствовал свою особенность человека».

«Особенность человека» — это опять же то самое «нечаянное в душе», только здесь оно более сконцентрировано вокруг идеи необоримости человека-коллективиста «внезапными и враждебными силами нашего прекрасного и яростного мира».

И снова нелишне обратить внимание на тот факт, когда в ряде современных произведений эта исключительной важности идея нередко оттесняется новейшими конструктивными концепциями, в основе которых возобладали вдруг «суперменские» деяния волевых индивидуалистов. Конечно, время внесло свои коррективы в психологический склад человека, и платоновские труженики, наверное, кажутся иным поборникам «деловитости» милыми, но наивными

простаками. Но не будем забывать, что именно эти «простаки» сумели отстоять Отечество от коричневой чумы фашизма прежде всего потому, что им в высшей степени было присуще чувство слитности с народом и то чувство коллективизма, что выработалось в них на поприще мирного «творческого, изобретательного» труда, обернулось практическим подтверждением несокрушимости советского человека в боях с врагом — об этом писатель с присущей ему художественной силой поведал нам в таких произведениях, как «Броня», «Офицер и солдат», «В сторону заката солнца», «Одухотворенные люди» и многих других, написанных непосредственно с мест кровопролитных боев (Платонов был военным корреспондентом с 1942 по 1946 год). Потому-то и ничуть не выспренними представляются гордые слова прошедшего огневые поля сражений солдата Федора («Солдат-труженик, или После войны»), что человек «все может, если захочет, если не будет бояться», как не представляются отвлеченными воспоминания-размышления другого «труженика и воина» — полковника Назара Фомина из рассказа «Афродита», познавшего силу общности людей на тернистом жизненном пути (они, эти размышления, сливаются и с авторскими мыслями): «...Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде,— тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтоб иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни».

В рассказе «Афродита» затронут, между прочим, тот жизненно-философский пласт зарождения коллективистского мирочувствования в душах людей, что неподвластен никаким «эпохальным» деформациям — он опирается на социально-нравственное прозрение человека, ощутившего себя «не посторонним прохожим» на земле и «исполнителем своего долга перед народом» одновременно.

* * *

Судьба отпустила Андрею Платонову не так уж много календарных лет (он скончался на 52-м году), и это были весьма нелегкие годы не только в смысле житейской малоустроенности, но и в творческом плане.

Читая полные оптимизма, света и жизнестойкости произведения Платонова, мы нынче, естественно, удивляемся чуть ли не единодушию современной писателю критики, видевшей в его творениях нечто сумрачное, а то и вовсе безысходное. Задним, как говорится, числом, конечно, можно упрекнуть ту критику в не-

дальнозоркости, конъюнктурности, недоброжелательности и оказаться близко к истине.

Но тут еще надо помнить и другое: Платонов, в сущности, двигался в своих исканиях по целине, был одним из первопроходцев, а шаг первопроходца не только удивляет, но и раздражает, особенно если не совсем уясняется его побудительная первопричина (не говоря уже о конечной цели).

А то, что открытия Андрея Платонова в исследовании темы труда, например психологии рабочего человека, носили первопроходческий характер,— бесспорно. Ведь даже во многих общепризнанных произведениях 20—40-х годов, затрагивающих эти проблемы и, безусловно, сыгравших большую роль в литературном процессе своего времени, мы все-таки не найдем столь глубоко последовательного проникновения в душу разбуженного революционными преобразованиями человека-труженика (открытие «нечаянного в душе» и тончайшее психологическое исследование этапов развития этого «нечаянного» в ритме эпохи), как у Андрея Платонова.

Писатель не только выявлял то новое, что нарождалось и развивалось в человеке, но и непременно наделял этого человека способностью хранить «в себе, хотя бы в скрытом состоянии, зерно будущего, как элемент личного характера», и это обстоятельство в первую очередь делает платоновский гуманистический пафос неповторимо своеобразным и более чем действенным ныне...

Справедливыми и точными представляются следующие высказывания и о личности самого Платонова:

«Андрей Платонов принадлежал к подлинно художественным натурам, которые самой природой были созданы для творческого подвига. Достоинства таких людей опережают их возраст, самое стремительное накопление знаний, мудрости. Само время идет им чаще всего навстречу, мир обнажает перед ними свое «прекрасное и яростное» начало» [1].

Да, наше время идет навстречу Андрею Платонову, и прежде всего потому, что сам писатель неустанно шел навстречу будущему, шел не в наглухо застегнутом сюртуке, а, если воспользоваться его же выражением, с «обнажившимся сердцем».

Николай Кузин

---

[1] Чалмаев В. Пламя познания.— «Литературная учеба», 1978, № 2, с. 141.

ПОВЕСТИ



ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАСТЕРА

Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Туда люди приходят жить прямо из природы. Появляется человек — с зорким и до грусти изможденным лицом, который все может починить и оборудовать, но сам прожил жизнь необорудованно. Любое изделие, от сковородки до будильника, не миновало на своем веку рук этого человека. Не отказывался он также подкидывать пометки, лить волчью дробь и штамповать поддельные медали для продажи на сельских старинных ярмарках. Себе же он никогда ничего не сделал — ни семьи, ни жилища. Летом он жил просто в природе, помещая инструмент в мешке, а мешком пользовался как подушкой — более для сохранности инструмента, чем для мягкости. От раннего солнца он спасался тем, что клал себе с вечера на глаза лопух. Зимой же он жил на остатки летнего заработка, уплачивая церковному сторожу за квартиру тем, что звонил ночью часы. Его ничто особо не интересовало — ни люди, ни природа, кроме всяких изделий. Поэтому к людям и полям он относился с равнодушной нежностью, не посягая на их интересы. В зимние вечера он иногда делал ненужные вещи: башни из проволоки, корабли из кусков кровельного железа, клеил бумажные дирижабли и прочее — исключительно для собственного удовольствия. Часто он даже задерживал чей-нибудь случайный заказ,— например, давали ему на кадку новые обручи подогнать, а он занимался устройством деревянных часов, думая, что они должны ходить без завода — от вращения земли.

Церковному сторожу не нравились такие бесплатные занятия.

— На старости лет ты побираться будешь, Захар Палыч! Кадка вон который день стоит, а ты о землю деревяшкой касаешься — неведомо для чего!

Захар Павлович молчал: человеческое слово для него что лесной шум для жителя леса — его не слышишь. Сторож курил и спокойно глядел дальше — в бога он от частых богослужений не верил, но знал наверное, что ничего у Захара Павловича не выйдет: люди давно на свете живут и уже все выдумали. А Захар Павлович считал наоборот: люди выдумали далеко не все, раз природное вещество живет нетронутыми руками.

Через четыре года в пятый село наполовину уходило в шахты и города, а наполовину в леса — бывал неурожай. Издавна известно, что па лесных полянах даже в сухие годы хорошо вызревают травы, овощ и хлеб. Оставшаяся на месте половина деревни бросалась на эти поляпы, чтобы уберечь свою зелень от моментального расхищения потоками жадных странников. Но на этот раз засуха повторилась и в следующем году. Деревня заперла свои хаты и вышла двумя отрядами на большак,— один отряд пошел побираться к Киеву, другой — на Луганск на заработки; некоторые же повернули в лес и в заросшие балки, стали есть сырую траву, глину и кору и одичали. Ушли почти одни взрослые — дети сами заранее умерли либо разбежались нищенствовать. Грудных же постепенно затомили сами матери-кормилицы, не давая досыта сосать.

Была одна старуха — Игнатьевна, которая лечила от голода малолетних: опа им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и дети мирно затихали с сухой пеной па губах. Мать целовала ребенка в состарившийся, морщипистый лобик и шептала:

— Отмучился, родимый. Слава тебе, господи!

Игнатьевна стояла тут же:

— Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в раю ветры серебряные слушает...

Мать любовалась своим ребенком, веря в облегчение его грустной доли.

— Возьми себе мою старую юбку, Игнатьевна,— нечего больше дать. Спасибо тебе.

Игнатьевна простирала юбку на свет и говорила:

— Да ты поплачь, Митревпа, немножко: так тебе полагается. А юбка твоя ношеная-переношеная, прибавь хоть платочек ай утюжок подари...

Захар Павлович остался в деревне один — ему понравилось безлюдье. Но жил он больше в лесу, в землянке с одним бобылем, питаясь наваром трав, пользу которых заранее изучил бобыль.

Все время Захар Павлович работал, чтобы забывать голод, и приучился из дерева делать все то же, что раньше делал из металла. Бобыль же всю жизнь ничего не делал — теперь тем более; до пятидесяти лет он только смотрел кругом — как и что — и ожидал: что выйдет в конце концов из общего беспокойства, чтобы сразу начать действовать после успокоения и выяснения мира; он

совсем не был одержим жизнью — и рука его так и не поднялась ни на женский брак и ни на какое общеполезное деяние. Родившись, он удивился и так прожил до старости с голубыми глазами на моложавом лице. Когда Захар Павлович делал дубовую сковородку, бобыль поражался, что на ней все равно ничего нельзя изжарить. Но Захар Павлович наливал в деревянную сковородку воды и достигал на медленном огне того, что вода кипела, а сковородка не горела. Бобыль замирал от удивления:

— Могучее дело. Куда ж тут, братцы, до всего дознаться...

И у бобыля опускались руки от сокрушающих всеобщих тайн. Ни разу никто не объяснил бобылю простоты событий — или он сам был вконец бестолковый. Действительно, когда Захар Павлович попробовал ему рассказать, отчего ветер дует, а не стоит на месте, то бобыль еще более удивился и ничего не понимал, хотя чувствовал происхождение ветра точно.

— Да неужто? Скажи, пожалуйста! Стало быть, от солнечного припеку? Милое дело!..

Захар Павлович объяснил, что припек — дело не милое, а просто жара.

— Жара?! — удивился бобыль.— Ишь ты, ведьма какая!

У бобыля только передвигалось удивление с одной вещи на другую, но в сознание ничего не превращалось. Вместо ума он жил чувством доверчивого уважения.

За лето Захар Павлович переделал из дерева все изделия, какие знал. Землянка и ее усадебное прилежащее место были уставлены предметами технического искусства Захара Павловича — полный комплект сельскохозяйственного инвентаря, машин, инструментов, предприятий и житейских приспособлений — все целиком из дерева. Странно, что ни одной вещи, повторявшей природу, не было: например, лошади, колеса или еще чего.

В августе бобыль пошел в тень, лег животом вниз и сказал:

— Захар Павлович, я помираю, я вчера ящерицу съел... Тебе два грибка принес, а себе ящерицу сжарил. Помахай мне лопухом по верхам — я ветер люблю.

Захар Павлович помахал лопухом, принес воды и попоил умирающего.

— Ведь не умрешь. Тебе только кажется.

— Умру, ей-богу, умру, Захар Палыч,— испугался

солгать бобыль.— Нутрё ничего не держит, во мне глист громадный живет, он во мне всю кровь выпил...

Бобыль повернулся навзничь:

— Как ты думаешь, бояться мне аль нет?

— Не бойся,— положительно ответил Захар Павлович.— Я бы сам хоть сейчас умер, да все, знаешь, занимаешься разными изделиями...

Бобыль обрадовался сочувствию и к вечеру умер без испуга. Захар Павлович во время его смерти ходил купаться в ручей и застал бобыля уже мертвым.

Ночью Захар Павлович проснулся и слушал дождь: второй дождь с апреля месяца. «Вот бы бобыль удивился»,— подумал Захар Павлович. Но бобыль мокнул один в темноте ровно льющихся с неба потоков.

Сквозь сонный, безветренный дождь что-то глухо и грустно запело — так далеко, что там, где пело, наверно, не было дождя и был день. Захар Павлович сразу забыл бобыля, и дождь, и голод и встал. Это гудела далекая машина — живой, работающий паровоз. Захар Павлович вышел наружу и постоял во влаге теплого дождя, напевающего про мирную жизнь, про обширность долгой земли. Темные деревья дремали, раскорячившись, объятые лаской спокойного дождя; им было так хорошо, что они изнемогали и пошевеливали ветками без всякого ветра.

Захар Павлович не обратил внимания на отраду природы, его разволновал неизвестный смолкший паровоз. Когда он ложился обратно спать, он подумал, что дождь и тот действует, а я сплю и прячусь в лесу напрасно: умер же бобыль, умрешь и ты; тот ни одного изделия за весь свой век не изготовил — все присматривался да приноравливался, всему удивлялся, в каждой простоте видел дивное дело и руки не мог ни на что поднять, чтобы чего-нибудь не испортить; только грибы рвал, и то находить их не умел; так и умер, ни в чем не повредив природы.

Утром было большое солнце, и лес пел всею гущей своего голоса, пропуская утренний ветер под исподнюю листву. Захар Павлович заметил не столько утро, сколько смену работников — дождь уснул в почве, его заместило солнце; от солнца же поднялась суета ветра, взъерошились деревья, забормотали травы и кустарники и даже сам дождь, не отдохнув, снова вставал на ноги, разбуженный щекочущей теплотой, и собирал свое тело в облака.

Захар Павлович положил в мешок свои деревянные изделия — сколько их в нем уместилось — и пошел вдаль, по грибной бабьей тропинке. На бобыля он не посмотрел: мертвые невзрачны, хотя Захар Павлович знал одного человека, рыбака с озера Мутево, который многих расспрашивал о смерти и тосковал от своего любопытства; этот рыбак больше всего любил рыбу не как пищу, а как особое существо, наверное знающее тайну смерти. Он показывал глаза мертвых рыб Захару Павловичу и говорил: «Гляди — премудрость! Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая, и глядит без выражения; телок ведь и тот думает, а рыба — нет, она все уже знает». Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же — об интересе смерти. Захар Павлович его отговаривал: «Нет там ничего особого: так что-нибудь тесное». Через год рыбак не вытерпел и бросился с лодки в озеро, связав себе ноги веревкой, чтобы нечаянно не поплыть. Втайне он вообще не верил в смерть, главное же, он хотел посмотреть — что там есть: может быть, гораздо интересней, чем жить в селе или на берегу озера; он видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, и она его влекла. Некоторые мужики, которым рыбак говорил о своем намерении пожить в смерти и вернуться, отговаривали его, а другие соглашались с ним: «Что ж, испыток не убыток, Митрий Иваныч. Пробуй, потом нам расскажешь». Дмитрий Иваныч попробовал: его вытащили из озера через трое суток и похоронили у ограды на сельском погосте.

Сейчас Захар Павлович проходил мимо погоста и искал могилу рыбака в частоколе крестов. Над могилой рыбака не было креста: ни одно сердце он не огорчил своей смертью, ни одни уста его не поминали, потому что он умер не в силу немощи, а в силу своего любопытного разума. Жены у рыбака не осталось — он был вдовый, сын же был малолеток и жил у чужих людей. Захар Павлович приходил на похороны и вел мальчишку за руку — ласковый и разумный такой мальчик, не то в мать, не то в отца; где сейчас этот мальчик? — наверно, умер первым в эти голодные годы как круглый сирота. За гробом отца мальчик шел без горя и пристойно.

— Дядя Захар, это отец нарочно так улегся?

— Не нарочно, Саш, а сдуру — тебя теперь в убыток ввел. Не скоро ему рыбу ловить придется.

— А чего тетки плачут?

— Потому что они хоньжи!

Когда гроб поставили у могильной ямы, никто не хотел прощаться с покойным. Захар Павлович стал на колени и притронулся к щетинистой свежей щеке рыбака, обмытой на озерном дне. Потом Захар Павлович сказал мальчику:

— Попрощайся с отцом — он мертвый на веки веков. Погляди на него — будешь вспоминать.

Мальчик прилег к телу отца, к старой его рубашке, от которой пахло родным живым пóтом, потому что рубашку надели для гроба — отец утонул в другой. Мальчик пощупал руки, от них несло рыбной сыростью, на одном пальце было надето оловянное обручальное кольцо в честь забытой матери.

Ребенок повернул голову к людям, испугался чужих и жалобно заплакал, ухватив рубашку отца в складки как свою защиту; его горе было безмолвным, лишенным сознания остальной жизни и поэтому неутешимым; он так грустил по мертвому отцу, что мертвый мог бы быть счастливым. И все люди у гроба тоже заплакали от жалости к мальчику и от того преждевременного сочувствия самим себе, что каждому придется умереть и так же быть оплаканным.

Захар Павлович при всей своей скорби помнил о дальнейшем.

— Будет тебе, Никифоровна, выть-то! — сказал он одной бабе, плакавшей навзрыд и с поспешным причитанием.— Не от горя воешь, а чтоб по тебе поплакали, когда сама помрешь. Ты возьми-ка мальчишку к себе — у тебя все равно их шестеро, один фальшью какой-нибудь между всеми пропитается.

Никифоровна сразу пришла в свой бабий разум и осохла свирепым лицом: она плакала без слез, одними морщинами:

— И то будто! Сказал тоже — фальшью какой-то пропитается! Это он сейчас такой, а дай возмужает — как почнет жрать да штаны трепать — не наготовишься!

Взяла мальчика другая баба, Мавра Фетисовна Дванова, у которой было семеро детей. Ребенок дал ей руку, женщина утерла ему лицо юбкой, высморкала его нос и повела сироту в свою хату.

Мальчик вспомнил про удочку, которую сделал ему отец, а он закинул ее в озеро и там позабыл. Теперь,

должно быть, уже поймалась рыба и ее можно съесть, чтобы чужие люди не ругали за ихнюю еду.

— Тетя, у меня рыба поймалась в воде,— сказал Саша.— Дай я пойду достану ее и буду есть, чтоб тебе меня не кормить.

Мавра Фетисовна нечаянно сморщила лицо, высморкала нос в кончик головного платка и не пустила руку мальчика.

Захар Павлович задумался и хотел уйти в босяки, но остался на месте. Его сильно тронуло горе и сиротство,— от какой-то неизвестной совести, открывшейся в груди, он хотел бы без отдыха идти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами. Но его остановили очередные изделия: староста ему дал чинить степные часы, а священник настраивать рояль. Захар Павлович сроду никакой музыки не слыхал — видел в уезде однажды граммофон, но его замучили мужики и он не играл: граммофон стоял в трактире, у ящика были поломаны стенки, чтобы видеть обман и того, кто там поет, а в мембрану вдета штопальная игла. За настройкой рояля он просидел месяц, пробуя заунывные звуки и рассматривая механизм, вырабатывающий такую нежность. Захар Павлович ударял по клавише — грустное пение поднималось и улетало; Захар Павлович смотрел вверх и ждал возвращения звука — слишком он хорош, чтобы бесследно растратиться. Священнику надоело ждать настройки, и он сказал: «Ты, дядюшка, напрасно тона не оглашай, ты старайся дело приурочить к концу и не вникай в смысл тебе непотребного». Захар Павлович обиделся до корней своего мастерства и сделал в механизме секрет, который устранить можно в одну секунду, но обнаружить без особого знания нельзя. После поп еженедельно вызывал Захара Павловича: «Иди, друг, иди — опять тайнообразующая сила музыки пропала». Захар Павлович не для попа сделал секрет и не для того, чтобы самому часто ходить наслаждаться музыкой: его растрогало противоположное — как устроено то изделие, которое волнует любое сердце, которое делает человека добрым; для этого он и приладил свой секрет, способный вмешиваться в благозвучность и покрывать его завыванием. Когда после десяти починок Захар Павлович понял тайну смешения звуков и устройство дрожащей гладкой доски, он вынул из рояля секрет и навсегда перестал интересоваться звуками...

Теперь Захар Павлович на ходу вспоминал прошедшую жизнь и не сожалел о ней. Многие устройства и предметы он лично постиг в утекшие годы и мог их повторить в своих изделиях, если будет подходящий материал и инструменты. Шел он сквозь село ради встречи неизвестных машин и предметов, что гудят за той чертой, где могучее небо сходится с деревенскими неподвижными угодьями. Шел он туда с тем сердцем, с каким крестьяне ходят в Киев, когда в них иссякает вера и жизнь превращается в дожитие.

На сельских улицах пахло гарью — это лежала зола на дороге, которую не разгребли куры, потому что их поели. Хаты стояли полные бездетной тишины; одичалые, переросшие свою норму лопухи ожидали хозяев у ворот, на дорожках и на всех обжитых, протоптанных местах, где ранее никакая трава не держалась и покачивались, как будущие деревья. Плетни от безлюдья тоже зацвели: их обвили хмель и повитель, а некоторые колья и хворостины принялись и обещали стать рощей, если люди не вернутся. Дворовые колодцы осохли, туда, свободно переползая через сруб, бегали ящерицы отдыхать от зноя и размножаться. Захара Павловича еще немало удивило такое бессмысленное происшествие, что на полях хлеб давно умер, а на соломенных крышах изб зеленела рожь, овес, просо и шумела лебеда: они принялись из зерен в соломенных покрытиях. В село перебрались также полевые желто-зеленые птицы, живя прямо в горницах изб; воробьи же снимались с подножия тучами и выговаривали сквозь ветер крыльев свои хозяйские деловые песни.

Минуя село, Захар Павлович увидел лапоть; лапоть тоже ожил без людей и нашел свою судьбу — он дал из себя отросток шелюги, а остальным телом гнил в прах и хранил тень над корешком будущего куста. Под лаптем была, наверное, почва посырее, потому что сквозь него тщилось пролезть множество бледных травинок. Из всех деревенских вещей Захар Павлович особенно любил лапоть и подкову, а из устройств — колодцы. На трубе последней хаты сидела ласточка, которая от вида Захара Павловича влезла внутрь трубы и там, в тьме дымохода, обняла крыльями своих потомков.

Вправо осталась церковь, а за ней — чистое знаменитое поле — ровное, словно улегшийся ветер. Малый колокол — подголосок — начал звонить и отбил полдень: две-

надцать раз. Повитель опутала храм и норовила добраться до креста. Могилы священников у стен церкви занесло бурьяном, и низкие кресты погибли в его чащах. Сторож, отзвонив в часы, еще стоял у паперти, наблюдая ход лета; будильник его запутался в многолетнем счете времени, зато сторож от старости начал чуять время так же остро и точно, как горе и счастье: что бы он ни делал, даже когда спал (хотя в старости жизнь сильнее сна — она бдительна и ежеминутна), но истекал час, и сторож чувствовал какую-то тревогу или вожделение, тогда он бил часы и опять затихал.

— Живой еще, дедушка? — сказал сторожу Захар Павлович.— Для кого ты сутки считаешь?

Сторож хотел не отвечать: за семьдесят лет жизни он убедился, что половину дел исполнил зря, а три четверти всех слов сказал напрасно: от его забот не выжили ни дети, ни жена, а слова забылись, как посторонний шум. «Скажу этому человеку слово,— судил себя сторож,— человек пройдет версту и не оставит меня в вечной памяти своей: кто я ему — ни родитель, ни помощник!»

— Зря работаешь! — упрекнул Захар Павлович.

Сторож на эту глупость ответил:

— Как так зря? На моей памяти наша деревня десять раз выходила, а потом обратно селилась. И теперь вовернется: долго без человека нельзя.

— А звон твой для чего?

Сторож знал Захара Павловича как человека, который давал волю своим рукам для всякой работы, но не знавшего цену времени.

— Вот тебе — звон для чего! Колоколом я время сокращаю и песню пою...

— Ну, пой,— сказал Захар Павлович и вышел вон из села.

На отшибе съежилась хатка без двора, видно, кто-то наспех женился, поругался с отцом и выселился. Хата тоже стояла пустой, и внутри ее было жутко. Одно только на прощанье порадовало Захара Павловича: из трубы этой хаты вырос наружу подсолнух,— он уже возмужал и склонился на восход солнца зреющей головой.

Дорога заросла сухими, обветшалыми от пыли травами. Когда Захар Павлович присаживался покурить, он видел на почве уютные леса, где трава была деревьями: целый маленький жилой мир со своими дорогами, своим теплом и полным оборудованием для ежедневных нужд

мелких озабоченных тварей. Заглядевшись на муравьев, Захар Павлович держал их в голове еще версты четыре своего пути и наконец подумал: «Дать бы нам муравьиный или комариный разум — враз бы можно жизнь безбедно наладить: эта мелочь — великие мастера дружной жизни; далеко человеку до умельца муравья».

Появился Захар Павлович на опушке города, снял себе чулан у многодетного вдовца — столяра, вышел наружу и задумался: чем бы ему заняться?

Пришел с работы столяр-хозяин и сел рядом с Захаром Павловичем.

— Сколько тебе за помещение платить? — спросил Захар Павлович.

Столяр не рассмеялся, а хотел это сделать — он как-то похрипел горлом: в голосе его слышна была безнадежность и то особое притерпевшееся отчаяние, которое бывает у кругом и навсегда огорченного человека.

— А ты чем занимаешься? Ничем? Ну, живи так, пока мои ребята тебе голову не оторвали...

Это он сказал верно: в первую же ночь сыновья столяра — ребята от десяти до двадцати лет — облили спящего Захара Павловича своей мочой, а дверь чулана приперли рогачом. Но трудно было рассердить Захара Павловича, никогда не интересовавшегося людьми. Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству. И в самом деле, утром Захар Павлович видел, как старший сын столяра ловко и серьезно делал топорище,— значит, главное в нем не моча, а ручная умелость.

Через неделю Захар Павлович так заскорбел от безделья, что начал без спроса чинить дом столяра. Он перешил худые швы на крыше, сделал заново крыльцо в сенях и вычистил сажу из дымоходов. В вечернее время Захар Павлович тесал колышки.

— Что ты делаешь? — спрашивал его столяр, промокая усы хлебной коркой,— он только что пообедал: ел картошку и огурцы.

— Может быть, на что годятся,— отвечал Захар Павлович.

Столяр жевал корку и думал: «Годятся могилы огораживать!»

Тоска Захара Павловича была сильнее сознания бесполезности труда, и он продолжал тесать колья до полной ночной усталости. Без ремесла у Захара Павловича

кровь от рук приливала к голове, и он начинал так глубоко думать о всем сразу, что у него выходил один бред, а в сердце поднимался тоскливый страх. Бродя днем по солнечному двору, он не мог превозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же — это простая страшная трубка, у которого внутри ничего нет, одна пустая тьма. Наблюдая городские дома, Захар Павлович открыл, что они в точности похожи на закрытые гробы, и пугался ночевать в доме столяра. Зверская работоспособная сила, не находя места, ела душу Захара Павловича, он не владел собой и мучился разнообразными чувствами, каких при работе у него никогда не появлялось. Он начал видеть сны: будто умирает его отец-шахтер, а мать поливает его молоком из своей груди, чтобы он жил; но отец ей сердито говорит: «Дай хоть свободно помучиться, стерва», потом долго лежит и оттягивает смерть; мать стоит над ним и спрашивает: «Скоро ты?»; отец с ожесточением мученика плюет, ложится вниз лицом и напоминает: «Хорони меня в старых штанах, эти Захарке отдашь!»

Единственно, что радовало Захара Павловича,— это сидеть на крыше и смотреть вдаль, где в двух верстах от города проходили иногда бешеные железнодорожные поезда. От вращения колес паровоза и его быстрого дыхания у Захара Павловича радостно зудело тело, а глаза взмокали легкими слезами от сочувствия паровозу.

Столяр смотрел-смотрел на своего квартиранта и начал кормить его бесплатно со своего стола. Сыновья столяра бросили в отдельную чашку Захара Павловича на первый раз соплей, но отец встал и с размаху, без всякого слова, выбил на скуле старшего сына бугор.

— Сам я человек как человек,— спокойно сказал столяр, сев на свое место,— но, понимаешь ты, такую сволочь нарожал, что того и гляди они меня кончат. Ты посмотри на Федьку! Сила — чертова: и где он себе ряжку налопал, сам не пойму — с малолетства на дешевых харчах сидят...

Начались первые дожди осени — без времени, без пользы: крестьяне давно пропали в чужих краях, а многие умерли на дорогах, не дойдя до шахт и до южного хлеба. Захар Павлович пошел со столяром на вокзал наниматься: у столяра там был знакомый машинист.

Машиниста они нашли в дежурке, где отсыпались паровозные бригады. Машинист сказал, что народу много,

а работы нет; остатки ближних деревень целиком живут на вокзале и делают что попало за низкий расценок. Столяр вышел и принес бутылку водки и круг колбасы. Выпив водки, машинист рассказал Захару Павловичу и столяру про паровозную машину и тормоз Вестингауза.

— Ты знаешь, инерция какая на уклонах бывает при шестидесяти осях в составе? — возмущенный невежеством слушателей, говорил машинист и упруго показывал руками мощь инерции.— Ого! Откроешь тормозной кран — под тендером из-под колодок синее пламя бьет, вагоны в затылок прут, паровоз дует с закрытым паром — одним разбегом в трубу клокочет! Ух, едрит твою мать!.. Налей! Огурца зря не купил: колбаса желудок запаковывает!..

Захар Павлович сидел и молчал: он заранее не верил, что поступит на паровозную работу,— куда ж тут ему справиться после деревянных сковородок! От рассказов машиниста его интерес к механическим изделиям становился затаенней и грустней, как отказанная любовь.

— А ты что заквок? — заметил машинист скорбь Захара Павловича.— Приди завтра в депо, я с наставником поговорю, может, в обтирщики возьмут! Не робей, сукин сын, раз есть хочешь...

Машинист остановился, не кончив какого-то слова.

— Но, дьявол, колбаса твоя задним ходом прет! За гривенник пуд, пищеброд, купил, лучше бы я обтирочными концами закусил... Но,— снова обратился машинист к Захару Павловичу,— но паровоз мне делай под зеркало, чтоб я в майских перчатках мог любую часть щупать! Паровоз ни-ка-кой пылинки не любит: машина, брат, это — барышня... Женщина уж не годится — с лишним отверстием машина не пойдет...

Машинист понес вдаль отвлеченные слова о каких-то женщинах. Захар Павлович слушал-слушал и ничего не понимал: он не знал, что женщин можно любить особо и издали, он знал, что такому человеку следует жениться. С интересом можно говорить о сотворении мира и о незнакомых изделиях, но говорить о женщине, как и говорить о мужчинах,— непонятно и скучно. Имел когда-то и Захар Павлович жену, она его любила,— а он ее не обижал,— но он не видел от нее слишком большой радости. Многими свойствами наделен человек, если страстно думать над ними, то можно ржать от восторга. Захар Павлович сроду не уважал таких разговоров.

Через час машинист вспомнил о своем дежурстве. Захар Павлович и столяр проводили его до паровоза, который вышел из-под заправки. Машинист еще издали служебным басом крикнул своему помощнику:

— Как там пар?

— Семь атмосфер,— ответил без улыбки помощник.

— Вода?

— Нормальный уровень.

— Топка?

— Сифоню.

— Отлично.

На другой день Захар Павлович пришел в депо. Машинист-наставник, сомневающийся в живых людях старичок, долго всматривался в него. Он так больно и ревниво любил паровозы, что с ужасом глядел, когда они едут. Если б его воля была, он все паровозы поставил бы на вечный покой, чтоб они не увечились грубыми руками невежд. Он считал, что людей много, машин мало; люди — живые и сами за себя постоят, а машина — нежное, беззащитное, ломкое существо: чтоб на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить, все заботы из головы выкинуть, свой хлеб в олеонафт макать — вот тогда человека можно подпустить к машине, и то через десять лет терпения!

Наставник изучал Захара Павловича и мучился: холуй, наверно,— где пальцем надо нажать, он, скотина, кувалдой саданет, где еле-еле следует стеклышко на манометре протереть, он так надавит, что весь прибор с трубкой сорвет,— разве ж допустимо к механизму пахаря подпускать?! Боже мой, боже мой,— молча, но сердечно сердился наставник,— где вы, старинные механики, помощники, кочегары, обтирщики? Бывало, близ паровоза люди трепетали, а теперь каждый думает, что он умней машины! Сволочи, святотатцы, мерзавцы, холуи чертовы! По правилу, надо бы сейчас же остановить движение! Какие нынче механики? Это крушение, а не люди! Это бродяги, наездники, лихачи,— им болта в руки давать нельзя, а они уже регулятором орудуют! Я, бывало, когда чуть что стукнет лишнее в паровозе на ходу, что-нибудь только запоет в ведущем механизме — так я концом ногтя, не сходя с места, чувствую, дрожу весь от страдания, на первой же остановке губами дефект найду, вылижу, высосу, кровью смажу, а втемную не поеду... А этот изо ржи да прямо на паровоз хочет!

— Иди домой — рожу сначала умой, потом к паровозу подходи,— сказал наставник Захару Павловичу.

Умывшись, на вторые сутки Захар Павлович явился снова. Наставник лежал под паровозом и осторожно трогал рессоры, легонько постукивая по ним молоточком и прикладываясь ухом к позванивавшему железу.

— Мотя! — позвал наставник слесаря.— Подтяни здесь гаечку на полниточки!

Мотя тронул гайку разводным ключом на полповорота. Наставник вдруг так обиделся, что Захару Павловичу его стало жалко.

— Мотюшка! — с тихой, угнетенной грустью сказал наставник, но поскрипывая зубами.— Что ты наделал, сволочь проклятая! Ведь я тебе что сказал: гайку!! Какую гайку? Основную! А ты контргайку мне свернул и с толку меня сбил! А ты контргайку мне осаживаешь! А ты опять-таки контргайку мне трогаешь! Ну что мне с вами делать, звери вы проклятые? Иди прочь, скотина!

— Давайте я, господин механик, контргайку обратно на полповорота отдам, а основную на полнитки прижму! — попросил Захар Павлович.

Наставник отозвался растроганным, мирным голосом, оценив сочувствие к своей правоте постороннего человека:

— А? Ты заметил, да? Он же, он же... лесоруб, а не слесарь! Он же гайку, гайку по имени не знает? А? Ну что ты будешь делать. Он тут с паровозом как с бабой обращается, как со шлюхой с какой! Господи боже мой!.. Ну, пойди, пойди сюда, поставь мне гаечку по-моему...

Захар Павлович подлез под паровоз и сделал все точно и как надо. Затем наставник до вечера занимался паровозами и ссорами с машинистами. Когда зажгли свет, Захар Павлович напомнил наставнику о себе. Тот снова остановился перед ним и думал свои мысли.

— Отец машины — рычаг, а мать — наклонная плоскость,— ласково проговорил наставник, вспоминая что-то задушевное, что давало ему покой по ночам.— Попробуй завтра топки чистить — приди вовремя. Но не знаю, не обещаю,— попробуем, посмотрим... Это слишком сурьезное дело! Понимаешь: топка! Не что-нибудь, а — топка!.. Ну, иди, иди прочь!

Еще одну ночь проспал Захар Павлович в чулане у столяра, а на заре, за три часа до начала работы, пришел в депо. Лежали обкатанные рельсы, стояли товарные ва-

гоны с надписями дальних стран: Закаспийская, Закавказская, Уссурийская железные дороги. Особые, странные люди ходили по путям: умные и сосредоточенные — стрелочники, машинисты, осмотрщики и прочие. Кругом были здания, машины, изделия и устройства.

Захару Павловичу представился новый искусный мир — такой давно любимый, будто всегда знакомый,— и он решил навеки удержаться в нем.

. . . .

За год до недорода Мавра Фетисовна забеременела семнадцатый раз. Ее мужик, Прохор Абрамович Дванов, обрадовался меньше, чем полагается. Созерцая ежедневно поля, звезды, огромный текущий воздух, он говорил себе: на всех хватит! И жил спокойно в своей хате, кишащей мелкими людьми — его потомством. Хотя жена родила шестнадцать человек, но уцелело семеро, а восьмым был приемыш — сын утонувшего по своему желанию рыбака. Когда жена за руку привела сироту, Прохор Абрамович ничего против не сказал:

— Ну что ж, чем ребят гуще, тем старикам помирать надежней... Покорми его, Мавруша!

Сирота поел хлеба с молоком и заболтал ногами, потом отодвинулся и зажмурился от чужих людей.

Мавра Фетисовна поглядела на него и вздохнула:

— Новое сокрушение господь послал... Помрет недоростком, должно быть: глазами не живуч, только хлеб будет есть напрасно.

Но мальчик не умирал два года и даже ни разу не болел. Ел он мало, и Мавра Фетисовна смирилась с сиротой.

— Ешь, ешь, родимый,— говорила она,— у нас не возьмешь, у других не схватишь...

Прохор Абрамович давно оробел от нужды и детей, ни на что не обращал глубокого внимания — болеют ли дети или рождаются новые, плохой ли урожай или терпимый,— и поэтому он всем казался добрым человеком. Лишь почти ежегодная беременность жены его немного радовала: дети были его единственным чувством прочности своей жизни — они мягкими маленькими руками заставляли его пахать, заниматься домоводством и всячески заботиться. Он ходил, жил и трудился как сонный, не имея избыточной энергии для внутреннего счастья и ничего не зная вполне определенного. Богу Прохор Абрамович молился, но сердечного расположения к нему не

чувствовал; страсти молодости, вроде любви к женщинам, желания хорошей пищи и прочее в нем не продолжались, потому что жена была некрасива, а пища однообразна и непитательна из года в год. Умножение детей уменьшало в Прохоре Абрамовиче интерес к себе; ему от этого становилось как-то прохладней и легче. Чем дальше жил Прохор Абрамович, тем все терпеливей и безотчетней относился ко всем деревенским событиям. Если б все дети Прохора Абрамовича умерли в одни сутки, он на другие сутки набрал бы себе столько же приемышей, а если бы и приемыши погибли, Прохор Абрамович моментально бросил бы свою земледельческую судьбу, отпустил бы жену на волю, а сам вышел бы босым неизвестно куда — туда, куда всех людей тянет, где сердцу, может быть, так же грустно, но хоть ногам отрадно.

Семнадцатая беременность жены огорчила Прохора Абрамовича по хозяйственным соображениям: в эту осень меньше родилось детей в деревне, чем в прошлую, а главное — не родила тетка Марья, рожавшая двадцать лет ежегодно, за вычетом тех лет, которые наступали перед засухой. Это приметила вся деревня, и если тетка Марья ходила порожняя, мужики говорили: «Ну, Марья нынче девкой ходит — летом голод будет».

В этот год Марья тоже ходила худой и свободной.

— Паруешь, Марь Матвеевна? — с уважением спрашивали ее прохожие мужики.

— А то что же! — говорила Марья и с непривычки стыдилась своего холостого положения.

— Ну, ничего,— успокаивали ее.— Глядишь, опять скоро сына почнешь: ты на это ухватлива...

— А чего же зря-то жить! — смелела Марья.— Лишь бы хлеб был...

— Это-то хоть верно,— соглашались мужики.— Бабе родить не трудно, да хлеб за ней не поспевает... Да ты-то — ведьма: ты свою пору знаешь...

Прохор Абрамович сказал жене, что она отяжелела безо времени.

— И-их, Проша,— ответила Мавра Фетисовна,— я рожу, я и с сумой для них пойду, не ты ведь!

Прохор Абрамович умолк на долгое время.

Настал декабрь, а снегу не было — озимые вымерзли. Мавра Фетисовна родила двоешек.

— Снеслась,— сказал у ее кровати Прохор Абрамович.— Ну и слава богу: что ж теперь делать-то! Должно,

эти будут живучие — морщинки на лбу и ручки кулачками...

Приемыш стоял тут же и глядел на непонятное, с искаженным, постаревшим лицом. В нем поднялась едкая теплота позора за взрослых, он сразу потерял любовь к ним и почувствовал свое одиночество — ему захотелось убежать, спрятаться в овраг.

Сама Мавра Фетисовна ничего не чуяла от слабости, ей было душно под разноцветным лоскутным одеялом — она обнажила полную ногу в морщинах старости и материнского жира; на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвелых страданий и синие толстые жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы выйти наружу: по одной жиле, похожей на дерево, можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с напором и усилием прогоняя кровь сквозь узкие, обвалившиеся ущелья тела.

— Что, Саш, загляделся? — спросил Прохор Абрамович у ослабевшего приемыша.— Два братца тебе родилось, отрежь себе хлеба ломоть и ступай бегать — нынче потеплело...

Саша ушел, не взяв хлеба. Мавра Фетисовна открыла белые, жидкие глаза и позвала мужа:

— Проша! С сиротой — десять у нас, а ты двенадцатый...

Прохор Абрамович и сам знал счет.

— Пускай живут,— на лишний рот лишний хлеб растет.

— Люди говорят, голод будет,— не дай бог страсти такой: куда нам деваться с грудными да малолетними?

— Не будет голода,— для спокойствия решил Прохор Абрамович.— Озимые не удадутся, на яровых возьмем.

Озимые и взаправду не удались: они подмерзли еще с осени, а весной окончательно задохнулись под полевою наледью. Яровые то пугали, то радовали, но кое-как дозрели и дали втрое больше, чем было посеяно семян. Старшему сыну Прохора Абрамовича было лет одиннадцать и приемышу почти столько же: кто-то один должен идти побираться, чтобы носить семье помощь хлебными сухарями. Прохор Абрамович молчал: своего послать жалко, а сироту — стыдно.

— Что ж ты молчишь-то сидишь? — озлобилась Мавра Фетисовна.— Агапка семилетнего отправила, Мишка Дувакин девчонку снарядил, а ты все сидишь, идол без-

заботный! Пшена-то до рождества не хватит, а хлеба со спаса не видим!..

Весь вечер Прохор Абрамович шил удобный и уемистый мешок из старого рядна. Раза два он подзывал Сашу и примеривал к его плечам:

— Ничего? Тут не тянет?

— Ничего,— отвечал Саша.

Семилетний Прошка сидел рядом с отцом и вдевал суровую нитку в иглу, когда она выскакивала, так как сам отец видел неясно.

— Папаньк, завтра Сашку побираться прогонишь? — спросил Прошка.

— Чего ты болтаешь сидишь? — сердился отец.— Вот ты подрастешь, сам попобираешься.

— Я не пойду,— отказался Прошка,— я воровать буду. Помнишь, ты говорил, кобылу у дяди Гришки свели? Они свели, им хорошо, а дядя Гриша мерина опять купил. А я вырасту, украду мерина.

На ночь Мавра Фетисовна накормила Сашу лучше своих кровных детей — дала ему отдельно, после всех, каши с маслом и молока, сколько попьет. Прохор Абрамович принес из риги жердь, и, когда все спали, он выделал из нее дорожный посошок. Саша не спал и слушал, как Прохор Абрамович строгает палку хлебным ножом. Прошка сопел и ежился от таракана, бродившего у него по шее. Саша снял таракана, но побоялся его убить и бросил с печки на пол.

— Ты, Саш, не спишь? — спросил Прохор Абрамович.— Спи себе, чего ж ты!

Дети просыпались рано, они начинали драться друг с другом в темноте, когда петухи еще дремали, а старики просыпались только во втором часу и чесали пролежни. Ни один запор еще не скрипел на деревне, и ничто не верещало в полях. В такой час Прохор Абрамович выводил приемыша за околицу. Мальчик шел сонный, доверчиво ухватив руку Прохора Абрамовича. Было сыро и прохладно; сторож в церкви звонил часы, и от грустного гула колокола мальчик заволновался. Прохор Абрамович наклонился к сироте:

— Саша, ты погляди туда. Вон видишь, дорога из деревни на гору пошла — ты все так иди и иди по ней. Увидишь потом громадную деревню и каланчу на бугре — ты не пугайся, а ступай прямо, это тебе повстречается город и там много хлеба на ссыпках. Как наберешь пол-

ную сумку — приходи домой отдыхать. Ну, прощай, сынок ты мой!

Саша держал руку Прохора Абрамовича и глядел в серую утреннюю скудность полевой осени.

— Там дожди были? — спросил Саша о далеком городе.

— Сильные! — подтвердил Прохор Абрамович.

Тогда мальчик оставил руку и, не взглянув на Прохора Абрамовича, тихо тронулся один — с сумкой и палкой, разглядывая дорогу на гору, чтобы не потерять своего направления. Мальчик скрылся за церковью и кладбищем, и его долго не было видно. Прохор Абрамович стоял на одном месте и ждал, когда мальчик покажется на той стороне лощины. Одинокие воробьи спозаранку копались на дороге и, видимо, зябли. «Тоже сироты,— думал про них Прохор Абрамович,— кто им кинет чего?»

Саша вошел на кладбище, не сознавая, чего ему хочется. В первый раз он подумал сейчас про себя и тронул свою грудь: вот тут я,— а всюду было чужое и не похожее на него. Дом, в котором он жил, где любил Прохора Абрамовича, Мавру Фетисовну и Прошку, оказался не его домом — его вывели оттуда утром на прохладную дорогу. В полудетской грустной душе, не разбавленной успокаивающей водой сознания, сжалась полная, давящая обида, он чувствовал ее до горла.

Кладбище было укрыто умершими листьями, по их покою всякие ноги сразу затихали и ступали мирно. Всюду стояли крестьянские кресты, многие без имени и без памяти о покойном. Сашу заинтересовали те кресты, которые были самые ветхие и тоже собирались упасть и умереть в земле. Могилы без крестов были еще лучше — в их глубине лежали люди, ставшие навеки сиротами: у них тоже умерли матери, а отцы у некоторых утонули в реках и озерах. Могильный бугор отца Саши почти растоптался — через него лежала тропинка, по которой носили новые гробы в глушь кладбища.

Близко и терпеливо лежал отец, не жалуясь, что ему так худо и жутко на зиму оставаться одному. Что там есть? Там плохо, там тихо и тесно, оттуда не видно мальчика с палкой и нищей сумой.

— Папа, меня прогнали побираться, я теперь скоро умру и приду к тебе, тебе там ведь скучно одному, и мне скучно.

Мальчик положил свой посошок на могилу и заложил его листьями, чтобы он хранился и ждал его.

Саша решил скоро прийти из города, как только наберет полную сумку хлебных корок; тогда он выроет себе землянку рядом с могилой отца и будет там жить, раз у него нету дома.

Прохор Абрамович уже заждался приемыша и хотел уходить. Но Саша прошел через протоки балочных ручьев и стал подниматься по глинистому взгорью. Он шел медленно и уже устало, зато радовался, что у него скоро будет свой дом и свой отец; пусть отец лежит мертвый и ничего не говорит, но он всегда будет лежать близко, на нем рубашка в теплом поту, у него руки, обнимавшие Сашу в их сне вдвоем на берегу озера; пусть отец мертвый, но он целый, одинаковый и такой же.

— Куда ж у него палка делась? — гадал Прохор Абрамович.

Утро отсырело, мальчик одолевал скользкий подъем, припадая к нему руками. Сумка болталась широко и просторно, как чужая одежда.

— Ишь ты, сшил я ее как: не по-нищему, а по жадности,— поздно упрекал себя Прохор Абрамович.— С хлебом он и не донесет ее. Да теперь все равно: пускай — как-нибудь...

На высоте перелома дороги на ту, невидимую сторону поля мальчик остановился. В рассвете будущего дня, на черте сельского горизонта, он стоял над кажущимся глубоким провалом на берегу небесного озера. Саша испуганно глядел в пустоту степи: высота, даль, мертвая земля были влажными и большими, поэтому все казалось чужим и страшным. Но Саше дорого было уцелеть и вернуться в низину села, на кладбище,— там отец, там тесно и все — маленькое, грустное и укрытое землею и деревьями от ветра. Поэтому он поскорее пошел в город за хлебными корками.

Прохору Абрамовичу жалко стало сироту, который скрывался сейчас за спуск дороги: «Ослабнет мальчик от ветра, ляжет в межевую яму и скончается — белый свет не семейная изба».

Прохор Абрамович захотел догнать и вернуть сироту, чтобы умереть всем в куче и в покое, если придется умирать,— но дома были собственные дети, баба и последние остатки яровых хлебов.

— Все мы хамы и негодяи! — правильно определил себя Прохор Абрамович, и от этой правильности ему полегчало. В хате он молча скучал целые сутки, занявшись ненужным делом — резьбой по дереву. Он всегда при тяжелой беде отвлекался вырезыванием ельника или несуществующих лесов по дереву — дальше его искусство не развивалось, потому что нож был туп. Мавра Фетисовна плакала с перерывами об ушедшем приемыше. У нее умерло восемь человек детей, и по каждому она плакала у печки по трое суток с перерывами. Это было для нее то же, что резьба по дереву для Прохора Абрамовича. Прохор Абрамович уже вперед знал, сколько еще времени осталось Мавре плакать, а ему резать неровное дерево: полтора дня.

Прошка глядел-глядел и заревновал родителей:

— Чего плачете, Сашка сам вернется. Ты б, отец, лучше валенки мне скатал — тебе Сашка не сын, а сирота. А ты все ножик сидишь тупишь, старый человек.

— Мои милые! — в удивлении остановилась плакать Мавра Фетисовна.— Он как большой балакает — сам гнида, а уж отцу попрек нашел!

Но Прошка был прав: сирота вернулся через две недели. Он так много принес хлебных корок и сухих булок, будто сам ничего не ел. Из того, что он принес, ему тоже ничего не пришлось попробовать, потому что к вечеру Саша лег на печку и не мог согреться — всю его теплоту из него выдули дорожные ветры. В своем забытьи он бормотал о палке в листьях и об отце: чтоб отец берег палку и ждал его на озере в землянке, где растут и падают кресты.

Через три недели, когда приемыш выздоровел, Прохор Абрамович взял кнут и пешком пошел в город — стоять на площадях и наниматься на работу.

Прошка два раза ходил следом за Сашей на кладбище. Он увидел, что сирота сам себе руками роет могилу и не может вырыть глубоко. Тогда он принес сироте отцовскую лопату и сказал, что лопатой рыть легче — все мужики ею роют.

— Тебя все едино прогонят со двора,— сообщил про будущее Прошка.— Отец с осени ничего не сеял, а мамка летом снесется — теперь кабы троих не родила. Верно тебе говорю!

Саша брал лопату, но она была ему не под рост, и он скоро слабел от работы.

Прошка стоял, стыл от редких капель едкого позднего дождя и советовал:

— Широко не рой — гроб покупать не на что, так ляжешь. Скорей управляйся, а то мамка родит, а ты лишний рот будешь.

— Я землянку рою и жить тут буду,— сказал Саша.

— Без наших харчей? — осведомился Прошка.

— Ну да, без всего. Купырей летом нарву и буду себе есть.

— Тогда живи,— успокоился Прошка.— А к нам побираться не ходи: нечего подавать.

Прохор Абрамович заработал в городе пять пудов муки, приехал на чужой подводе и лег на печку. Когда половину муки съели, Прошка уже думал, что дальше будет.

— Лежень,— сказал он однажды на отца, глядевшего с печки на одинаково кричавших двоешек.— Муку слопаем, а потом с голоду помирать! Нарожал нас — корми теперь!

— Вот остаток от чертей-то! — поругался сверху Прохор Абрамович.— Тебе бы вот отцом-то надо быть, а не мне, мокрый подхлюсток!

Прошка сидел с большой досужестью на лице, думая, как надо сделаться отцом. Он уже знал, что дети выходят из мамкиного живота,— у нее весь живот в рубцах и морщинах,— но тогда откуда сироты? Прошка два раза видел по ночам, когда просыпался, что это сам отец наминает мамке живот, а потом живот пухнет и рождаются дети-нахлебники. Про это он тоже напомнил отцу:

— А ты не ложись на мать — лежи рядом и спи. Вон у бабки у Парашки ни одного малого нету — ей дед Федот не мял живота...

Прохор Абрамович слез с печки, обул валенки и поискал чего-то. В хате не было ничего лишнего, тогда Прохор Абрамович взял веник и хлестнул им по лицу Прошки. Прошка не закричал, а сразу лег на лавку вниз лицом. Прохор Абрамович молча начал пороть его, стараясь накопить в себе злобу.

— Не больно, не больно, все равно не больно! — говорил Прошка, не показывая лица.

После порки Прошка поднялся и без передышки сказал:

— Тогда прогони Сашку, чтоб лишнего рта не было.

Прохор Абрамович измучился больше Прошки и понуро сидел у люльки с замолкшими двоешками. Он выдрал Прошку за то, что Прошка был прав: Мавра Фетисовна снова затяжелела, озимых же сеять было нечем. Прохор Абрамович жил на свете, как живут травы на дне лощины: на них сверху весной рушатся талые воды, летом — ливни, ветер, песок и пыль, зимой их тяжело и душно захлобучивает снег; всегда и ежеминутно они живут под ударами и навалом тяжестей, поэтому травы в лощинах живут горбатыми, готовыми склониться и пропустить через себя беду. Так же наваливались дети на Прохора Абрамовича — труднее, чем самому родиться, и чаще, чем урожай. Если б поле рожало, как жена, а жена не спешила со своим плодородием, Прохор Абрамович давно был бы сытым и довольным хозяином. Но всю жизнь ручьем шли дети и, как ил лощину, погребли душу Прохора Абрамовича под глиняными наносами забот,— от этого Прохор Абрамович почти не ощущал своей жизни и личных интересов; бездетные же, свободные люди называли такое забвенное состояние Прохора Абрамовича ленью.

— Прош, а Прош! — позвал Прохор Абрамович.

— Чего тебе? — угрюмо сказал Прошка.— Сам бьешь, а потом Прошей зовешь...

— Прош, сбегай к тетке Марье, погляди, у ней живот вспух аль худой. Что-то я давно не встречал ее, либо захворала она?!

Прошка был не обидчив и ради своей семьи деловит.

— Мне бы отцом-то быть, а тебе Прошкой,— оскорбил отца Прошка.— Чего ей в живот глядеть: озимых не сеял — все равно голода жди.

Одев материну шушунку, Прошка продолжал хозяйственно бурчать:

— Брешут мужики. Летось тетка Марья была порожняя, а дожжи были. Вот она и промахнулась — ей бы рожать нахлебника, а она нет.

— Озимя вымерзли, она чуяла,— негромко сказал отец.

— Все детенки матерей сосуть, хлеба ничуть не едят,— возразил Прошка.— А матерь пускай яровыми кормится... Не пойду я к Марье твоей. Будет у ней пузо — ты тогда с печки не слезешь. Скажешь — будут травы и яровые хороши. А нам голодать неохота, нарожал нас с мамкой...

Прохор Абрамович молчал. Саша тоже никогда не говорил, когда его не спрашивали. Даже Прохор Абрамович, сам — против Прошки — похожий на сироту в своем доме, не знал, какой из себя Саша: добрый или нет; ходить побираться он мог от испуга, а что сам думает — не говорит. Саша же думал мало, потому что считал всех взрослых людей и ребят умнее себя и поэтому боялся их. Больше Прохора Абрамовича он пугался Прошку, который каждую крошку считает и не любит никого за своим двором.

Отставя зад, касаясь травы длинными губительными руками, ходил по селу горбатый человек — Петр Федорович Кондаев. У него давно не было болей в пояснице,— стало быть, перемены погоды не предвиделось.

В тот год рано созрело солнце на небе: в конце апреля оно уже грело как в глубоком июле. Мужики затихли, чуя ногами сухую почву, а остальным телом — прочно успокоившееся пространство смертельной жары. Ребятишки наблюдали горизонты, чтобы вовремя заметить выход дождливой тучи. Но на полевых дорогах поднимались вихревые столбы пыли, и сквозь них проезжали телеги из чужих деревень. Кондаев шел среди улицы на ту сторону села, где жила его душевная забота — полудевушка Настя пятнадцати лет. Он любил ее тем местом, которое у него часто болело и было чувствительно, как сердце у прямых людей,— поясницей, коренным сломом своего горба. Кондаев видел в засухе удовольствие и надеялся на лучшее. Руки его были постоянно в желтизне и зелени — он ими губил травы на ходу и растирал их в пальцах. Он радовался голоду, который выгонит всех красивых мужиков далеко на заработки, и многие из них умрут, освободив женщин для Кондаева. Под напряженным солнцем, заставлявшим почву гореть и дымить пылью, Кондаев улыбался. Каждое утро он мылся в пруду и ласкал горб ухватистыми, надежными руками, способными на неутомимые объятия будущей жены.

— Ничего,— довольствовался сам собою Кондаев.— Мужики тронутся, бабы останутся. Кто меня покушает, тот век не забудет — я ж сухой бык...

Кондаев гремел породистыми, длинно отросшими руками и воображал, что держит в них Настю. Он даже удивлялся, почему в Насте — в такой слабости ее тела —

живет тайная могучая прелесть. От одной думы о ней он вздувался кровью и делался твердым. Чтобы избавиться от притяжения и ощутительности своего воображения, он плыл по пруду и набирал внуть столько воды, словно в теле его была пещера, а потом выхлестывал воду обратно вместе со слюной любовной сладости.

Возвращаясь домой, Кондаев каждому встречному мужику советовал уходить на заработки.

— Город как крепость,— говорил Кондаев.— Там всего вполне достаточно, а у нас солнце стоит и будет стоять в упор. Какой же тебе урожай! Ты опомнись!

— А ты как же, Петр Федорович? — спрашивал мужик про чужую судьбу, чтобы и себе найти исход.

— Я калека,— сообщал Кондаев.— Я одной жалостью смело могу прожить. А вот ты свою бабу уморишь, желвак-человек! Шел бы в отход, а ей хлеб подводами отправлял — прибыльное дело!

— Да пожалуй, что так и придется,— нехотя вздыхал встречный, а сам надеялся, что как-нибудь дома проживет: капусткой, ягодой, грибками, разной травкой, а там — видно будет.

Кондаев любил старые плетни, ущелья умерших пней, всякую ветхость, хилость и покорную, еле живую теплоту. Тихое зло его похоти в этих одиноких местах находило свою отраду. Он бы хотел всю деревню затомить до безмолвного, усталого состояния, чтобы без препятствия обнимать бессильные живые существа. В тишине утренних теней Кондаев лежал и предвидел полуразрушенные деревни, заросшие улицы и тонкую, почерневшую Настю, бредущую от голода в колкой, иссохшей соломе. От одного вида жизни, будь она в травинке или в девушке, Кондаев приходил в тихую ревнивую свирепость; если то была трава, он ее до смерти сминал в своих беспощадных любовных руках, чувствующих любую живую вещь так же жутко и жадно, как девственность женщины; если же то была баба или девушка, Кондаев вперед и навеки ненавидел ее отца, мужа, братьев, будущего жениха и желал им погибнуть или отойти на заработки. Второй голодный год поэтому сильно обнадеживал Кондаева — он считал, что скоро один останется в деревне и тогда залютует над бабами по-своему.

От зноя не только растения, но даже хаты и колья в плетнях быстро приходили в старость. Это заметил Саша еще в прошлое лето. Утром он видел прозрачные

мирные зори и вспоминал отца и раннее детство на берегу озера Мутево. Под колокол ранней обедни поднималось солнце и в скорое время превращало всю землю и деревню в старость, в запекающуюся, сухую злобу людей.

Прошка залезал на крышу, морщился озабоченным лицом и сторожил небо. Утром он спрашивал у отца одно и то же: не болела ли у него поясница, чтобы переменилась погода, и когда будет месяц обмываться.

Кондаев любил ходить по улице в полдень, наслаждаясь остервенением зудящих насекомых. Однажды он заметил Прошку, выскочившего без порток на улицу, потому что ему показалось, что с неба что-то капнуло.

Избы почти пели от страшной, накаленной солнцем тишины, а солома на крышах почернела и издавала тлеющий запах гари.

— Прошк! — позвал горбатый.— Ты чего небо пасешь? Правда, нынче не особенно холодно?

Прошка понял, что ничего не капнуло, только показалось.

— Иди курей чужих щупать, сломатая калека! — медленно обиделся Прошка, когда разочаровался в капле.— Людям остаток жизни пришел, а он рад. Иди у папашки петуха пощупай!

Прошка попал в Кондаева нечаянно и метко: Кондаев в ответ вскрикнул от чуткой боли и пригнулся к земле, ища камень. Камня не было, и он бросил в Прошку горстью сухого праха. Но Прошка знал все вперед и был уже дома. Горбатый вбежал во двор, шаря на бегу руками по земле. На дороге ему попался Саша,— Кондаев ударил его с навеса костями пальцев своей худой руки, и у Саши зазвучали кости в голове. Саша упал с пополамившейся кожей под волосами, сразу обмокшими чистой прохладной кровью.

Саша опомнился, но потом снова наполовину забылся и увидел свой сон. Не теряя памяти, что на дворе жарко, что стоит длинный голодный день и что его ударил горбатый, Саша видел отца на озере во влажном тумане: отец скрывался на лодке в туман и бросал оттуда на берег оловянное матерово колечко. Саша поднимал кольцо в мокрой траве, а этим кольцом громко бил его по голове горбатый под треском рассыхающегося неба, из трещин которого вдруг полился черный дождь,— и сразу стало тихо: звон белого солнца остыл и замер вдалеке, на тонущих лугах. На лугах стоял горбатый и мочился

на маленькое солнце, гаснущее уже само по себе. Но рядом со сном Саша видел продолжающийся день и слышал разговор Прошки с Прохором Абрамовичем.

Кондаев же гнался по гумнам за чужой курицей, пользуясь безлюдьем и другим горем односельчан. Курицу он не поймал — она от страха залетела на уличное дерево. Кондаев хотел трясти дерево, но заметил проезжего и тихо пошел домой — походкой непричастного человека.

Осенью, если был урожайный год, сил в народе оставалось много, и взрослые вместе с ребятами занимались тем, что донимали горбатого:

— Петр Федорович, пощупай нашего петушка, ради бога!

Кондаев не переносил надругательства и гнался за обидчиками до тех пор, пока не ловил какого-нибудь подростка и не причинял ему легкого увечья.

Саша видел снова один старый день. Ему давно представлялась жара в виде старика, а ночь и прохлада в виде маленьких девочек и ребят.

В избе было открыто окно, и около печки безвыходно металась Мавра Фетисовна. При всей привычке рожать, ей что-то надоедало внутри.

— Тошнит меня! Трудно мне, Прохор Абрамыч... Ступай за бабкой...

Саша не поднимался из травы до самого звона к вечерне, до длинных, густых теней. Окна в избе заперли и завесили. Прошка давно не выходил, хотя он был дома. Другие дети гоняли где-то по чужим дворам. Саша боялся подниматься и идти в избу не вовремя. Тени трав сплотились, легкий низовой ветер, дувший весь день, остановился; бабка вышла в повязанном платке, помолилась с крыльца на темный восток и ушла — наступила покойная ночь. Сверчок в завалинке попробовал голос и потом надолго запел, обволакивая своею песнью двор, траву и отдаленную изгородь в одну детскую родинку, где лучше всего жить на свете. Саша смотрел на измененные тьмою, но еще больше знакомые постройки, плетни, оглобли заросших саней, и ему было жалко их, что они такие же, как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь навсегда умрут.

Саша думал, что если он уйдет отсюда, то без него всему двору станет еще более скучно жить на одном месте, и Саша радовался, что он здесь нужен.

В избе зарыдал новый младенец, заглушая своим голосом, не похожим ни на какое слово, устоявшуюся песню сверчка. Сверчок смолк, тоже, наверное, слушая пугающий крик. Наружу вышел Прошка с мешком Саши, с каким сироту посылали осенью побираться, и с шапкой Прохора Абрамовича.

— Сашка! — прокричал Прошка в ночной задыхающийся воздух.— Беги сюда скорее, дармоед!

Саша был около.

— Чего тебе?

— На, держи — тебе отец шапку подарил. А вот тебе мешок — ходи и не сымай, что наберешь — сам ешь, нам не носи...

Саша взял шапку и мешок.

— А вы тут одни жить останетесь? — спросил Саша, не веря, что его здесь перестали любить.

— А то нет? Знамо, одни! — сказал Прошка.—Опять нахлебник у нас родился, кабы не он, ты бы задаром жил! А теперь ты нам никак не нужен — ты одна обуза, мамка ведь тебя не рожала, ты сам родился...

Саша пошел за калитку. Прошка постоял один и вышел за ворота — напомнить, чтобы сирота больше не возвращался. Сирота никуда еще не ушел — он смотрел на маленький огонь на ветряной мельнице.

— Сашка! — приказал Прошка.— Ты к нам больше не приходи. Хлеб тебе в мешок положили, шапку подарили — ты теперь ступай. Хочешь — па гумне перепочуй, а то ночь. А больше под окна не показывайся, а то отец опомнится...

Саша пошел по улице в сторону кладбища. Прошка затворил ворота, оглядел усадьбу и поднял бесхозяйственную жердь.

— Ну, никак нет дожжей! — пожилым голосом сказал Прошка и плюнул сквозь переднюю щербину рта.— Ну, никак: хоть ты тут ляжь и расшибись об землю, идол ее намочи!

Саша прокрался к могиле отца и залег в недорытой пещерке. Среди крестов он боялся идти, но близ отца уснул так же спокойно, как когда-то в землянке на берегу озера.

Позже на кладбище приходили два мужика и негромко обламывали кресты на топливо, но Саша, унесенный сном, ничего не слышал.

. . . .

Захар Павлович жил ни в ком не нуждаясь: он мог часами сидеть перед дверцей паровозной топки, в которой горел огонь.

Это заменяло ему великое удовольствие дружбы и беседы с людьми. Наблюдая живое пламя, Захар Павлович сам жил — в нем думала голова, чувствовало сердце и все тело тихо удовлетворялось. Захар Павлович уважал уголь, фасонное железо — всякое спящее сырье и полуфабрикат, но действительно любил и чувствовал лишь готовое изделие — то, во что превратился посредством труда человека и что дальше продолжает жить самостоятельной жизнью. В обеденные перерывы Захар Павлович не сводил глаз с паровоза и молча переживал в себе любовь к нему. В свое жилище он наносил болтов, старых вентилей, краников и прочих механических изделий. Он расставил их в ряд на столе и предавался гляденью на них, никогда не скучая от одиночества. Одиноким Захар Павлович и не был — машины были для него людьми и постоянно возбуждали в нем чувства, мысли, пожелания. Передний паровозный скат, называемый катушкой, заставил Захара Павловича озаботиться о бесконечности пространства. Он специально выходил ночью глядеть на звезды — просторен ли мир, хватит ли места колесам вечно жить и вращаться? Звезды увлеченно светились, но каждая — в одиночестве. Захар Павлович подумал — на что похоже небо? И вспомнил про узловую станцию, куда его посылали за бандажами. С платформы вокзала виднелось море одиноких сигналов — то были стрелки, семафоры, перепутья, огни предупреждения и будок, сияние прожекторов, бегущих паровозов. Небо было таким же, только отдаленней и как-то налаженней в отношении спокойной работы. Потом Захар Павлович стал на глаз считать версты до синей меняющейся звезды: он расставил руки масштабом и умственно прикладывал этот масштаб к пространству. Звезда горела на двухсотой версте. Это его обеспокоило, хотя он читал, что мир бесконечен. Он хотел бы, чтобы мир действительно был бесконечен, дабы колеса всегда были необходимы и изготовлялись беспрерывно на общую радость, но никак не мог почувствовать бесконечности.

— Сколько верст — неизвестно, потому что далече! — говорил Захар Павлович.— Но где-нибудь есть тупик и кончается последний вершок... Если б бесконечность была на самом деле, она бы распустилась сама по себе

в большом просторе и никакой твердости не было бы... Ну как — бесконечность? Тупик должен быть!

Мысль, что колесам в конце концов работы не хватит, волновала Захара Павловича двое суток, а затем он придумал растянуть мир, когда все дороги до тупика дойдут,— ведь пространство тоже возможно нагреть и отпустить длиннее, как полосовое железо,— и на этом успокоился.

Машинист-наставник видел любовную работу Захара Павловича — топки очищались им без всяких повреждений металла и до сияющей чистоты,— но никогда не говорил Захару Павловичу доброго слова. Наставник отлично знал, что машины живут и движутся скорее по своему желанию, чем от ума и умения людей: люди здесь ни при чем. Наоборот, доброта природы, энергии и металла портит людей. Любой холуй может огонь в топке зажечь, но паровоз поедет сам, а то люди от своих сомнительных успехов выродятся в ржавчину, тогда их останется передавить работоспособными паровозами и дать машине волю на свете. Однако наставник ругал Захара Павловича меньше других — Захар Павлович бил молотком всегда с сожалением, а не с грубой силой, не плевал на что попало, находясь в паровозе, и не царапал беспощадно тела машин инструментами.

— Господин наставник! — обратился раз Захар Павлович, осмелев ради любви к делу.— Позвольте спросить: отчего человек — так себе: ни плох, ни хорош, а машины равномерно знамениты?

Наставник слушал сердито — он ревновал к посторонним паровозы, считая свое чувство к ним личной привилегией.

— Серый черт,— говорил для себя наставник,— тоже понадобились ему механизмы, господи боже мой!

Против обоих людей стоял паровоз, который разогревали под ночной скорый поезд. Наставник долго смотрел на паровоз и наполнялся обычным радостным сочувствием. Паровоз стоял великодушный, громадный, теплый на гармонических перевалах своего величественного, высокого тела. Наставник сосредоточился, чувствуя к себе гудящий безотчетный восторг. Ворота депо были открыты в вечернее пространство лета — в смутное будущее, в жизнь, которая может повториться на ветру, в стихийных скоростях на рельсах, в самозабвении ночи, риска и нежного гула точной машины.

Машинист-наставник сжал руки в кулаки от прилива какой-то освирепевшей крепости внутренней жизни, похожей на молодость и на предчувствия гремящего будущего. Он забыл про низкую квалификацию Захара Павловича и ответил ему, как равному другу:

— Ты вот поработал и поумнел! Но человек — чушь!! Он дома валяется и ничего не стоит... Но ты возьми птиц...

Паровоз засифонил и заглушил слова беседы. Наставник и Захар Павлович вышли на вечерний звучный воздух и пошли сквозь строй остывших паровозов.

— Ты возьми птиц! Это прелесть, но после них ничего не остается: потому что они не работают! Видел ты труд птиц? Нету его! Ну, по пище, жилищу они кое-как хлопочут, ну, а где у них инструментальные изделия? Где у них угол опережения своей жизни? Нету и быть не может...

— А у человека что? — не понимал Захар Павлович.

— А у человека есть машины! Понял? Человек — начало для всякого механизма, а птицы — сами себе конец...

Захар Павлович думал с наставником одинаково, затрудняясь лишь в подборе необходимых слов, что надоедливо тормозило его размышления. Для обоих — и для машиниста-наставника, и для Захара Павловича — природа, не тропутая человеком, казалась мало прелестной и мертвой, будь то зверь или дерево. Зверь и дерево не возбуждали в них сочувствия к своей жизни, потому что никакой человек не принимал участия в их изготовлении, — в них не было ни одного сознательного удара и точности мастерства. Они жили самостоятельно, мимо опущенных глаз Захара Павловича. Любые же изделия — особенно металлические — наоборот, существовали оживленными и даже были по своему устройству и силе интереснейи таинственней человека. Захар Павлович много наслаждался одной постоянной мыслью: какой дорогой подспудная кровная сила человека объявляется вдруг в волнующих машинах, которые больше мастеровых и по размеру, и по смыслу.

И выходило действительно так, как говорил машинист-наставник: в труде каждый человек превышает себя — делает изделия лучше и долговечней своего житейского значения. Кроме того, Захар Павлович наблюдал в паровозах ту же самую горячую, взволнованную

силу человека, которая в рабочем человеке молчит без всякого исхода. Обыкновенно слесарь хорошо разговаривает, когда напьется, в паровозе же человек всегда чувствуется большим и страшным.

Однажды Захар Павлович долго не мог сыскать нужного болта, чтобы прогнать резьбу в сорванной гайке. Он ходил по депо и спрашивал, нет ли у кого болта в три осьмушки — под резьбу. Ему говорили, что нет такого болта, хотя такие болты были у каждого. Но дело в том, что на работе слесаря скучали и развлекались взаимным осложнением рабочих забот. Захар Павлович еще не знал того хитрого скрытого веселья, которое есть в любой мастерской. Это негромкое издевательство позволяло остальным мастеровым одолевать долготу рабочего дня и тоску повторительного труда. Во имя забавы своих соседей Захар Павлович много дел сработал напрасно. Он ходил за обтирочными концами на склад, когда они лежали горой в конторе; делал деревянные лесенки и бидоны для масла, в избытке имевшиеся в депо; даже хотел по чужому наущению, самостоятельно менять контрольные пробки в котле паровоза, но был вовремя предупрежден одним случайным кочегаром — иначе бы Захара Павловича уволили без всякого слова.

Захар Павлович, не найдя в этот раз подходящего болта, принялся приспосабливать для прогонки гаечной резьбы один штырь, и приспособил бы, потому что никогда не терял терпенья, но ему сказали:

— Эй, три осьмушки под резьбу, иди возьми болт!

С того дня Захара Павловича звали прозвищем «Три Осьмушки Под Резьбу», но зато его реже обманывали при срочной нужде в инструментах.

После никто не узнал, что Захару Павловичу имя Трех Осьмушек Под Резьбу понравилось больше крестного: оно было похоже на ответственную часть любой машины и как-то телесно приобщало Захара Павловича к той истинной стране, когда железные дюймы побеждают земляные версты.

Когда Захар Павлович был молодым, он думал, что вырастет и поумнеет. Но жизнь прошла без всякого отчета и без остановки, как сплошное увлечение; ни разу Захар Павлович не ощутил времени как встречной твердой вещи, оно для него существовало лишь загадкой в

механизме будильника. Но когда Захар Павлович узнал тайну маятника, то увидел, что времени нет, есть равномерная тугая сила пружины. Но что-то тихое и грустное было в природе — какие-то силы действовали невозвратно. Захар Павлович наблюдал реки — в них не колебались ни скорость, ни уровень воды, и от этого постоянства была стеснительная тоска. Бывали, конечно, полые воды, падали душные ливни, захватывал дыхание ветер, но больше действовала тихая, равнодушная жизнь — речные потоки, рост трав, смена времен года. Захар Павлович полагал, что эти равномерные силы всю землю держат в оцепенении,— они с заднего хода доказывали уму Захара Павловича, что ничто не изменяется к лучшему — какими были деревни и люди, такими и останутся. Ради сохранения равносильности в природе беда для человека всегда повторяется. Был четыре года назад неурожай — мужики из деревни вышли в отход, а дети легли в ранние могилы,— но эта судьба не прошла навеки, а снова теперь возвратилась: ради точности хода всеобщей жизни.

Сколько ни жил Захар Павлович, он с удивлением видел, что он не меняется и не умнеет — остается ровно таким же, каким был в десять или пятнадцать лет. Лишь некоторые его прежние предчувствия теперь стали обыкновенными мыслями, но от этого ничто к лучшему не изменилось. Свою будущую жизнь он раньше представлял синим глубоким пространством — таким далеким, что почти бессмертным. Захар Павлович знал вперед, что чем дальше он будет жить, тем это пространство непережитой жизни будет уменьшаться, а позади — удлиняться мертвая, растоптанная дорога. Но он обманулся: жизнь росла и накоплялась, а будущее впереди тоже росло и простиралось — глубже и таинственней, чем в юности, словно Захар Павлович отступал от конца своей жизни либо увеличивал свои надежды и веру в нее.

Видя свое лицо в стекле паровозных фонарей, Захар Павлович говорил себе: «Удивительно, я скоро умру, а все тот же».

Под осень участились праздники в календаре; раз случилось три праздника подряд. Захар Павлович скучал в такие дни и уходил далеко по железной дороге, чтобы видеть поезда на полном ходу. По дороге ему пришло желание побывать в поселке на шахтах, где схоронена его мать. Он помнил точно место похорон и чужой железный крест рядом с безымянной могилой матери. На том

кресте сохранилась ржавая, почти исчахшая вековая надпись — о смерти Ксении Федоровны Ирошниковой в 1813 году от болезни холеры, 18 лет и 3-х месяцев от роду. Там было еще запечатлено: «Спи с миром, любимая дочь, до встречи младенцев с родителями».

Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать — на ее кости, волосы и на все последние, пропадающие остатки своей детской родины. Он и сейчас не прочь бы иметь живую мать, потому что не чувствовал в себе особой разницы с детством. И тогда, в том голубом тумане раннего возраста, он любил гвозди на заборе, дым придорожных кузниц и колеса на телегах — за то, что они вертелись.

Куда бы ни уходил из дома маленький Захар Павлович, он знал, что есть мать, которая его вечно ждет, и он ничего не боялся.

Линию железной дороги защищал с обеих сторон кустарник. Иногда в тени кустарника сидели нищие, они либо ели, либо переобувались. Они видели, как с большими скоростями вели поезда торжествующие паровозы. Но ни один нищий не знал, отчего едет сам паровоз. Даже более простое соображение — для какого счастья они живут — тоже не приходило в голову нищим. Какая вера — надежда — любовь давали силу их ногам на песчаных дорогах,— ни одному подающему милостыню не было известно. Захар Павлович опускал иногда в протянутую руку две копейки, без рассуждения оплачивая то, чего нищие были лишены и чем он был вознагражден,— понимание машин.

На откосе сидел лохматый мальчик и сортировал подаяние: плесень откладывал отдельно, а более свежее — в сумку. Мальчик был телом худ, но лицом бодр и озабочен.

Захар Павлович остановился, покуривая на свежем воздухе ранней осени.

— Отбраковываешь?

Мальчик не понял технического слова.

— Дядь, дай копейку,— сказал он,— иль докурить оставь!

Захар Павлович вынул пятак.

— Ты небось жулик и охальник,— без зла сказал он, уничтожая добро своего подаяния грубым словом, чтобы самому не было стыдно.

— Не, я не жулик, я побирушка,— ответил мальчик,

утрамбовывая корки в мешке.— У меня мать-отец есть, только они от голода скрылись.

— А куда же ты пуд харчей запаковал?

— Домой собираюсь наведаться. Вдруг мать с ребятишками пришла — чего тогда им есть?

— А ты сам-то чей?

— Я отцовский, я не круглая сирота. Вон те — все жулики, а меня отец порол.

— А отец твой чей?

— Отец тоже от моей матери родился — из пуза. Пузо намнут, а нахлебники как из пропасти рожаются. А ты ходи и побирайся на них!

Мальчик загорюнился от недовольства на отца. Пятак он давно спрятал в кисет, висящий на шее: в кисете было еще порядочно медных денег.

— Уморился небось? — спросил Захар Павлович.

— Ну да, уморился,— согласился мальчик.— Разве у вас, чертей, сразу напобираешься? Брешешь-брешешь, аж есть захочется! Пятак подал, а самому, должно, жалко! Я б ни за что не дал.

Мальчик взял заплесневелый ломоть из кучки порченого хлеба; очевидно, лучший хлеб он сносил в деревню, родителям, а плохой ел сам. Это мгновенно понравилось Захару Павловичу.

— Небось отец тебя любит?

— Ничего он не любит — он лежень. Я матерь больше люблю, у нее кровь из нутра льется. Я рубашку ей раз стирал, когда она хворала.

— А отец твой кто?

— Дядя Прошка. Я ведь не здешний...

В памяти Захара Павловича нечаянно встал подсолнух, растущий из дымохода покинутой хаты, и рощи бурьяна на деревенской улице.

— Так ты Прошка Дванов, сукин сын!

Мальчик вывалил изо рта непрожеванную хлебную зелень, но не бросил ее, а положил на мешок: потом дожует.

— А ты нито дядя Захарка?

— Он!

Захар Павлович сел. Он теперь почувствовал время как путешествие Прошки от матери в чужие города. Он увидел, что время — это движение горя и такой же ощутительный предмет, как любое вещество, хотя бы и негодное в отделку.

Какой-то малый, похожий на лишенного звания монастырского послушника, не прошел мимо своей дорогой, а сел и уставился глазами на двоих собеседников. Губы у него были красные, сохранившие с младенчества одутловатую красоту, а глаза смирные, но без резкого ума,— таких лиц не бывает у простых людей, привыкших перехитрять свою непрерывную беду.

Прошку взволновал прохожий — особенно своими губами.

— Чего губы оттопырил? Руку мою поцеловать хочешь?

Послушник поднялся и пошел в свою сторону, про которую и сам точно не знал — где она находится.

Прошка это сразу почуял и сказал вслед послушнику:

— Пошел, а куда пошел — сам не знает. Поверни его, он назад пойдет: вот черти-нахлебники!

Захар Павлович немного смущался раннего разума Прошки,— сам он поздно освоился с людьми и долго считал их умнее себя.

— Прош? — спросил Захар Павлович.— А куда девался маленький мальчик — рыбацкая сирота? Его твоя мать подобрала.

— Сашка, что ль? — догадался Прошка.— Он вперед всех из деревни убёг! Это такой сатаноид — житья от него не было! Украл последнюю коврижку хлеба и скрылся на ночь! Я гнался-гнался за ним, а потом сказал: пускай,— и ко двору воротился...

Захар Павлович поверил и задумался.

— А где отец твой?

— Отец в отход ушел. А мне все семейство кормить наказал. Набрал я по людям хлеба, пришел на свою деревню, а там ни матери, ни ребят. А заместо народа крапива в хатах растет...

Захар Павлович отдал Прошке полтинник и попросил наведаться еще, когда будет в городе.

— Ты бы мне картуз отдал! — сказал Прошка.— Тебе все равно ничего не жалко. А то мне голову дожжи моют, я могу остудиться.

Захар Павлович отдал фуражку, сняв с нее железнодорожный значок, который ему был дороже головного убора.

Прошел поезд дальнего следования, и Прошка поднялся поскорей уходить, чтобы Захар Павлович не отнял обратно денег и фуражки. Картуз Прошке пришелся на

лохматую голову как раз, но Прошка его только померял, а затем снял и завязал в сумку с хлебом.

— Ну, иди с богом. Прощай,— сказал Захар Павлович.

— Тебе хорошо говорить — ты всегда с хлебом,— упрекнул Прошка.— А у нас и того нет.

Захар Павлович не знал, что дальше сказать,— денег у него больше не было.

— Намедни я Сашку в городе встретил,— проговорил Прошка.— Тот, идол, совсем скоро издохнет: никто ему ничего не подает, он побираться не смел. Я ему дал порцию, а сам не ел. Ты небось мамке его подкинул — теперь давай денег за Сашку! — кончил Прошка серьезным голосом.

— Ты Сашку как-нибудь ко мне приведи,— ответил Захар Павлович.

— А что дашь? — заранее спросил Прошка.

— Получка будет — рублевку дам.

— Ладно,— сказал Прошка.— Это я тебе его приведу. Только ты его не приучай, а то он тебя охомутает.

Прошка пошел не туда, где была дорога на его деревню. Наверно, у него имелись свои расчеты и свои дальновидные планы на хлебные доходы.

Захар Павлович последил за ним глазами и отчего-то усомнился в драгоценности машин и изделий выше любого человека.

Прошка уходил все дальше, и все жалостней становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы. Прошка шел пешим по железной дороге — по ней ездили другие; она его не касалась и не помогала ему. Он смотрел на мосты, рельсы и паровозы одинаково безучастно, как на придорожные деревья, ветры и пески. Всякое искусственное сооружение для Прошки было лишь видом природы на чужих земельных наделах. Посредством своего живого, рассуждающего ума Прошка кое-как напряженно существовал. Едва ли он полностью чувствовал свой ум,— это видно из того, что он говорит неожиданно, почти бессознательно и сам удивляется своим словам, разум которых выше его детства.

Прошка пропал на закруглении линий — один, маленький и без всякой защиты. Захар Павлович хотел вернуть его к себе навсегда, но далеко было догонять.

Утром Захару Павловичу не так хотелось идти на работу, как обыкновенно. Вечером он затосковал и лег

сразу спать. Болты, краны и старые манометры, что всегда хранились на столе, не могли рассеять его скуки — он глядел на них и не чувствовал себя в их обществе. Что-то сверлило внутри его, словно скрежетало сердце на обратном, непривычном ходу. Захар Павлович никак не мог забыть маленького худого тела Прошки, бредущего по линии в даль, загроможденную крупной, будто обвалившейся природой. Захар Павлович думал без ясной мысли, без сложности слов — одним нагревом своих впечатлительных чувств, и этого было достаточно для мучений. Он видел жалобность Прошки, который сам не знал, что ему худо, видел железную дорогу, работающую отдельно от Прошки и от его хитрой жизни, и никак не мог понять — что здесь отчего, только скорбел без имени своему горю.

На следующий день — третий после встречи Прошки — Захар Павлович не дошел до депо. Он снял номер в проходной будке и затем повесил его обратно. День он провел в овраге, под солнцем и паутиной бабьего лета. Он слышал гудки паровозов и шум их скорости, но не вылезал глядеть, не чувствуя больше уважения к паровозам.

Рыбак утонул в озере Мутево, бобыль умер в лесу, пустое село заросло кущами трав, но зато шли часы церковного сторожа, ходили поезда по расписанию — и было теперь Захару Павловичу скучно и стыдно от правильности действий часов и поездов.

— Что бы наделал Прошка в моих летах и разуме? — обсуждал свое положение Захар Павлович.— Он бы нарушил что-нибудь, сукин сын!.. Хотя Сашка и при его царстве побирался бы.

Тот теплый туман любви к машинам, в котором покойно и надежно жил Захар Павлович, сейчас был разнесен чистым ветром, и перед Захаром Павловичем открылась беззащитная, одинокая жизнь людей, живших голыми, без всякого обмана себя верой в помощь машин.

Машинист-наставник понемногу перестал ценить Захара Павловича: я, говорит, серьезно допустил, что ты отродье старинных мастеров, а ты так себе — чернорабочая сила, шлак из-под бабы!

Захар Павлович от душевного смущенья действительно терял свое усердное мастерство. Из-за одной денежной платы оказалось трудным правильно ударить даже по шляпке гвоздя. Машинист-наставник знал это лучше

всех — он верил, что когда исчезнет в рабочем влекущее чувство к машине, когда труд из безотчетной, бесплатной естественности станет одной денежной нуждой,— тогда наступит конец света, даже хуже конца: после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров.

. . . .

Сын любопытного рыбака был настолько кроток, что думал, что все в жизни происходит взаправду. Когда ему отказывали в подаянии, он верил, что все люди не богаче его. Спасся от смерти он тем, что у одного молодого слесаря заболела жена и слесарю не с кем было оставлять жену, когда он уходил на работу. А жена его боялась одна оставаться в комнате и слишком скучала. Слесарю понравилась какая-то прелесть в почерневшем от усталости мальчугане, нищенствовавшем без всякого внимания к подаянию. Он его посадил дежурить около больной женщины, которая ему не перестала быть милее всех.

Саша целыми днями сидел на табуретке в ногах больной, и женщина ему казалась такой же красивой, как его мать в воспоминаниях отца. Поэтому он жил и помогал больной с беззаветностью позднего детства, никем раньше не принятого. Женщина полюбила его и называла Александром, не привыкнув быть госпожой. Но скоро она выздоровела, и ее муж сказал Саше: на́ тебе, мальчик, двадцать копеек, ступай куда-нибудь.

Саша взял непривычные деньги, вышел на двор и заплакал. Близ уборной, верхом на мусоре сидел Прошка и копался руками под собой. Он теперь собирал кости, тряпки и жесть, курил и постарел лицом от праховой пыли мусорных куч.

— Ты опять плачешь, гундосый черт? — не прерывая работы, спросил Прошка.— Пойди поройся, а я чаю попить сбегаю: нынче соленое ел.

Но Прошка пошел не в трактир, а к Захару Павловичу. Тот читал книгу вслух от своей малограмотности: «Граф Виктор положил руку на преданное, храброе сердце и сказал: я люблю тебя, дорогая...»

Прошка сначала послушал,— думал, что это сказка,— а потом разочаровался и сразу сказал:

— Захар Палыч, давай рубль, я тебе сейчас Сашку-сироту приведу!

— А?! — испугался Захар Павлович. Он обернулся своим печальным старым лицом, которое бы и теперь любила жена, если бы она жива была.

Прошка снова назначил цену за Сашку, и Захар Павлович отдал ему рубль, потому что он теперь был и Сашке рад. Столяр съехал с квартиры на шпалопропиточный завод, и Захару Павловичу досталась пустота двух комнат. В последнее время хотя и беспокойно, но забавно было жить с сыновьями столяра; они возмужали настолько, что не знали места своей силе и несколько раз нарочно поджигали дом, но всегда живьем тушили огонь, не дав ему полностью разгореться. Отец на них серчал, а они говорили ему: чего ты, дед, огня боишься — что сгорит, то не сгниет; тебя бы, старого, сжечь надо — в могиле гнить не будешь и не провоняешь никогда!

Перед отъездом сыновья повалили будку уборной и отрубили хвост дворовому псу.

Прошка не сразу отправился к Сашке: сначала он купил пачку папирос «Землячок» и запросто побеседовал с бабами в лавке. Потом Прошка возвратился к мусорной куче.

— Сашка,— сказал он,— пойдем, я тебя отведу, чтоб ты больше мне не навязывался!

. . . .

В следующие годы Захар Павлович все более приходил в упадок. Чтобы не умереть одному, он завел себе невеселую подругу — жену Дарью Степановну. Ему легче было полностью не чувствовать себя: в депо мешала работа, а дома зудела жена. В сущности, такая двухсменная суета была несчастием Захара Павловича, но если бы она исчезла, то Захар Павлович ушел бы в босяки. Машины и изделия его уже перестали горячо интересовать, во-первых, сколько ни работал он, все равно люди жили бедно и жалобно, во-вторых, мир заволакивался какой-то равнодушной грезой,— наверно, Захар Павлович слишком утомился и действительно предчувствовал свою тихую смерть. Так бывает под старость со многими мастеровыми: твердые вещества, с которыми они имеют дело целые десятилетия, тайно обучают их непреложности всеобщей гибельной судьбы. На их глазах выходят из строя паровозы, преют годами под солнцем, а потом идут в лом. В воскресные дни Захар Павлович ходил на реку ловить рыбу и додумывать последние мысли.

Дома его утешением был Саша. Но и на этом утешении мешала сосредоточиться постоянно недовольная жена. Может быть, это вело к лучшему: если бы Захар Павлович мог до конца сосредоточиться на увлекавших его предметах, он бы, наверное, заплакал.

В такой рассеянной жизни прошли целые годы. Иногда, наблюдая с койки читающего Сашу, Захар Павлович спрашивал:

— Саш, тебя ничего не рассеивает?

— Нет,— говорил Саша, привыкший к обычаям приемного отца.

— Как ты думаешь,— продолжал свои сомнения Захар Павлович,— всем обязательно нужно жить или нет?

— Всем,— отвечал Саша, немного понимая тоску отца.

— А ты нигде не читал: для чего?

Саша оставлял книгу.

— Я читал, что чем дальше, тем лучше будет жить.

— Ага! — доверчиво говорил Захар Павлович.— Так и напечатано?

— Так и напечатано.

Захар Павлович вздыхал.

— Все может быть. Не всем дано знать.

Саша уже год работал учеником в депо, чтобы выучиться на слесаря. К машинам и мастерству его влекло, но не так, как Захара Павловича. Его влечение не было любопытством, которое кончалось вместе с открытием секрета машины. Сашу интересовали машины наравне с другими действующими и живыми предметами,— он, скорее, хотел почувствовать их, пережить их жизнь, чем узнать. Поэтому, возвращаясь с работы, Саша воображал себя паровозом и производил все звуки, какие издает паровоз на ходу. Засыпая, он думал, что куры в деревне давно спят, и это сознание общности с курами или паровозом давало ему какое-то удовлетворение. Саша не мог поступить в чем-нибудь отдельно: сначала он искал подобие своему поступку, а затем уже поступал, но не по своей необходимости, а из сочувствия чему-нибудь или кому-нибудь.

— Я так же, как он,— часто говорил себе Саша. Глядя на давний забор, думал задушевным голосом: — Стоит себе! — и тоже стоял где-нибудь без всякой нужды. Когда осенью заунывно поскрипывали ставни и Саше было

скучно сидеть дома вечерами, он слушал ставни и чувствовал: им тоже скучно! — и переставал скучать.

Когда Саше надоедало ходить на работу, он успокаивал себя ветром, который дул день и ночь.

— Я так же, как он,— видел ветер Саша,— я работаю хоть один день, а он и ночь — ему еще хуже.

Поезда начали ходить очень часто — это наступила война. Мастеровые остались к войне равнодушны — их на войну не брали, и она им была так же чужда, как паровозы, которые они чинили и заправляли, но которые возили незнакомых незанятых людей.

Саша монотонно чувствовал, как движется солнце, проходят времена года и круглые сутки бегут поезда. Он уже забывал отца-рыбака, деревню и Прошку, идя вместе с возрастом навстречу тем событиям и вещам, которые он должен еще перечувствовать, пропустив внутрь, своего тела. Себя самого как самостоятельный твердый предмет Саша не сознавал — он всегда воображал что-нибудь чувством, и это вытесняло из него представление о самом себе. Жизнь его шла безотвязно и глубоко, словно в теплой тесноте материнского сна. Им владели внешние видения, как владеют свежие страны путешественником. Своих целей он не имел, хотя ему минуло уже шестнадцать лет, зато он без всякого внутреннего сопротивления сочувствовал любой жизни — слабости хилых дворовых трав и случайному ночному прохожему, кашляющему от своей бесприютности, чтобы его услышали и пожалели. Саша слушал и жалел. Он наполнялся тем темным воодушевленным волнением, какое бывает у взрослых людей при единственной любви к женщине. Он выглядывал в окно за прохожим и воображал о нем, что мог. Прохожий скрывался в глуши тьмы, шурша на ходу тротуарными камушками, еще более безымянными, чем он сам. Дальние собаки лаяли страшно и гулко, а с неба изредка падали усталые звезды. Может быть, в самой гуще ночи, среди прохладного ровного поля, шли сейчас куда-нибудь странники, и в них тоже, как и в Саше, тишина и погибающие звезды превращались в настроение личной жизни.

Захар Павлович ни в чем не мешал Саше — он любил его всею преданностью старости, всем чувством каких-то безотчетных, неясных надежд. Часто он просил Сашу почитать ему о войне, так как сам при лампе не разбирал букв.

Саша читал про битвы, про пожары городов и страшную трату металла, людей и имущества. Захар Павлович молча слушал, а в конце концов говорил:

— Я все живу и думаю: да неужели человек человеку так опасен, что между ними обязательно власть должна стоять? Вот из власти и выходит война... А я хожу и думаю, что война — это нарочно властью выдумана: обыкновенный человек так не может...

Саша спрашивал, как же должно быть.

— Так,— отвечал Захар Павлович и возбуждался.— Иначе как-нибудь. Послали бы меня к германцу, когда ссора только началась, я бы враз с ним уговорился, и вышло бы дешевле войны. А то умнейших людей послали!

Захар Павлович не мог себе представить такого человека, с каким нельзя бы душевно побеседовать. Но там, наверху,— царь и его служащие — едва ли дураки. Значит, война — это не серьезное, а нарочное дело. И здесь Захар Павлович становился в тупик: можно ли по душам говорить с тем, кто нарочно убивает людей, или у него прежде надо отнять вредное оружие, богатство и достоинство?

В первый раз Саша увидел убитого человека в своем же депо. Шел последний час работы — перед самым гудком. Саша набивал сальники в цилиндрах, когда два машиниста внесли на руках бледного наставника, из головы которого густо выжималась и капала на мазутную землю кровь. Наставника унесли в контору и оттуда стали звонить по телефону в приемный покой. Сашу удивило, что кровь была такая красная и молодая, а сам машинист-наставник такой седой и старый: будто внутри он был еще ребенком.

— Черти! — ясно сказал наставник.— Помажьте мне голову нефтью, чтоб кровь-то хоть остановилась!

Один кочегар быстро принес ведро нефти, окунул в нее обтирочные концы и помазал ими жирную от крови голову наставника. Голова стала черная, и от нее пошло видимое всем испарение.

— Ну вот, ну вот! — поощрил наставник.— Вот мне и полегчало. А вы думали, я умру? Рано еще, сволочи, ликовать...

Наставник понемногу ослаб и забылся. Саша разглядел ямы в его голове и глубоко забившиеся туда, вдавленные, уже мертвые волосы. Никто не помнил своей оби-

ды против наставника, несмотря на то что ему и сейчас болт был дороже и удобней человека.

Захар Павлович, стоявший здесь же, насильно держал открытыми свои глаза, чтобы из них не капали во всеуслышание слезы. Он снова видел, что как ни зол, как ни умен и храбр человек, а все равно грустен и жалок и умирает от слабости сил.

Наставник вдруг открыл глаза и зорко вгляделся в лица подчиненных и товарищей. Во взоре его еще блестела ясная жизнь, но он уже томился в туманном напряжении, а побелевшие веки закатывались в подбровную глазницу.

— Чего плачете? — с остатком обычного раздражения спросил наставник. Никто не плакал,— у одного Захара Павловича из вытаращенных глаз шла по щекам грязная невольная влага.— Чего вы стоите и плачете, когда гудка не было?

Машинист-наставник закрыл глаза и подержал их в нежной тьме; никакой смерти он не чувствовал — прежняя теплота тела была с ним, только раньше он ее никогда не ощущал, а теперь будто купался в горячих обнаженных соках своих внутренностей. Все это уже случалось с ним, но очень давно, и где — нельзя вспомнить. Когда наставник снова открыл глаза, то увидел людей как в волнующейся воде. Один стоял низко над ним, словно безногий, и закрывал свое обнаженное лицо грязной, испорченной на работе рукой.

Наставник рассердился на него и поспешил сказать, потому что тьма над ним уже смеркалась:

— Плачет чего-то, а Гараська опять, скотина, котел сжег... Ну чего плачет? Нового человека соберись и сделай...

Наставник вспомнил, где он видел эту тихую горячую тьму; это просто теснота внутри его матери, и он снова всовывается меж ее расставленными костями, но не может пролезть от своего слишком большого старого роста...

— Нового человека соберись и сделай... Гайку, сволочь, не сумеешь, а человека моментально...

Здесь наставник втянул воздух и начал что-то сосать губами. Видно было, что ему душно в каком-то узком месте, он толкался плечами и силился навсегда поместиться.

— Просуньте меня поглубже в трубу,— прошептал он опухшими детскими губами.— Иван Сергеич, позови Три

Осьмушки Под Резьбу — пусть он, голубчик, контргаечкой меня зажмет...

Носилки принесли поздно. Не к чему было нести машиниста-наставника в приемный покой.

— Несите человека домой,— сказали мастеровые врачу.

— Никак нельзя,— ответил врач.— Он нам для протокола необходим.

В протоколе написали, что старший машинист-наставник получил смертельные ушибы при перегонке холодного паровоза, сцепленного с дежурным паровозом горячим пятисаженным стальным тросом. При переходе стрелки трос коснулся путевого фонарного столба, который упал и повредил своим кронштейном голову наставника, наблюдавшего с тендера тягового паровоза за прицепной машиной. Происшествие имело место благодаря неосторожности самого машиниста-наставника, а также вследствие несоблюдения надлежащих правил службы движения и эксплуатации.

Захар Павлович взял Сашу за руку и пошел из депо домой. Жена за ужином сказала, что мало продают хлеба и нет нигде говядины.

— Ну и помрем, только и делов,— ответил без сочувствия Захар Павлович. Для него весь житейский обиход потерял важное значение.

Для Саши — в ту пору его ранней жизни — в каждом дне была своя, безымянная прелесть, не повторявшаяся в будущем; образ машиниста-наставника ушел для него в подводную глубь воспоминаний. Но у Захара Павловича уже не было такой самозарастающей силы жизни: он был стар, а этот возраст нежен и обнажен для гибели наравне с детством. Ничто не тронуло Захара Павловича и в следующие годы. Только по вечерам, когда он глядел на читающего Сашу, в нем поднималась жалость к нему. Захар Павлович хотел бы сказать Саше: не томись за книгами,— если б там было что серьезное, давно бы люди обнялись друг с другом. На самом же деле Захар Павлович ничего не говорил, хотя в нем постоянно шевелилось что-то простое, как радость, но ум мешал ей высказаться. Он тосковал о какой-то отвлеченной, успокоительной жизни на берегах гладких озер, где бы дружба отменила все слова и всю премудрость смысла жизни.

Захар Павлович терялся в своих догадках; всю жизнь его отвлекали случайные интересы, вроде машин и изде-

лий, и только теперь он опомнился: что-то должна прошептать ему на ухо мать, когда кормила его грудью, что-то такое же кровно необходимое, как ее молоко, вкус которого теперь навсегда забыт. Но мать ничего ему не прошептала, а самому про весь свет нельзя сообразить. И поэтому Захар Павлович стал жить смирно, уже не надеясь на всеобщее коренное улучшение: сколько бы ни делать машин — на них не ездить ни Прошке, ни Сашке, ни ему самому. Паровозы работают либо для посторонних людей, либо для солдат, но их везут насильно. Машина сама — тоже не своевольное, а безответное существо. Ее теперь Захар Павлович больше жалел, чем любил, и даже говорил в депо паровозу с глазу на глаз:

— Поедешь? Ну, поезжай! Ишь как дышла свои разработал,— должно быть, тяжела пассажирская сволочь.

Паровоз хотя и молчал, но Захар Павлович его слышал.

— Колосники затекают — уголь плохой,— грустно говорил паровоз.— Тяжело подъемы брать. Баб тоже много к мужьям на фронт ездит, а у каждой по три пуда пышек. Почтовых вагонов опять-таки теперь два цепляют, а раньше один,— люди в разлуке живут и письма пишут.

— Ага,— задумчиво беседовал Захар Павлович и не знал, чем же помочь паровозу, когда люди непосильно нагружают его весом своей разлуки.— А ты особо не тужись — тяни спрохвала.

— Нельзя,— с кротостью разумной силы отвечал паровоз.— Мне с высоты насыпи видны многие деревни: там люди плачут — ждут писем и раненых родных. Посмотри мне в сальник — туго затянули, поршневую скалку нагрею на ходу.

Захар Павлович шел и отдавал болты на сальнике.

— Действительно, затянули, сволочи,— разве ж так можно!

— Чего ты там возишься? — спрашивал дежурный механик, выходя из конторы.— Тебя очень просили копаться там! Скажи — да или нет?

— Нет,— укрощенно говорил Захар Павлович.— Мне показалось, туго затянули...

Механик не сердился.

— Ну и не трожь, раз тебе показалось. Их как ни затяни, все равно на ходу парят.

После паровоз тихо бурчал Захару Павловичу:

— Дело не в затяжке — там шток посредине разработан, оттого и сальники парят. Разве я сам хочу это делать?

— Да я видел,— вздыхал Захар Павлович.— Но я ведь обтирщик — сам знаешь,— мне не верят.

— Вот именно! — густым голосом сочувствовал паровоз и погружался во тьму своих охлажденных сил.

— Я ж и говорю! — поддакивал Захар Павлович.

Когда Саша поступил на вечерние курсы, то Захар Павлович про себя обрадовался. Он всю жизнь прожил своими силами, без всякой помощи, никто ему ничего не подсказывал — раньше собственного чувства, а Саше книги чужим умом говорят.

— Я мучился, а он читает — только и всего! — завидовал Захар Павлович.

Почитав, Саша начинал писать. Жена Захара Павловича не могла уснуть при лампе.

— Все пишет,— говорила она.— А чего пишет?

— А ты спи,— советовал Захар Павлович.— Закрой глаза кожей и спи!

Жена закрывала глаза, но и сквозь веки видела, как напрасно горит керосин. Она не ошиблась — действительно, зря горела лампа в юности Александра Дванова, освещая раздражающие душу страницы книг, которым он позднее все равно не последовал. Сколько он ни читал и ни думал, всегда у него внутри оставалось какое-то порожнее место — та пустота, сквозь которую тревожным ветром проходит неописанный и нерассказанный мир. В семнадцать лет Дванов еще не имел брони над сердцем — ни веры в бога, ни другого умственного покоя; он не давал чужого имени открывающейся перед ним безымянной жизни. Однако он не хотел, чтобы мир остался ненареченным, он только ожидал услышать его собственное из его же уст имя вместо нарочно выдуманных прозваний.

Однажды он сидел ночью в обычной тоске. Его не закрытое верой сердце мучилось в нем и желало себе утешения. Дванов опустил голову и представил внутри своего тела пустоту, куда непрестанно, ежедневно входит, а потом выходит жизнь, не задерживаясь, не усиливаясь, ровная, как отдаленный гул, в котором невозможно разобрать слова песни.

Саша почувствовал холод в себе, как от настоящего

ветра, дующего в просторную тьму позади него, а впереди, откуда рождался ветер, было что-то прозрачное, легкое и огромное — горы живого воздуха, который нужно превратить в свое дыхание и сердцебиение. От этого предчувствия заранее захватывало грудь, и пустота внутри тела еще больше разжималась, готовая к захвату будущей жизни.

— Вот это я! — громко сказал Александр.

— Кто ты? — спросил неспавший Захар Павлович.

Саша сразу смолк, объятый внезапным позором, унесшим всю радость его открытия. Он думал, что сидит одиноким, а его слушал Захар Павлович.

Захар Павлович это заметил и уничтожил свой вопрос равнодушным ответом самому себе:

— Чтец ты, и больше ничего... Ложись лучше спать, уже поздно...

Захар Павлович зевнул и мирно сказал:

— Не мучайся, Саш, ты и так слабый...

— И этот в воде из любопытства утонет, — прошептал для себя Захар Павлович под одеялом. — А я на подушке задохнусь. Одно и то же.

Ночь продолжалась тихо — из сеней было слышно, как кашляют сцепщики на станции. Кончался февраль, уже обнажались бровки на канавах с прошлогодней травой, и на них глядел Саша, словно на сотворение земли. Он сочувствовал появлению мертвой травы и рассматривал ее с таким прилежным вниманием, какого не имел по отношению к себе.

Он до теплокровности мог ощутить чужую, отдаленную жизнь, а самого себя воображал с трудом. О себе он только думал, а постороннее чувствовал с впечатлительностью личной жизни и не видел, чтобы у кого-нибудь это было иначе.

Захар Павлович однажды разговорился с Сашей, как равный человек.

— Вчера котел взорвался у паровоза серии «Ша», — говорил Захар Павлович.

Саша это уже знал.

— Вот тебе и наука, — огорчался по этому и по какому-то другому поводу Захар Павлович. — Паровоз только что с завода пришел, а заклепки к черту!.. Никто ничего серьезного не знает — живое против ума прет...

Саша не понимал разницы между умом и телом и молчал. По словам Захара Павловича выходило, что ум —

это слабосудная сила, и машины изобретены сердечной догадкой человека — отдельно от ума.

Со станции иногда доносился гул эшелонов. Гремели чайники, и странными голосами говорили люди, как чужие племена.

— Кочуют! — прислушивался Захар Павлович.— До чего-нибудь докочуются.

Разочарованный старостью и заблуждениями всей своей жизни, он ничуть не удивился революции.

— Революция легче, чем война,— объяснял он Саше.— На трудное дело люди не пойдут: тут что-нибудь не так...

Теперь Захара Павловича невозможно было обмануть, и он, ради безошибочности, отверг революцию.

Он всем мастеровым говорил, что у власти опять умнейшие люди дежурят — добра не будет.

До самого октября месяца он насмехался, в первый раз почувствовав удовольствие быть умным человеком. Но в одну октябрьскую ночь он услышал стрельбу в городе и всю ночь пробыл на дворе, заходя в горницу лишь закурить. Всю ночь он хлопал дверями, не давая заснуть жене.

— Да угомонись ты, идол бешеный! — ворочалась в одиночестве старуха.— Вот пешеход-то!.. И что теперь будет — ни хлеба, ни одежи!.. Как у них руки-то стрелять не отсохнут,— без матерей, видно, росли!

Захар Павлович стоял посреди двора с пылающей цигаркой, поддакивая дальней стрельбе.

— Неужели это так? — спрашивал себя Захар Павлович, уходил закуривать новую цигарку.

— Ложись, леший! — советовала жена.

— Саша, ты не спишь? — волновался Захар Павлович.— Там дураки власть берут, может, хоть жизнь поумнеет.

Утром Саша и Захар Павлович отправились в город. Захар Павлович искал самую серьезную партию, чтобы сразу записаться в нее. Все партии помещались в одном казенном доме, и каждая считала себя лучше всех. Захар Павлович проверял партии на свой разум — он искал ту, в которой не было бы непонятной программы, а все было бы ясно и верно на словах. Нигде ему точно не сказали про тот день, когда наступит земное блаженство. Одни отвечали, что счастье — это сложное изделие и не в нем цель человека, а в исторических законах. А другие

говорили, что счастье состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно.

— Вот это так! — резонно удивлялся Захар Павлович.— Значит, работай без жалованья. Тогда это не партия, а эксплуатация. Идем, Саш, с этого места. У религии и то было торжество православия...

В следующей партии сказали, что человек настолько великолепное и жадное существо, что даже странно думать о насыщении его счастьем — это был бы конец света.

— Его-то нам и надо! — сказал Захар Павлович.

За крайней дверью коридора помещалась самая последняя партия, с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный человек, а остальные отлучились властвовать.

— Ты что? — спросил он Захара Павловича.

— Хочем записаться вдвоем. Скоро конец всему наступит?

— Социализм, что ль? — не понял человек.— Через год. Сегодня только учреждения занимаем.

— Тогда пиши нас,— обрадовался Захар Павлович.

Человек дал им по пачке мелких книжек и по одному вполовину напечатанному листу.

— Программа, устав, резолюции, анкета,— сказал он.— Пишите и давайте двух поручителей на каждого.

Захар Павлович похолодел от предчувствия обмана.

— А устно нельзя?

— Нет. На память я регистрировать не могу, а партия вас забудет.

— А мы являться будем.

— Невозможно: по чем же я вам билеты выпишу? Ясное дело — по анкете, если вас утвердит собрание.

Захар Павлович заметил: человек говорит ясно, четко, справедливо, без всякого доверия,— наверно, будет умнейшей властью, которая либо через год весь мир окончательно построит, либо поднимет такую суету, что даже детское сердце устанет.

— Ты запишись, Саш, для пробы,— сказал Захар Павлович.— А я годок обожду.

— Для пробы не записываем,— отказал человек.— Или навсегда и полностью наш, или — стучите в другие двери.

— Ну, всурьез,— согласился Захар Павлович.

— А это другое дело,— не возражал человек.

Саша сел писать анкету. Захар Павлович начал расспрашивать партийного человека о революции. Тот отвечал между делом, озабоченный чем-то более серьезным.

— Рабочие патронного завода вчера забастовали, а в казармах произошел бунт. Понял? А в Москве уже вторую неделю у власти стоят рабочие и беднейшие крестьяне.

— Ну?

Партийный человек отвлекся телефоном. «Нет, не могу,— сказал он в трубку.— Сюда приходят представители масс, надо же кому-нибудь информацией заниматься!»

— Что ну? — вспомнил он.— Партия туда послала представителей оформить движение, и ночью же нами были захвачены жизненные центры города.

Захар Павлович ничего не понимал.

— Да ведь это солдаты и рабочие взбунтовались, а вы-то здесь при чем? Пускай бы они своей силой и дальше шли!

Захар Павлович даже раздражался.

— Ну, товарищ рабочий,— спокойно сказал член партии,— если так рассуждать, то у нас сегодня буржуазия уже стояла бы на ногах и с винтовкой в руках, а не была бы Советская власть.

«А может быть, что-нибудь лучшее было бы!» — подумал Захар Павлович, но что — сам себе не мог доказать.

— В Москве нет беднейших крестьян,— усомнился Захар Павлович.

Мрачный партийный человек еще более нахмурился: он представил себе все великое невежество масс и то, сколько для партии будет в дальнейшем возни с этим невежеством. Он заранее почувствовал усталость и ничего не ответил Захару Павловичу. Но Захар Павлович донимал его прямыми вопросами. Он интересовался, кто сейчас главный начальник в городе и хорошо ли знают его рабочие.

Мрачный человек даже оживился и повеселел от такого крутого непосредственного контроля. Он позвонил по телефону. Захар Павлович загляделся на телефон с забытым увлечением. «Эту штуку я упустил из виду,— вспомнил он про свои изделия.— Ее я сроду не делал».

— Дай мне товарища Перекорова,— сказал по проволоке партийный человек.— Перекоров? Вот что. Надо бы поскорее газетную информацию наладить. Хорошо бы популярной литературки побольше выпустить... Слушаю. А ты кто? Красногвардеец? Ну, тогда брось трубку,— ты ничего не понимаешь...

Захар Павлович вновь рассердился.

— Я тебя спрашивал оттого, что у меня сердце болит, а ты газетой меня утешаешь... Нет, друг, всякая власть есть царство, тот же синклит и монархия, я много передумал...

— А что же надо? — озадачился собеседник.

— Имущество надо унизить,— открыл Захар Павлович.— А людей оставить без призора — к лучшему обойдется, ей-богу, правда!

— Так это анархия!

— Какая тебе анархия — просто себе сдельная жизнь!

Партийный человек покачал лохматой и бессонной головой.

— Это в тебе мелкий собственник говорит. Пройдет с полгода, и ты сам увидишь, что принципиально заблуждался.

— Обождем,— сказал Захар Павлович.— Если не справитесь, отсрочку дадим.

Саша дописал анкету.

— Неужели это так? — говорил на обратной дороге Захар Павлович.— Неужели здесь точное дело? Выходит, что так.

На старости лет Захар Павлович обозлился. Ему теперь стало дорого, чтобы револьвер был в надлежащей руке,— он думал о том кронциркуле, которым можно было бы проверить большевиков. Лишь в последний год он оценил то, что потерял в своей жизни. Он утратил все: разверстое небо над ним ничуть не изменилось от его долголетней деятельности, он ничего не завоевал для оправдания своего ослабевшего тела, в котором напрасно билась какая-то главная сияющая сила. Он сам довел себя до вечной разлуки с жизнью, не завладев в ней наиболее необходимым.

И вот теперь он с грустью смотрит на плетни, деревья и на всех чужих людей, которым он за пятьдесят лет не принес никакой радости и защиты, и с которыми ему предстоит расстаться.

— Саш,— сказал он,— ты сирота, тебе жизнь досталась задаром. Не жалей ее, живи главной жизнью.

Александр молчал, уважая скрытое страдание приемного отца.

— Ты не помнишь Федьку Беспалова? — продолжал Захар Павлович.— Слесарь у нас такой был — теперь он умер. Бывало, пошлют его что-нибудь смерить, он пойдет, приложит пальцы и идет с расставленными руками. Пока донесет руки, у него из аршина сажень получается. Что ж ты, сукин сын? — ругают его. А он: да мне дюже нужно — все равно за это не прогонят.

Лишь на другой день Александр понял, что хотел сказать отец.

— Хоть они и большевики, и великомученики своей идеи, — напутствовал Захар Павлович,— но тебе надо глядеть и глядеть. Помни — у тебя отец утонул, мать неизвестно кто, миллионы людей без души живут,— тут великое дело... Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться...

Захар Павлович разжигался от собственных слов и все более восходил к какому-то ожесточению.

— А иначе... Знаешь, что иначе будет? В топку — и дымом по ветру! В шлак, а шлак кочережкой и под откос! Понял ты меня или нет?..

От возбуждения Захар Павлович перешел к растроганности и в волнении ушел на кухню закуривать.

Затем он вернулся и робко обнял своего приемного сына.

— Ты, Саш, не обижайся на меня! Я тоже круглый сирота, нам с тобой некому пожалиться.

Александр не обижался. Он чувствовал сердечную нужду Захара Павловича, но верил, что революция — это конец света. В будущем же мире мгновенно уничтожится тревога Захара Павловича, а отец-рыбак — найдет то, ради чего он своевольно утонул. В своем ясном чувстве Александр уже имел тот новый свет, но его можно лишь сделать, а не рассказать.

Через полгода Александр поступил на открывшиеся железнодорожные курсы, а затем перешел в Политехникум.

По вечерам он вслух читал Захару Павловичу технические учебники, а тот наслаждался одними непонятными звуками науки и тем, что его Саша понимает их.

Но скоро учение Александра прекратилось, и надолго. Партия его командировала на фронт гражданской войны — в степной городок Новохоперск.

Захар Павлович целые сутки сидел с Сашей на вокзале, поджидая попутного эшелона, и искурил три фунта махорки, чтобы не волноваться. Они уже обо всем переговорили, кроме любви.

1927

«ЭФИРНЫЙ ТРАКТ»

1

Проснувшись в пять часов утра в своей московской квартире, Фаддей Кириллович почувствовал раздражение. Тусклый свет горел в комнате, и где-то визжали толстые крысы. Сон больше не придет. Фаддей Кириллович надел жилетку и уселся, раскачивая очумелый мозг. Он лег в час, еле добравшись до постели, и не вовремя проснулся.

«Ну-с, Фаддей Кириллович, махнем снова,— сказал он самому себе,— микробы усталости могут успокоиться: я им пощады все равно не дам!»

Он воткнул перо в чернильницу, вытянул дохлую муху и рассмеялся: «Это же, понимаете, мухоловка! И у меня все так, милые граждане: перо тычет, а не скользит, чернила — вода, бумага — рогожа! Это удивительно, господа!..»

Фаддей Кириллович всегда представлял свою комнату населенной немыми, но внимательными собеседниками. Мало того, такие вещи он безрассудно принимал за живые существа, и притом похожие на самого себя.

Раз, мрачно утомившись, он обмакнул в чернила перо, положил его на недописанный лист бумаги и сказал: «Заканчивай, заноза!» А сам лег спать.

Одиночество, заглушенность души, сырость и полутьма квартиры превратили Фаддея Кирилловича в пожилого нерачительного субъекта с житейски неразвитым мозгом.

Работал Фаддей Кириллович бормоча, вслух перебирая возможные варианты стиля и содержания излагаемого.

— Поспешим, Фаддей! Поспешим... Несомненно одно, что... что как только почва даст вместо сорока пятьсот пудов на десятину и что... если железо начнет размножаться, то... эти — как их? — женщины и ихние мужья сразу возьмут и нарожают столько детей, что не хватит опять ни хлеба, ни железа и настанет бедность. Довольно бормотать, ты мне мешаешь, дурак!..

Выругав этак себя, Фаддей Кириллович притих и усердно занялся работой, выводя аккуратные значки, как на уроке чистописания.

Москва проснулась и завизжала трамваями. Изредка вольтовы дуги озаряли туман, потому что токособиратели иногда отскакивали от провода.

— Идиоты! — не выдержал Фаддей Кириллович.— До сих пор не могут поставить рациональных токособирателей: жгут провод, тратят энергию и нервируют прохожих!..

Когда окончательно рассеялся туман и засиял неожиданный торжественный день, Фаддей Кириллович протер заслезившиеся глаза и начал в злостном исступлении драть ногтями поясницу.

В это время к Фаддею Кирилловичу постучали: Мокрида Захаровна, старушка, принесла Попову завтрак и пришла убирать комнату.

— Ну как, Захаровна? Ничего там не случилось? Люди не вымерли? Светопреставление не началось еще? Погляди, спина у меня назади?..

— И что ты, батюшка Фаддей Кириллович, говоришь? Опомнись, батюшка,— такого не бывает! Сидит-сидит, учится-учится, переучится — и начнет ум за разуменье заходить! Поешь, голубчик, отдохни, ан и сердце отойдет, и думы утихнут.

— Да, Захарьевна, да, Мокрида! Да, да, да! И трижды кряду — да. И еще раз — да!.. Ну, давай твою вкусную еду. Будем разводить гнилостные бактерии в двенадцатиперстной кишке, пускай живут в тесноте!.. А ты, старушка, ступай! Мне некогда, за кастрюлями придешь вечером, тогда и комнату уберешь. Вечером я уеду.

— Ох, батюшка Фаддей Кириллович, дюже ты чуден да привередлив стал, замучил старуху!.. Когда ожидать-то вас?

— Не жди, ступай, считай меня усопшим!

Спешно поев, Фаддей Кириллович закурил и вдруг вскочил, живой, стремительный и веселый.

— Ага, вот где ты пряталось? Вылазь, божья куколка! Души моей чучелко! Живи, моя дочка! Танцуй, Фаддей, крутись, Гаврила, колесо налево, оттормаживай историю! Эх, моя молодость! Да здравствуют дети, невесты и влажные, красные, жадные губы! Долой Мальтуса и госпланы деторождения! Да здравствует геометрическая и гомерическая прогрессия жизни!..

Тут Фаддей Кириллович остановился и сказал:

— Пожилой субъект ты, Фаддей, а дурак! Еле догадался, а уж благодетельствовать собираешься, самолюби-

вая сволочь! Садись к столу, сгною тебя работой, паршивый выродок!

Усевшись, Фаддей Кириллович, однако, почувствовал страшную пустоту в мозгу, будто там ливни работы смыли всю плодоносную почву и нечем было питаться зелени его творчества.

Тогда он начал писать частное письмо:

«Профессору Штауферу.

Вена.

Знаменитый коллега! Вы уже, без сомнения, забыли меня, который был Вашим учеником двадцать один год тому назад. Помните ли Вы звонкую майскую венскую ночь, когда в самом чутком воздухе была жажда научного творчества, когда мир открывался перед нами, как молодость и загадка? Помните, мы шли вчетвером по Националштрассе — Вы, два вéнца и я, русский рыжеватый любопытствующий молодой человек! Помните, Вы сказали, что жизнь, в физиологическом смысле,— наиболее общий признак всей прощупываемой наукой вселенной. Я, по молодости, попросил разъяснений. Вы охотно ответили: атом, как известно, колония электронов, а электрон есть не только физическая категория, но также и биологическая, электрон суть микроб, то есть живое тело, и пусть целая пучина отделяет его от такого животного, как человек: принципиально это одно и то же! Я не забыл Ваших слов. Да и Вы не забыли: я читал Ваш труд, вышедший в этом году в Берлине: «Система Менделеева как биологические категории альфа-существ». В этом блестящем труде Вы впервые осторожно, истинно научно, но уверенно, доказали, что электроны одарены жизнью, что они движутся, живут и размножаются, что их изучение отныне изъемлется из физики и передается биологической дисциплине. Коллега и учитель! Я не спал три ночи после чтения Вашего труда! У Вас есть в книге фраза: «Дело техников теперь разводить железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней». Я не знаю, освоена ли кем эта мысль так, как она освоена мной! Позвольте же, коллега, попросить у Вас разрешения посвятить Вашему имени свой скромный труд, всецело основанный на Ваших блестящих теоретических изысканиях и гениальных экспериментах.

Д-р Фаддей Попов

Москва, СССР».

Запечатав в конверт письмо и рукопись под несколько ненаучным названием — «Сокрушитель адова дна», Фаддей Кириллович спешно утрамбовал чемодан книжками и отрывками рукописей, автоматически, бессознательно надел пальто и вышел на улицу.

В городе сиял электричеством ранний вечер. Круто замешенные людьми, веселые улицы дышали озабоченностью, трудным напряжением, сложной культурой и скрытым легкомыслием.

Фаддей Кириллович влез в таксомотор и объявил шоферу маршрут на далекий вокзал.

На вокзале Фаддей Кириллович купил билет до станции Ржавое. А утром он уже был на месте своего стремления.

От вокзала до города Ржавска было три версты. Фаддей Кириллович прошел их пешком, он любил русскую мертвую созерцательную природу, любил месяц октябрь, когда все неопределенно и странно, как в сочельник накануне всемирной геологической катастрофы.

Идя по улицам Ржавска, Фаддей Кириллович читал странные надписи на заборах и воротах, исполненные по трафарету: «Тара», «брутто», «Ю. З.», «болен», «на дорогу собств.», «тормоз не действ.». Оказывается, городок строился железнодорожниками и из материалов ж. д.

Наконец Фаддей Кириллович увидел надпись: «Новый Афон». Сначала он подумал, что это кусок обшивки классного вагона, потом увидел вырезанный из бумаги и наклеенный на окно чайник, заурядную личность в армяке, босиком вышедшую на двор по ясной нужде, и догадался, что это гостиница.

— Свободные номера есть? — спросил босого человека Фаддей Кириллович.

— В наличности, гражданин, в полной чистоплотности, в уюте и тепле!

— Цена?

— Рублик, рубль двадцать и пятьдесят копеек!

— Давай за полтинник!

— Пожалуйте наверх!

2

В полдень Фаддей Кириллович пошел в окружной исполком. Он попросил у председателя свидания, причем переговорить желательно вдвоем.

Председатель его тотчас же принял. Это был молодой слесарь — обыкновенное лицо, маленькие любознательные глаза, острая, хищная жажда организации всего уездного человечества, за что ему слегка попадало от облисполкома. У председателя были замечательные руки — маленькие, несмотря на его бывшую профессию, с длинными, умными пальцами, постоянно шевелящимися в нетерпении, тревоге и нервном зуде. Лицом он был спокоен всегда, но руки его отвечали на все внешние впечатления.

Узнав, что с ним желает говорить доктор физических наук, он удивился, грубо обрадовался и велел секретарю сейчас же открыть дверь, досрочно выпроводив завземотделом, пришедшего с докладом о посеве какой-то клещевины.

Фаддей Кириллович показал председателю бумаги научных институтов и секций Госплана, рекомендующих его как научного работника, и приступил к делу.

— Мое дело просто и не нуждается в доказательствах. Моя просьба обоснована и убедительна и не может быть отвергнута. Пять лет назад в вашем округе производились большие изыскания на магнитную железную руду. Вам это известно. Она обнаружена на средней глубине двухсот метров. Руду с такой глубины добывать пока экономически невыгодно. Она поэтому оставлена в покое. Я приехал сюда произвести некоторые опыты. Мне не нужно ни сотрудников, ни денег. Я только ставлю вас в известность и прошу отвести мне двадцать десятин земли — можно и неудобной. Район я еще не выбрал,— об этом после, когда я вернусь из поездки по округу. Далее, чтобы вы знали, что я приехал сюда не шутить, я скажу вам: работы мои имеют целью, так сказать, подкормить руду, для того чтобы она разжирела и сама выперла на дневную поверхность земли, где мы ее можем схватить голыми руками. В исходе опытов я уверен, но пока прошу молчать. Через три дня я выберу район и вернусь к вам. Вы поняли меня и согласны мне помочь?

— Понял совершенно. Держите руку. Работайте — мы вам помощники!

В тот же день Фаддей Кириллович на подводе выехал в поле — отыскать условную высотную отметку экспедиции академика Лазарева, в районе которой магнитный железняк высовывает язык и лежит на глубине ста семидесяти метров. На вторые сутки Попов нашел на бровке глухого, дикого оврага чугунный столб с условной краткой надписью: «Э. М. А. 38, 168, 46, 22».

Через неделю Фаддей Кириллович прибыл на это место с землемером, который должен отмежевать участок в двадцать десятин, и Михаилом Кирпичниковым.

Кирпичникова рекомендовал Фаддею Кирилловичу председатель окрисполкома как совершенно идеологически выдержанного человека, а Попов увидел, что без помощника ему не обойтись.

Через три дня Попов и Кирпичников привезли из деревни Тыновки, что в десяти верстах, разобранную хатку и собрали ее на новом месте.

— Сколько мы здесь проживем, Фаддей Кириллович? — спросил Кирпичников Попова.

— Не менее пяти лет, дорогой друг, а скорее — лет десять. Это тебя не касается. Вообще не спрашивай меня. Можешь каждое воскресенье уходить и радоваться в своем клубе...

И пошли беспримерные дни. Кирпичников работал по двенадцати часов в сутки: покончив дела со сборкой дома, он начал рыть шахту на дне балки. Попов работал не меньше его и умело владел топором и лопатой, даром что доктор физических наук. Так в глубине равнинной глухой страны, где издавна жили пахари, потомки смелых бродяг земного шара, трудились два чужих человека: один для ясной и точной цели, другой в поисках пропитания, постепенно стараясь узнать от ученого то, чего сам искал,— как случайную, нечаянную жизнь человека превратить в вечное господство над чудом вселенной.

Попов молчал постоянно. Иногда он уходил на целый день в грязные ноябрьские поля. Раз Кирпичников слушал вдали его голос — живой, поющий и полный веселой энергии. Но возвратился Попов мрачный.

В начале декабря Попов послал Кирпичникова в областной город — купить по списку книг и всяких электрических принадлежностей, приборов и инструментов.

Через неделю Кирпичников возвратился, и Фаддей Кириллович начал делать какой-то небольшой сложный прибор.

Один только раз, поздно ночью, когда Кирпичников доливал керосин в лампу, Попов обратился к нему:

— Слушай, мне скучно, Кирпичников! Скажи-ка мне, кто ты такой, есть ли у тебя невеста, цель жизни, тоска, что-нибудь такое? Или ты только антропоид и тебе только нужно нажраться и сопеть?

Кирпичников сдержался.

— Нет, Фаддей Кириллович! Ничего у меня нет. Жрать и сопеть я не люблю, а хочу понять дело, которое делаете вы, но вы не говорите — это зря, я бы еще лучше работал. Я пойму, Фаддей Кириллович, честное слово!

— Оставь, оставь, ничего ты не поймешь! Ну, довольно, наговорились. Ложись спать, я посижу еще...

3

Фаддей Кириллович отправился в свою очередную прогулку — теперь уже по замерзающим, недышащим полям. Кирпичников тесал на дворе сруб для укрепления шахты и вошел в хату за спичкой закурить.

Подойдя к столу, он прочитал несколько слов из того, что писал Попов ночью, и, не зажегши спички, потерял все окружающее и забыл свое имя и существование.

«Коллега и учитель! К восьмой главе той рукописи, которую я Вам выслал для просмотра, необходимо сделать добавление:

«Из всего сказанного о природе эфира следует сделать неизбежные выводы. Если электрон есть микроб, то есть биологический феномен, то эфир (то, что я назвал выше «генеральным телом») есть кладбище электронов. Эфир есть механическая масса умерщвленных или умерших электронов. Эфир — это крошево трупов микробов-электронов. С другой стороны, эфир не только кладбище электронов, но также матерь их жизни, так как мертвые электроны служат единственной пищей электронам живым. Электроны едят трупы своих предков.

Несовпадение длительности жизни электрона и человека делает необычайно трудным наблюдение за жизнью этих, пользуясь Вашей терминологией, альфа-существ. Именно время жизни электрона должно исчисляться цифрой пятьдесят — сто тысяч земных лет, то есть значительно продолжительней жизни человека. Между тем число физиологических процессов в теле электрона, как у более примитивного существа, значительно меньше, чем

у человека — высокоорганизованного тела. Следовательно, каждый физиологический процесс в организме электрона протекает с такой ужасающей медленностью, что устраняет возможность непосредственного наблюдения этого процесса даже в самый чувствительный прибор. Это обстоятельство делает природу в глазах человека мертвой. Это страшное разнообразие времен жизни для различных категорий существ суть причина трагедии природы. Одно существо век чувствует как целую эру, другое — как миг. Это «множество времен» — самая толстая и несокрушимая стена меж живыми, которую с трудом начинает разрушать тяжелая артиллерия человеческой науки. Наука объективно играет роль морального фактора: трагедию жизни она превращает в лирику, потому что сближает в братстве принципиального единства жизни такие существа, как человек и электрон.

Но все же можно ускорить жизнь электрона, если смягчить те явления, которые обусловили длительность его жизни. Необходимо предварительное разъяснение. Эфир, как установлено наукой, необычайно инертная, нереагирующая, лишенная основных свойств материи сфера. Такая неощутимость и экспериментальная непознаваемость эфира объясняется тем, что «подобное познается подобным», а нет большего неподобия, чем человек и залежи трупов электронов, то есть эфир. Может быть, именно поэтому эфир «лишен» свойств материи, ибо между человеком и живым микробом-электроном, с одной стороны, и эфиром — с другой, есть принципиальное различие: первые живы, второй мертв. Я хочу сказать, что «непознаваемость» эфира, скорее, психологическая, чем физическая задача.

Эфир, на правах «кладбища», не обладает никакой внутренней активностью. Поэтому те существа (микробы-электроны), которые им питаются, обречены на вечный голод. Питание их обеспечивается подгонкой свежих эфирных масс за счет посторонних случайных сил. В этом причина замедленности жизни электронов. Интенсивная жизнь для них невозможна: слишком замедлен приток питательных веществ. Это и вызвало замедление физиологических процессов в телах электронов.

Очевидно, ускорение подачи питания должно увеличить темп жизни электронов и вызвать их усиленное размножение. Существующая замедленность физиологических актов легко превратится при благоприятных усло-

виях питания в бешеный темп, ибо электрон — существо примитивно организованное и биологические реформы в нем чрезвычайно легки.

Следовательно, одно изменение условий питания должно вызвать такую интенсивность всех жизненных отправлений электрона (в том числе и размножения), что жизнь этих существ станет легко наблюдаемой. Конечно, такая интенсивность жизни будет идти за счет сокращения продолжительности жизни электрона.

Вся загадка в том, чтобы уменьшить разницу во времени жизни человека и электрона. Тогда электрон начнет продуцировать с такой силой, что его может эксплуатировать человек.

Но как вызвать свободный и усиленный приток питательного эфира к электронам? Как технически создать «эфирный тракт» — дорогу эфиру?..

Решение просто — электромагнитное русло...»

На этом рукопись Попова обрывалась. Он ее еще не закончил.

Кирпичников слова не все понял, но всю сокровенную идею Попова ухватил.

Фаддей Кириллович вернулся поздно. Тотчас же он лег спать. Кирпичников посидел еще немного, почитал книжку «Об устройстве шахтных колодцев» и ничего в ней не понял.

Есть мысли, которые сами собой ведут человека и командуют его головой, хочет он этого или нет — все едино. Спать еще не хотелось. Было душно и тревожно. Попов храпел и стонал во сне.

Кирпичников вышел во двор, ухватил бревно и зашвырнул его в лог, как палку. Потом заскрипел зубами, застонал, вонзил топор в порог и улыбнулся. На дворе стояло одно дерево — лоза, Кирпичников подошел, обнял дерево — и их закачало обоих ночным ветром.

4

Когда ели утром жареный картофель, Фаддей Кириллович вдруг бросил есть и встал, веселый, полный надежды и хищной радости.

— Эх, земля! Не будь мне домом — несись кораблем небес!

В смешном исступлении крикнул Попов эти неожиданные слова и сам оторопел.

— Кирпичников,— обратился Фаддей Кириллович,— скажи: ты вошь, ублюдок или мореплаватель? Ответь, обыватель, на корабле мы или в хате? Ага, на корабле,— тогда держи руль свинцовыми руками, а не плачь на завалинке! Замолчи, сверчо́к! Мне известен курс и местоположение... Жуй и — на вахту!..

Кирпичников молчал. Попов болел малярией, бормотал во сне несбыточное, днем лютая злость в нем мгновенно переходила в смех. Работа головы высасывала из него всю кровь, и его истощенное тело вышло из равновесия и легко колебалось настроениями. Кирпичников это знал и смутно беспокоился за него.

Одиночество, затерянность в несчетных полях и устремленность к одной цели еще более расшатали душевный порядок Попова, и с ним было тяжело работать.

Так прошел месяц или два. Фаддей Кириллович работал все меньше и меньше. Наконец 25 января он совсем не поднялся утром и только сказал:

— Кирпичников, вычисть хату и убирайся вон — я задумался!

Устроив домашние дела, Кирпичников вышел.

Степь пылала снегом — шла вьюга.

Кирпичников спустился в овраг и закрыл люк над шахтой, где Попов уже начал делать установку приборов. Вьюга свирепела, и на дворе от нее шевелился инвентарь. Деваться было некуда, и Кирпичников залез на тесный, захламленный чердак. Снег свиристел и метался по крыше; и вдруг Кирпичникову послышалась тихая, странная, грустная музыка, которую он слышал где-то очень давно. Отвлеченное плачущее чувство томилось и разрасталось от музыки до гибели человека. И будто эта растущая тоска и воспоминания были единственным утешением человека. Кирпичников прилег и занемог от этого нового робкого чувства, которого в нем никогда не было. Он забыл про стужу и, дрожа, нечаянно заснул. Музыка продолжалась и переходила в сновидения. Кирпичников почувствовал вдруг холодную, тяжелую, медленную волну, и в нем начало закатываться сознание, борясь и пробуждаясь, уставая от ужаса и собственной тесноты.

Проснулся Кирпичников сразу, будто кто ему крикнул на ухо или земля на что наткнулась и вдруг застопорила. Кирпичников вскочил, стукнулся о крышу и спустился на двор. Буран тряс землю, и когда он разрывал атмосферу и показывал горизонт, были видны

голые, почерневшие поля. Снег сдувало в овраги и в глухие долины. Тут Кирпичников заметил, что дверь в хату открыта и туда мело снегом. Когда он вошел в комнату, то заметил бугор снега, и прямо на нем, а не на кровати, лежал мертвый Фаддей Кириллович Попов — бородой кверху, в знакомой жилетке, прильнувшей к старому телу, с печальным пространством на белом лбу. Снег его заметал все глубже, и ноги уже укрыло совсем.

Кирпичников в полном спокойствии схватил его под мышки и потащил на кровать. У Фаддея Кирилловича отвалилась нижняя губа, и он сам повернулся на бок на кровати и поник головой, ища места ближе к центру Земли. Кирпичников затворил дверь и разгреб снег на полу. Он нашел пузырек с недопитым розовым ядом. Кирпичников вылил остаток яда на снег — и снег зашипел, исчез газом, и яд начал проедать пол.

На столе, утвержденная чернильницей, лежала неоконченная рукопись: «Решение просто — электромагнитное русло...»

5

— Вы коммунист, товарищ Кирпичников? — спросил председатель окружного исполкома.

— Кандидат.

— Все равно. Расскажите, как это случилось? Вы понимаете, что это очень скверная история — не потому, что придется отвечать, а потому, что погиб очень ценный и редкий человек. Записки никакой не нашли?

— Нет.

— Ну, рассказывайте.

Кирпичников рассказал. В кабинете сидели кроме председателя еще секретарь комитета партии и уполномоченный ГПУ.

Кирпичникова слушали внимательно. Он рассказал все, даже содержание неоконченной рукописи, вьюгу, распахнутую дверь и странный, косой наклон головы Попова, какого не бывает у живого. И вместе с тем Попов не очень отличался от живого, как будто смерть обыкновенна, как еда.

Кирпичников кончил.

— Замечательная история! — сказал секретарь парткома.— Попов несомненный упадочник. Совершенно разложившийся субъект. В нем действовал, конечно, гений,

по эпоха, родившая Попова, обрекла его на раннюю гибель, и гений его не нашел в себе практического приложения. Растрепанные нервы, декадентская душа, метафизическая философия — все жило в противоречии с научным гением Попова — и вот какой конец...

— Да,— сказал председатель исполкома.— Прямо агитация фактами. Наука могущественна, а носители ее — выродки и ублюдки. Действительно, срочно необходимы свежие люди с твердой внутренней установкой.

— А ты только сейчас в этом убедился? — спросил уполномоченный ГПУ.— Чудород ты, брат! Наше дело, по-моему, теперь оформить следствие и затем, если ничто не будет противоречить словам Кирпичникова, назначить его хранителем научной базы Попова. Ну, надо немножко Кирпичникову платить за это. Ты,— обратился он к председателю,— из местного бюджета это устроишь. Затем надо сообщить в тот научный институт, который командировал сюда Попова, чтобы выслали другого ученого для продолжения дела... А сохранить все надо в целости! Я пришлю сотрудника составить опись. Медь там есть, ценные приборы, рукописи Попова, кой-какой инвентарь и имущество...

— Верно,— сказал председатель.— Давайте на этом кончим. Я проведу все дело через президиум, и тогда зафиксируем наше постановление.

Через неделю закончили следствие, труп Попова отправили в Москву, а Кирпичникова назначили сторожем в научную усадьбу Попова с окладом жалованья пятнадцать рублей в месяц.

Кирпичникову вручили копию описи, и он остался один.

Начиналась ранняя заунывная весна — время инерции зимы и мужественного напора солнца.

Заместитель Попова никак не ехал. Кирпичников усердно читал и перечитывал книги и рукописи Попова, рассматривал приборы, построенные здесь же самим Поповым,— и перед ним открывался могучий мир знания, власти и жажды неутомимой, жестокой жизни. Кирпичников начал ощущать вкус жизни и увидел ее дикую пучину, где скрыто удовлетворение всех желаний и находятся конечные пункты всех целей.

«Эх, хорошо! — думал Кирпичников.— Зря умер Попов, сам это писал и сам же не понимал. А стоит только понять — и всякому захочется жить...»

Наступило лето. Шло одно и то же. Новый учёный на место Попова не приезжал. Кирпичников начал переписывать рукопись Фаддея Кирилловича начисто, не зная сам, для чего,— но так лучше ему понималось.

Наконец в июле приехали двое московских ученых и забрали все наследство Попова — и рукописи, и аппараты.

Кирпичников вернулся работать в черепичную мастерскую, и все кругом для него затихло. Но открывшееся ему чудо человеческой головы сбило его с такта жизни. Он увидел, что существует вещь, посредством которой можно преобразовать и звездный путь, и собственное беспокойное сердце и дать всем хлеб в рот, счастье в грудь и мудрость в мозг. И вся жизнь предстала ему как каменное сопротивление его лучшему желанию, но он знал, что это сопротивление может стать полем его победы, если воспитать в себе жажду знания, как кровную страсть.

Кирпичников пошел к председателю исполкома и заявил, что хочет учиться — пусть его отправят на рабфак.

— По следам Попова, сударь, желаете идти? Что же, путь приличный, валяйте! — И дал ему тут же записку, куда следовало ее дать.

Через неделю Кирпичников шел в областной город — полтораста верст — на рабфак.

Стоял август. Поля шумели земледельцами, пылили стада по большаку, изумительное молодое солнце улыбалось разродившейся измученной земле.

Рыба играла на речных плесах, деревья чуть-чуть трогались желтой сединой, земля лежала голубым пространством в ту сторону и в тот век, куда шел Кирпичников, где его ждало время, роскошное, как песнь.

6

Прошло восемь лет — срок, достаточный для полного преображения мира, срок, в который человек перерождается начисто, вплоть до спинного мозга.

Михаил Еремеевич Кирпичников — инженер-электрик, научный сотрудник при кафедре биологии электронов, учрежденной после смерти Попова на основе его трудов.

Кирпичников женат и имеет детей — двух мальчиков. Его жена — бывшая сельская учительница, такая же сто-

ронница немедленного физического преобразования мира, как и ее муж. Счастливая убежденность в победе любимой науки на всемирном плацдарме и помогла им пережить убийственные годы ученья, нужды, издевательства обывателей и дала смелость родить двух детей. Они верили, что наступает время, когда хлеба будет столько же, сколько воздуха. Кирпичников мозгом ощущал приближение этой раскованной эпохи, когда у человека освободятся руки от труда и душа от угнетения и он сможет перелепить мир.

Голодная и счастливая пребывала эта семья. Шел век социализма и индустриализации, шло страшное напряжение всех материальных сил общества, а благоденствие откладывалось на завтра.

Освоившись с научной работой, Кирпичников не занял кафедры, а пошел, для тренировки, на практическую работу. Кроме высшего образования, Кирпичников имел стаж живой общественной работы и был твердым и искренним коммунистом. Как умный и честный человек, как выходец из черепичной мастерской, он знал, что вне социализма невозможна научная работа и техническая революция. В его время это подразумевалось само собой, как подразумевается, но не сознается биение сердца в живом человеке.

Десять лет прошло со дня смерти Попова. Это сказать легко, но еще легче было десять раз погибнуть в эти десять лет. Попробуйте описать эти десять лет во всем их крохоборстве борьбы, строительства, отчаяния и редкого покоя. Невозможно — состаришься, умрешь, а не исчерпаешь темы!

В ответ на просьбу практической строительной работы Кирпичникова отправили в Нижнеколымскую тундру производителем работ по постройке вертикального тоннеля. Целью сооружения была добыча внутренней тепловой энергии Земли.

Семью Кирпичников оставил в Москве, а сам отправился. Термический вертикальный тоннель был опытной работой Советского правительства в Якутии. В случае успеха работ предполагалось весь край Азиатского материка за Полярным кругом покрыть целой сетью таких тоннелей, затем объединить их энергию посредством единой электропередачи и на конце электрического провода продвигать культуру, промышленность и население к Ледовитому океану.

Но главная причина тоннельных работ была в том, что в равнинах тундры были изысканы остатки неведомых великолепных стран и культур. Почва и подпочва тундры были не материкового, древнегеологического происхождения, а представляли собой наносы. Причем эти наносы покрыли погребальным покровом целую серию древнейших человеческих культур. А благодаря тому, что этот смертный покров над трупами таинственных цивилизаций представлял пленку вечной мерзлоты, погребенные люди и сооружения хранились, как консервы в банке,— целыми, свежими и невредимыми.

Уже то немногое, что случайно найдено учеными в провалах рельефа тундры, представляло неслыханный интерес и научную ценность. Найдены были трупы четырех мужчин и двух женщин.

Люди эти когда-то имели смуглую кожу, розовые губы, низкий, но широкий лоб, небольшой рост, широкую грудную клетку и спокойное, мирное, почти улыбающееся лицо. Очевидно, или смерть застала их внезапно, или, что вероятнее, смерть была у них совсем другим чувством и другим событием, чем у нас.

У женщин сохранились розовые щеки и тонкий аромат легкой, гигиеничной одежды. У одного мужчины в кармане найдена книга — маленькая, испещренная изящным шрифтом; ее предполагаемое содержание: изложение принципов личного бессмертия в свете точных наук. В книге описывались опыты по устранению смерти какого-то небольшого животного, срок жизни которого — четверо суток; сфера жизни этого животного (пища, атмосфера, тело и проч.) подвергались беспрестанному воздействию целого комплекса электромагнитных волн, причем каждый вид волны был рассчитан на убийство отдельного рода губительных микробов в теле животного; так, держа подопытное животное в поле электромагнитной стерилизации, удалось увеличить срок его жизни в сто раз.

Затем была найдена пирамидальная колонна из дикого камня. Совершенная форма ее напоминала работу токарного станка, но колонна была сорока метров высоты и десяти метров в основании.

Эти открытия разожгли научные страсти всего мира, и общественное мнение форсировало работы по освоению тундры с целью полной реставрации древнего мира, залегающего под почвой мерзлого пространства и, быть может, уходящего на дно Ледовитого океана.

Страсть к знанию стала новым органическим чувством человека, таким же нетерпеливым, острым и богатым, как зрение или любовь. Этим чувством иногда подминались даже непреложные экономические законы и стремление к материальному благополучию общества.

Такова была истинная причина сооружения первого вертикального термического тоннеля в тундре.

Система таких тоннелей должна была стать фундаментом культуры и экономики тундры, затем — ключом в подземные ворота, в мир неизвестной гармонической страны, нахождение которой ценнее изобретения паровой машины и открытия целого радиевого Монблана.

Ученые думали, что тот отрезок науки, культуры и промышленности, который нам предстоит пройти в течение ближайших ста — двухсот лет, содержится готовым в недрах тундры. Достаточно снять мерзлую почву — и история сделает скачок на век или на два века вперед, а затем снова пойдет своим темпом. Зато какая экономия труда и времени произойдет от такой получки задаром двух будущих веков! С этим не сравнится никакое историческое благодеяние человечества в прошлом!

Ради этого стоило сделать в Земле дырку глубиной в два километра.

Кирпичников поехал, сжимая от радости кулаки, чувствуя цель, которую он должен выполнить как всемирную победу и обручение древнейшей эры с сегодняшним днем.

Тоннель был построен. Вот документ инженера Кирпичникова:

«Центральному Совету Труда. Управлению работ по сооружению Вертикального термического тоннеля в Нижнеколымской тундре, на 67-й параллели.

Общий и заключительный доклад за 1934 год.

Термический вертикальный тоннель (№ 1) окончен 2 декабря этого года. Тоннель, как было задано, предназначается для утилизации теплоты нашей планеты, находящейся в ее недрах; эта теплота, превращенная в электрический ток, должна обслуживать район под именем Тао-Лунь, площадью 1100 квадратных километров, предназначенный для заселения.

Тоннель имеет форму усеченного конуса, обращенного усечением внутрь тела Земли. Ось его наклонена к плоскости экваториального сечения под углом в 62°. Длина оси тоннеля — 2080 метров. Диаметр широкого основания

на дневной поверхности Земли равен 42 метрам, усеченной вершины внутри Земли — 5 метрам. Достигнутая температура на дне тоннеля — 184 градуса (в том месте, где установлены термоэлектрические батареи).

Согласно проекту, утвержденному Советом Труда, работы начались 1 января 1934 года, окончены 2 декабря того же года.

Формовка тоннеля достигнута не взрывным методом, как указано было в проекте, а электромагнитными волнами, отрегулированными соответственно микрофизической электронной структуре недр.

Электромагнитные волны вибратора были настроены на такую длину и частоту, которые точно совпадали с естественными колебаниями электронов в атомах периферии Земли; поэтому от действия внешней дополнительной силы увеличивался их размах и получался разрыв атомных орбит, вследствие чего наступала реконструкция ядра атома: его превращение в другие элементы — разрушение.

Мы поставили на поверхности мощные и в больших пределах регулируемые резонаторы; нашли экспериментально среднюю волну каждой встречной породы недр, подлежащей разрушению (точнее, распылению, размягчению),— и так разжевали ствол тоннеля во всех поперечных сечениях.

Затем металлическими пятитонными ковшами скреперного типа на стальных тросах мы выели получившуюся тоннельную кашу. Впрочем, ее осталось немного после электромагнитной операции: большинство составных частей почвы и недр превратилось в газы и улетучилось. Одинаково были мягкою пылью и газом глина, вода, гранит, железная руда.

После этого было приступлено (в августе месяце) к проектной формовке тоннеля. Благодаря высокой температуре люди опускались только до 1000-го метра; глубже работа производилась на тросах: с их помощью устанавливались насосы, рылись кюветы, водосборные бассейны в террасах и управлялись землечерпательные ковши на формовке склонов. Дно и ствол тоннеля покрыты термоизолитом сплошь, начальной толщиной слоя (у поверхности Земли) в 2 сантиметра и конечной в 1,25 метра.

После сооружения тоннеля собранные наверху термоэлектрические батареи вместе с проводами были опущены на тросах на дно тоннеля и установлены — батарея над батареей — в двенадцать этажей.

Концы проводов закреплены на выходящих кронштейнах у поверхности Земли, и ток в них ждет своего потребителя.

Энергия пока пущена в почву тундры — тундра тает; тает в первый раз после того, как был ею накрыт и сохранен для нас тот странный, чудесный мир, ради которого, по распоряжению Центрального Совета Труда, была добыта внутренняя теплота земного шара.

Глав. инж. Верх. термтоннеля

Вл. Крохов

Производитель работ инженер

М. Кирпичников

№ 2/А, 4 ноября, 1934».

7

Вернулся к семье Кирпичников только в апреле, пробыв в отсутствии восемнадцать месяцев. Он чувствовал себя переутомленным и собирался поехать с женой и мальчишками куда-нибудь в деревню.

Есть люди, бессознательно живущие в такт с природой: если природа делает усилие, то такие люди стараются помочь ей внутренним напряжением и сочувствием. Может быть, это остаток того чувства единства, когда природа и человек были сплошным телом и жили заодно.

Так бывало у Кирпичникова. Если разгоралось время весны, таял снег и ручьям подпевали южные птицы с неба, Кирпичников был доволен. Когда же неожиданно возвращался снег, заморозки и мрачное, молчаливое зимнее небо, Кирпичников печалился и напрягался.

28 апреля Кирпичниковы поехали в Волошино — дальнюю деревню Воронежской губернии, где когда-то учительствовала Мария Кирпичникова, жена Михаила.

У Марии там были девичьи воспоминания, одинокие годы, милые дни прозревающей души, впервые боровшейся за идею своей жизни. В оправе скудных волошинских полей лежала душевная родина Марии Кирпичниковой.

Михаила влекла в Волошино любовь к жене и ее тихому прошлому, а еще то, что около Волошина, в соседнем селе Кочубарове, жил Исаак Матиссен, инженер-агроном, знакомый Кирпичникова. Когда-то, в годы ученья в институте, Кирпичников встречался с ним, и они говорили на близкие им технические темы. Матиссен ушел со вто-

рого курса электротехнического института и поступил в сельскохозяйственную академию. В Матиссене Кирпичникова интересовала его теория техники без машин — техники, где универсальным инструментом был сам человек. Матиссен, человек чести, единой идеи и несокрушимого характера, поставил целью жизни осуществление своего замысла.

Теперь он был заведующим Кочубаровской опытно-мелиоративной станцией. Кирпичников не видел его шесть лет, чего он добился — неизвестно, но что он старался добиться всего, в этом Михаил был уверен.

Уезжая в Волошино, Кирпичников заранее радовался встрече с Матиссеном.

От того Михаила Кирпичникова, который жил когда-то в Гробовске, работал в черепичной мастерской, искал истину и мечтал, осталось немного. Мечты превратились в теории, теории превратились в волю и постепенно осуществлялись. Истина стала не сердечным покоем, а практическим завоеванием мира.

Но одно тревожило Кирпичникова и толкало его на беспокойные изыскания всюду — среди книг, среди людей и чужих научных работ. Это жажда закончить труд погибшего Попова об искусственном размножении электронов-микробов и технически исполнить «эфирный тракт» Попова, чтобы по нему прилить эфирную пищу к пасти микроба и вызвать в нем бешеный темп жизни.

«Решение просто — электромагнитное русло...» — бормотал время от времени Кирпичников последние слова неоконченной работы Попова и тщетно искал того явления или чужой мысли, которые навели бы его на разгадку «эфирного тракта». Кирпичников знал, что может дать людям «эфирный тракт»: можно вырастить любое тело природы до любых размеров за счет эфира. Например, взять кусочек железа в один кубический сантиметр, подвести к нему «эфирный тракт» — и этот кусочек железа на глазах начнет расти и вырастет в гору Арарат, потому что в железе начнут размножаться электроны.

Несмотря на усердие и привязанность к этой проклятой мысли, решение «эфирного тракта» не давалось Кирпичникову уже много лет. Работая в тундре, он всю долгую, беспокойную, тревожащую полярную ночь думал об одном и том же. Его путала еще одна загадка, не решенная в трудах Попова: что такое положительно заряженное ядро атома, в котором присутствует материя?

Если чистые отрицательные электроны и есть микробы и живые тела, то что такое материальное ядрышко атома, к тому же положительно заряженное?

Этого не знал никто. Правда, были смутные указания и сотни гипотез в научных работах, но ни одно из них не удовлетворяло Кирпичникова. Он искал практического решения, объективной истины, а не субъективного удовлетворения первой попавшейся догадкой, может быть и блестящей, но не отвечающей строению природы.

В Волошино Кирпичников поехал на своем автомобиле, который уже давно стал орудием каждого человека. Хотя от Москвы до Волошина лежала линия в девятьсот километров, Кирпичников решил ехать на автомобиле, а не в купе вагона. Его с женой влек к себе малоизвестный путь, ночевки в поселках, скромная природа равнинной северной страны, мягкий ветер в лицо — вся прелесть живого мира и постепенное утопание в безвестности и задумчивом одиночестве...

Машина «Алгонда-09» работала бесшумно: бензиновый мотор погиб пять лет назад, сокрушенный кристаллическим аккумулятором ленинградского академика Иоффе. Автомобиль шел на электрической аккумуляторной тяге и только тихо шипел покрышками по асбестоцементному шоссе. Запас энергии «Алгонда» имела на девять тысяч километров пути, при весе аккумуляторов в десять килограммов.

И вот развернулась перед путешественниками чудесная натура вселенной, глубину которой десятки веков старались постигнуть мудрецы всех стран и культур, идя дорогой мысленного созерцания. Будда, составители Вед, десятки египтян и арабов, Сократ, Платон, Аристотель, Спиноза, Кант, наконец Бергсон и Шпенглер — все силились, но догадаться об истине нельзя, до нее можно доработаться: вот когда весь мир протечет сквозь пальцы работающего человека, преображаясь в полезное тело, тогда можно будет говорить о полном завоевании истины. В этом была философия революции, случившейся восемнадцать лет назад и не совсем оконченной и сейчас.

Понять — это значит прочувствовать, прощупать и преобразить,— в эту философию революции Кирпичников верил всей кровью, она ему питала душу и делала волю боеспособным инструментом.

Кирпичников вел «Алгонду», улыбался и наблюдал. Мир был уже не таким, каким его видел Кирпичников

в детстве — в глухом Гробовске. Поля гудели машинами; за первые двести километров пути он встретил шесть раз линию электропередачи высокого напряжения от мощных централей. Деревня резко изменила свое лицо — вместо соломы, плетней, навоза, кривых и тонких бревен в строительство вошли черепица, железо, кирпич, толь, террезит, цемент, наконец дерево, но пропитанное особым составом, делающим его несгораемым. Народ заметно потолстел и подобрел характером. История стала практическим применением диалектического материализма. Искусственное орошение получило распространение до московской параллели. Дождевальные машины встречались так же часто, как пахотные орудия. На север от Москвы дождеватели исчезли, и появлялись дренажные осушительные механизмы.

Жена Кирпичникова показывала детям эту живую экономическую географию социалистической страны, и сам Кирпичников с удовольствием ее слушал. Трудная личная жизнь как-то погасила в нем эту простую радость видеть, удивляться и чувствовать наслаждение от удовлетворенной любознательности.

Только на пятый день они приехали в Волошино.

В доме, где остановились Кирпичниковы, был вишневый сад, который уже набух почками, но еще не оделся в свой белый, неописуемо трогательный наряд. Стояло тепло. Дни сияли так мирно и счастливо, как будто они были утром тысячелетнего блаженства человечества.

Через день Кирпичников поехал к Матиссену.

Исаак совсем не удивился его приезду.

— Я каждый день наблюдаю гораздо более новые и оригинальные явления,— пояснил Матиссен Кирпичникову, увидев его недоумение равнодушным приемом.

Через час Матиссен немного отмяк.

— Женатый, черт! Привык к сентиментальности! А я, брат, почитаю работу более прочным наследством, чем детей!..— И Матиссен засмеялся, но так ужасно, что у него пошли морщины по лысому черепу. Видно, что смех у него столько же част, как затмение солнца.

— Ну, рассказывай и показывай, чем живешь, что делаешь, кого любишь! — улыбнулся Кирпичников.

— Ага, любопытствуешь! Одобряю и приветствую!.. Но слушай, я тебе покажу только главную свою работу, потому что считаю ее законченной. Про другие говорить не буду — и не спрашивай!..

— Послушай, Исаак,— сказал Кирпичников,— меня бы интересовала твоя работа над темой техники без машин, помнишь? Или ты уже забыл эту проблему и разочаровался в ней?

Матиссен пожмурился, хотел сострить и удивить приятеля, но, позабыв все эти вещи, тщетно вздохнул, сморщил лицо, привыкшее к неподвижности, и просто ответил:

— Как раз это я тебе и покажу, коллега Кирпичников!

Они прошли плантации, сошли в узкую долину небольшой речки и остановились. Матиссен выпрямился, приподнял лицо к горизонту, как будто обозревал миллионную аудиторию на склоне холма, и заявил Кирпичникову:

— Я скажу тебе кратко, но ты поймешь: ты электрик, и это касается твоей области! Только не перебивай: мы оба спешим — ты к жене,— Матиссен повторил свой смех — лысина заволновалась морщинами, и челюсти разошлись, в остальном лицо не двигалось,— а я к почве.

Кирпичников помолчал и продолжил свой вопрос:

— Матиссен, а где же приборы? Ведь мне хотелось бы не лекцию прослушать, а увидеть твои эксперименты.

— И то и другое, Кирпичников, и то и другое! А все приборы налицо. Если ты их не видишь,— значит, ты ничего и не услышишь и не поймешь!

— Я слушаю, Матиссен! — кратко поторопил его Кирпичников.

— Ага, ты слушаешь! Тогда я говорю.

Матиссен поднял камешек, изо всех сил запустил его на другую сторону речки и начал:

— Видно даже глазам, что всякое тело излучает из себя электромагнитную энергию, если это тело подвергается какой-нибудь судороге или изменению. Верно ведь? И каждому изменению — точно, неповторимо, индивидуально — соответствует излучение целого комплекса электромагнитных волн такой-то длины и таких-то периодов. Словом, излучение, радиация, если хочешь, зависит от степени изменения, перестройки подопытного тела. Далее. Мысль, будучи процессом, перестраивающим мозг, заставляет его излучать в пространство электромагнитные волны.

Но мысль зависит от того, что человек конкретно подумал, от этого же зависит, как и насколько изменится строение мозга. А от изменения строения или состояния мозга уже зависят волны: какие они будут. Мыслящий,

разрушающий мозг творит электромагнитные волны и творит их в каждом случае по-разному: смотря какая мысль перестраивала мозг.

Тебе все ясно, Кирпичников?

— Да,— подтвердил Кирпичников.— Дальше!

Матиссен сел на кочку, потер усталые глаза и продолжал:

— Опытным путем я нашел, что каждому роду волн соответствует одна строго определенная мысль. Я, понятно, несколько обобщаю и схематизирую, чтобы ты лучше понял. На самом деле все гораздо сложнее. Так вот. Я построил универсальный приемник-резонатор, который улавливает и фиксирует волны всякой длины и всякого периода. Скажу тебе, что даже одной, самой незначительной и короткой, мыслью вызывается целая сложнейшая система волн.

Но все же мысли, скажем, «окаянная сила» (помнишь этот дореволюционный термин?) соответствует уже известная, экспериментально установленная система волн. От другого человека она будет лишь с маленькой разницей.

И вот свой приемник-резонатор я соединил с системой реле, исполнительных аппаратов и механизмов, сложных по технике, но простых и единых по замыслу. Эту систему надо еще более усложнить и продумать. А затем распространить по всей Земле для всеобщего употребления. Пока же я действую на незначительном участке и для определенного цикла мыслей.

Теперь гляди! Видишь, на том берегу у меня посажена капустная рассада. Видишь, она уже засохла от бездождья. Теперь следи: я четко думаю и даже выговариваю, хотя последнее не обязательно: о-р-о-с-и-т-ь! Гляди на другой берег, голова!..

Кирпичников всмотрелся на противоположный берег речонки и только сейчас заметил полузакрытую кустом небольшую установку насосного орошения и какой-то компактный прибор. «Вероятно, приемник-резонатор»,— догадался Кирпичников.

После слова Матиссена «оросить!» насосная установка заработала, насос стал сосать из речки воду, и по всему капустному участку из форсунок-дождевателей забили маленькие фонтанчики, разбрызгивающие мельчайшие капельки. В фонтанчиках заиграла радуга солнца, и весь участок зашумел и ожил: жужжал насос, шипела влага, насыщалась почва, свежели молодые растеньица.

Матиссен и Кирпичников молча стояли в двадцати метрах от этого странного самостоятельного мира и наблюдали.

Матиссен ехидно посмотрел на Кирпичникова и сказал:

— Видишь, чем стала мысль человека? Ударом разумной воли! Не правда ли?

И Матиссен уныло улыбнулся своим омертвевшим лицом.

Кирпичников почувствовал горячую, жгущую струю в сердце и в мозгу — такую же, какая ударила его в тот момент, когда он встретил свою будущую жену. И еще Кирпичников сознал в себе какой-то тайный стыд и тихую робость — чувства, которые присущи каждому убийце даже тогда, когда убийство совершено в интересах целого мира. На глазах Кирпичникова Матиссен явно насиловал природу. И преступление было в том, что ни сам Матиссен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветней всех человеков.

Матиссен разъяснил:

— Вся штука чрезвычайно проста! Человек, то есть я в данном случае, находится в сфере исполнительных механизмов, и его мысль (например, «оросить!») есть в плане исполнительных машин: они так построены. Мысль «оросить!» воспринимается резонатором. Этой мысли соответствует строгая неповторимая система волн. Именно только волнами такой-то длины и таких-то периодов, какие эквивалентны мысли «оросить!», замыкаются те реле, которые управляют в исполнительных механизмах орошением.

Такая высшая техника имеет целью освободить человека от мускульной работы. Достаточно будет подумать, чтобы звезда переменила путь... Одним словом, я хочу добиться возможности обходиться без исполнительных механизмов и без всяких посредников, а действовать на природу прямо и непосредственно — голой пертурбацией мозга. Я уверен в успехе техники без машин. Я знаю, что достаточно одного контакта между человеком и природой — мысли, чтобы управлять всем веществом мира! Понял?.. Я поясню. Видишь, в каждом теле есть такое место, такое сердечко, что если дать по нему щелчком — все тело твое: делай с ним что хочешь. А если язвить тело

как нужно и где нужно, то оно будет само делать то, что его заставишь. Вот я считаю, что той электромагнитной силы, которая испускается мозгом человека при всяком помышлении, вполне достаточно, чтобы так уязвлять природу, что эта Маша станет нашей!..

Кирпичников на прощанье сжал руку Матиссену, а потом обнял его и сказал с горячим чувством и полной искренностью:

— Спасибо, Исаак! Спасибо, друг! Знаешь, только одна еще есть проблема, которая равна твоей! Но она еще не решена, а твоя почти готова... Прощай! Еще раз спасибо тебе! Надо всем работать, как ты,— с резким разумом и охлажденным сердцем! До свиданья!

— Прощай! — ответил Матиссен и полез вброд, не разуваясь, на ту сторону своей маловодной речонки.

8

Пока Кирпичников отдыхал в Волошине, мир потрясала сенсация. В Большеозерской тундре экспедицией профессора Гомонова откопаны два трупа: мужчина и женщина лежали, обнявшись, на сохранившемся ковре. Ковер был голубого цвета, без рисунка, покрытый тонким мехом неизвестного животного. Люди лежали одетыми в плотные сплошные ткани темного цвета, покрытые изображениями изящных высоких растений, кончавшихся вверху цветком в два лепестка. Мужчина был стар, женщина молода. Вероятно, отец и дочь. Лица и тела были того же строения, что и у людей, обнаруженных в Нижнеколымской тундре. То же выражение спокойных лиц: полуулыбка, полусожаление, полуразмышление, будто воин завоевал мраморный неприступный город, но среди статуй, зданий и неизвестных сооружений упал и умер, усталый и удивленный.

Мужчина крепко сжимал женщину, как бы защищая ее покой и целомудрие для смерти. Под ковром, на котором лежали эти мертвые обитатели древней тундры, были обнаружены две книги — одна из них напечатана тем же шрифтом, что и книжка, найденная в Нижнеколымской тундре, другая имела иные знаки. Эти знаки были не буквами, а некоторой символикой, однако с очень точным соответствием каждому символу отдельного понятия. Символов было чрезвычайное множество, поэтому ушло целых пять месяцев на их расшифровку. После этого кни-

гу перевели и издали под наблюдением Академии филологических наук. Часть текста найденной книги осталась неразгаданной: какой-то химический состав, вероятно находившийся в ковре, безвозвратно погубил драгоценные страницы — они стали черными, и никакая реакция не выявляла на них символических значков.

Содержание найденного произведения было отвлеченно-философское, отчасти историко-социологическое. Все же сочинение представляло такой глубокий интерес как по теме, так и по блестящему стилю, что книжка в течение двух месяцев вышла в одиннадцати изданиях подряд.

...Кирпичников выписал книгу. Везде и всюду он искал одного — помощи для разгадки «эфирного тракта».

Когда он посетил Матиссена, на обратном пути что-то зацепилось в его голове, он обрадовался, но потом снова все распалось и Кирпичников увидел, что работы Матиссена имеют лишь отдаленное родство с его мучительной проблемой.

Получив книгу, Кирпичников углубился в нее, томимый одною мыслью — найти между строк какой-либо намек на решение своей мечты. Несмотря на дикость, на безумие искать поддержки в открытии «эфирного тракта» у большеозерской культуры, Кирпичников с затаенным дыханием прочел труд древнего философа.

Сочинение не сохранило имени автора, называлось оно «Песни Аюны». Прочитав его, Кирпичников ничему не удивился — чего-либо замечательного в сочинении не содержалось.

— Как скучно! — сказал Кирпичников.— И в тундре ничего путного не думали! Все любовь, да творчество, да душа, а где же хлеб и железо?..

9

Кирпичников сильно затосковал, потому что он был человеком, а человек обязательно иногда тоскует. Ему случилось уже тридцать пять лет. Построенные им приборы для создания «эфирного тракта» молчали и подчеркивали заблуждение Кирпичникова. Фразу Попова «Решение просто — электромагнитное русло...» Кирпичников всячески толковал посредством экспериментов, но выходили одни фокусы, а эфирного пищепровода к электронам не получалось.

— Так-с! — в злобном исступлении сказал себе Кир-

пичников.— Следовательно, надо заняться другим! — Тут Кирпичников прислушался к дыханию жены и детей (была ночь и сон), закурил, прислушался к шуму за окном и сразу зачеркнул все.— Тогда тебе надо пуститься пешему по земле, ты гниешь на корню, инженер Кирпичников! Семья? Что ж, жена красива, новый муж к ней сам прибежит, дети здоровы, страна богата — прокормит и вырастит! Это единственный выход, другой — смерть на снежном бугре у распахнутой двери: выход Фаддея Кирилловича!.. Да-с, Кирпичников, таковы дела!..

Кирпичников вздохнул с чрезвычайной сентиментальностью, а на самом деле искренне и мучительно.

— Ну что я сделал? — продолжал он шепотом ночную беседу с самим собой.— Ничего. Тоннель? Чепуха! Сделали бы и без меня. Крохов был талантливее меня. Вот Матиссен — действительно работник! Машины пускает мыслью! А я... а я обнял жизнь, жму ее, ласкаю, а никак не оплодотворю...

Кирпичников спохватился:

— Философствуется, сударь? В отчаяние впали? Стоп! Это, брат, нервы у тебя распалились: простая физиологическая механика... Так зачем же ты страдаешь?

Зазвонил неожиданно и не вовремя телефон.

— У телефона Крохов. Здорово, Кирпичников!

— Здравствуй, что скажешь?

— Я, брат, получил назначение. Еду на Фейссуловскую атлантическую верфь: первое компрессорно-волновое судно строить. Знаешь эту новую конструкцию: судно идет за счет силы волн самого океана! Проект инженера Флювельберга.

— Ну, слыхал, а я-то при чем тут?

— Что ты бурчишь? У тебя изжога, наверно! Чудак, я еду главным инженером верфи, а тебя вот зову своим заместителем. Я ведь корабельщик по образованию — справимся как-нибудь, и сам Флювельберг будет у нас! Ну как, едем?

— Нет, не поеду,— ответил Кирпичников.

— Почему? — спросил пораженный Крохов.— Ты где работаешь-то?

— Нигде.

— Ну, смотри, парень!.. Пройдет изжога, пожалеешь! Я подожду неделю.

— Не жди, не поеду!

— Ну, как хочешь!

— Прощай.

— Спокойной ночи.

Кирпичников прошел в спальню. Постоял молча в дверях, потом надел старое пальто, шляпу, взял мешок и ушел из дому навсегда. Он ни о чем не сожалел и питался своей глухою тревогой. Он знал одно: устройство «эфирного тракта» поможет ему опытным путем открыть эфир как генеральное тело мира, все из себя производящее и все в себя воспринимающее. Он тогда технически, то есть единственно истинно, разъяснит и завоюет всю сферу вселенной и даст себе и людям горячий, ведущий смысл жизни. Это старинное дело, но мучительны старые раны. Только людские ублюдки кричат: «Нет и не может быть смысла жизни: питайся, трудись и молчи!» Ну, а если мозг уже вырос и так же страстно ищет своего пропитания, как ищет своего пропитания тело? Тогда как? Тогда — труба, выкручивайся сам. В этом мало люди помогают.

Вот именно! Найдите вы человека, который живет не евши! Кирпичников же вошел в ту эпоху, когда мозг неотложно требовал своего питания; и это стало такой же горячей воющей жаждой, как голод желудка, как страсть пола!

Может быть, человек незаметно для себя рождал из своих недр новое, великолепное существо, командующим чувством которого было интеллектуальное сознание, и ничто иное! Наверное, так. И первым мучеником и представителем этих существ был Кирпичников.

...Он пошел пешком на вокзал, сел в поезд и поехал на свою забытую родину — Гробовск. Там он не был двенадцать лет. Ясной цели у Кирпичникова не было. Он влекся тоскою своего мозга и поисками того рефлекса, который наведет его мысль на открытие «эфирного тракта». Он питался бессмысленной надеждой обнаружить неизвестный рефлекс в пустынном провинциальном мире.

Очутившись в вагоне, Кирпичников сразу почувствовал себя не инженером, а молодым мужичком с глухого хутора и повел беседу с соседями на живом деревенском языке.

10

Русское овражистое поле в шесть часов октябрьского утра — это апокалиптическое явление для тех, кто читал древнюю книгу — апокалипсис. Идет смутное столпотво-

рение гор сырого воздуха, шуршит робкая влага в балках, в десяти саженях движутся стены туманов, и ум пешехода волнует скучная злость. В такую погоду, в такой стране, если ляжешь спать в деревне, может присниться жуткий сон.

По дороге, выспавшись в ближней деревне, шел человек. Кто знает, кем он был. Бывают такие раскольники, бывают рыбаки с Верхнего Дона, бывает прочий похожий народ. Пешеход был не мужик, а, пожалуй, парень. Он поспешал, сбивался с такта и чесал сырые худые руки. В овраге стоял пруд, человек сполз туда по глинистому склону и попил водицы. Это было ни к чему — в такую погоду, в сырость, в такое прохладное октябрьское время не пьется даже бегуну. А путник пил много, со вкусом и жадностью, будто утоляя не желудок, а смазывая и охлаждая перегретое сердце. Очнувшись, человек зашагал сызнова.

Прошло часа два, пешеход, одолевая великие грязи, выбился из сил и ждал какую-нибудь нечаянную деревушку на своей осенней дороге.

Началась равнина, овраги перемежились и исчезли, запутавшись в своей глуши и заброшенности.

Но шло время, а никакого сельца на дороге не случалось. Тогда парень сел на обдутый ветрами бугорок и вздохнул. Видимо, это был хороший молчаливый человек и у него была терпеливая душа.

По-прежнему пространство было безлюдно, но туман уполз в вышину, обнажались поздние поля с безжизненными остьями подсолнухов, и понемногу наливался светом скромный день.

Парень посмотрел на камешек, кинутый во впадину, и подумал с сожалением о его одиночестве и вечной прикованности к этому невеселому месту. Тотчас же он встал и опять пошел, сожалея об участи разных безымянных вещей в грязных полях.

Скоро местность снизилась и обнаружилось небольшое село — дворов пятнадцать. Пеший человек подошел к первой хате и постучал. Никто ему не ответил. Тогда он самовольно вошел внутрь помещения.

В хате сидел не старый крестьянин, бороды и усов у него не росло, лицо было утомлено трудом или подвигом. Этот человек как будто сам только вошел в это жилье и не мог двинуться от усталости, оттого он и не ответил на стук вошедшего.

Парень, житель Гробовского округа, вгляделся в лицо нахмуренного сидельца и сказал:

— Федосий! Неужели возвратился?

Человек поднял голову, засиял хитрыми, умными глазами и ответил:

— Садись, Михаил! Воротился, нигде нет благочестия — тело наружи, а душа внутри. Да и шут ее знает, кто ее щупал — душу свою...

— Што ж, хорошо на Афоне? — спросил Михаил Кирпичников.

— Конечно, там земля разнообразней, а человек — стервец, — разъяснил Федосий.

— Что ж теперь делать думаешь, Федосий?

— Так чохом не скажешь! Погляжу пока, шесть лет ушло зря, теперь бегом надо жить. А ты куда уходишь, Михаил?

— В Америку. А сейчас иду в Ригу, на морской пароход!

— Далече. Стало быть, дело какое имеешь знаменитое?

— А то как же!

— Стало быть, дело твое сурьезное?

— А то как же! Бедовать иду, всего лишился!

— Видать, туго задумал ты свое дело?

— Знамо, не слабо. Без харчей иду, придорожным приработком кормлюсь!

— Дело твое крупное, Михайла... Ну, ступай, чудотворец, поглядим-подышим! Скорей только ворочайся и в морях не утопни!

Кирпичников вышел и пропал в полях. Он был доволен встречей с Федосием, восемнадцать лет пропадавшим где-то в поисках праведной земли и увидевшим в нем только черепичного мастера, — и своей беседой с ним. Но в этой беседе была и правда — Кирпичников на самом деле собрался в Америку.

Пройдя сквозь европейский кусок СССР, Михаил достиг Риги. Здесь в нем проснулся инженер. Его поразила прочность домов: ни ветер, ни вода такие постройки не возьмет — одно землетрясение может поразить такие монументы. Сразу почуял в Риге Михаил всю тщету, непрочность и страх сельской жизни. В Москве он почему-то это не думал. Еще удивил Михаила этот город стройной, задумчивой торжественностью зданий и крепкими, спокойными людьми. Несмотря на образование и жизнь

в Москве, в Кирпичникове сохранилась первобытность и способность удивляться простым вещам. Михаил ходил по Риге и улыбался от удовольствия видеть такой город и иметь в себе верную мысль всеобщего богатства и здоровья.

Ходил он столько дней, пока у него не вышли харчи; тогда он пошел в порт.

Голландский пароход «Индонезия», сгрузив индиго, чай и какао, грузился лесом, пенькой, деревообделочными машинами и разными изделиями советской индустрии. Из Риги он должен идти в Амстердам, там произведет текущий ремонт машин, а затем уйдет в Сан-Франциско, в Америку.

Михаила Кирпичникова взяли на пароход помощником кочегара — подкидчиком угля, потому что Кирпичников согласился работать за половинную цену.

Через десять дней «Индонезия» тронулась; и перед Михаилом открылся новый могучий мир пространства и бешеной влаги, о котором он никогда особенно не думал.

Океан неописуем. Редкий человек переживает его по-настоящему, тем чувством, какого он достоин. Океан похож на тот великий звук, который не слышит наше ухо, потому что у этого звука слишком высок тон. Есть такие чудеса в мире, которых не вмещают наши чувства, именно потому, что наши чувства их не могут вынести, а если бы попробовали, то человек разрушился бы.

Вид океана снова убедил Михаила в необходимости достигнуть богатой жизни и отыскать «эфирный тракт», а вечная работа воды заражала его энергией и упорством.

11

Десять месяцев прошло, как ушел Михаил из Ржавска. В свежее утро раннего лета среди молодых розовых гор Калифорнии шагал Михаил к далеким лимонным рощам и цветочным полям Риверсайда.

Кирпичников чувствовал в себе сердце, в сердце был напор крови, а в крови — надежда на будущее, на сотни счастливых советских лет.

И Михаил спешил среди ферм, обгоняя стада, сквозь веселый белый бред весенних вишневых садов. Калифорния немного напоминала Украину, где Кирпичников бывал мальчиком, где народ был сплошь здоровый, рослый и румяный, а коричневые обнажения древних горных по-

род напоминали Кирпичникову, что родина его далеко и что там сейчас, наверное, грустно.

И, свирепея, отчаиваясь, завидуя, упираясь в твердые ноги, Кирпичников почти бежал, спеша достигнуть таинственного Риверсайда, где сотни десятин под розами, где из нежного тела беззащитного цветка выгоняется тончайшая драгоценная влага и где, быть может, работает возбудитель того рефлекса, который выведет его на «эфирный тракт»: в Риверсайде находилась тогда знаменитая лаборатория по физике эфира, принадлежащая Американскому электрическому униону.

Четверо суток шел Михаил. Он немного заблудился и дал круг километров в пятьдесят.

Наконец он достиг Риверсайда. В городе было всего домов тысячу; но улицы, электричество, газ, вода — все было удобно обдумано и устроено, как в лучшей столице.

У околицы города висела вывеска: «Путник, только у Глэн-Бабкова, в гостинице «Четырех Стран Света», высосут пыль из твоей одежды (вакуумпюпитры), предложат влагу лучших источников Риверсайда, накормят стерилизованной пищей, почти не дающей несваренных остатков, и уложат в постель с электрическими грелками и рентгено-компрессором, изгоняющим тяжелые сновидения».

Кирпичников немного понимал по-английски и теперь развлекался этими надписями.

«Американцы! В Вашингтоне — ваша мудрость! В Нью-Йорке — слава! В Чикаго — кухня! В Риверсайде — ваша красота! Американцы, вы должны быть настолько красивы, насколько энергичны и богаты: заказывайте тоннами пудру Ривергрэн!»

«В Фриско — наши корабли, в Риверсайде — наши женщины! Американки, объясните мужьям — нашей стране нужны не только броненосцы, но и цветы! Американки, записывайтесь в Добровольную ассоциацию поощрения национального цветоводства: Риверсайд, I, A/34».

«Масло розы — основа богатства нашего округа! Масло розы — основа здоровья нации! Американцы, умащайте ваши мужественные тела эссенцией розы — и вы не потеряете мужества до ста лет!»

«В Азии — Месопотамия, но без рая! В Америке — Риверсайд, но в раю!»

«Элементы нашего национального рая суть:

Пища — жилище — влага: Глэн-Бабков.

Одежда — красота — мораль: Кацманзон.

Искусство — рассуждение — религия — пути провидения — вечная слава: универсальное блокпредприятие Звездного треста.

Вечный покой: анонимная компания «Урна».

Эксплуатация времени в целях смеха и развлечения: изолированная обитель «Древо Евы».

Препараты «Антисексус»: «Беркман, Шотлуа и К°».

«Ходят только в башмаках Скржга, в остальной обуви ползают!»

«Приведи в действие тормоз опасности! Стоп! Дальше — конец света! Зайди в наш дом «Сотворение мира»!»

«Джентльмены! Танец творит человека — творите себя: танцзал напротив! Маэстро Майнрити: стаж 50 лет в странах Европы».

«Помолись! Каждый обречен на смерть! Встреча с богом неминуема! Что ты скажешь ему? Зайди в Дом абсолютной религии! Вход бесплатный. Хор юных дев зафиксированного целомудрия! Оживленная статуя истинного бога! Мистические процедуры, стихи, музыка нерожденных душ, ароматное помещение! Кино религиозными методами иллюстрирует современность, пастор Фокс доказывает соответствие истории и библии! Посетившему гарантируется стерилизация души и возвращение перводушевности!»

«Звездное знамя есть знамя небесного бога! Аллилуйя!»

«Наклони голову: тебя ждут обувные автоматы и препараты против пота!»

«Главное в жизни — пища! И — наоборот! Усовершенствованные экскрементарии в каждом квартале Риверсайда ждут тебя! Осознай желудок!»

«Аэропланы в розницу, с бесплатной упаковкой: Эптон Гаген».

Кирпичников хохотал. Он читал где-то, что американцы по развитию мозга — двенадцатилетние мальчики. Судя по Риверсайду, это была точная правда.

Работу себе нашел Кирпичников через четыре дня: машинистом на насосной станции, поднимающей воду из реки Квебек в лимонные сады.

Прошел монотонный месяц. Кругом жили глупые люди: работа, еда, сон, ежевечернее развлечение, абсолютная вера в бога и в мировое первенство своего народа.

Очень любопытно! Кирпичников наблюдал, молчал и терпел, друзей никаких не имел.

Адреса своего Кирпичников дома не оставил, записки тоже, однако то, что он отправился в Америку, на родине было известно. Кирпичников, как всегда, внимательно читал газеты и однажды увидел в «Чикагском ораторе» следующее объявление:

«Мария Кирпичникова просит своего бывшего мужа Михаила Кирпичникова вернуться на Родину, если ему дорога жизнь жены. Через три месяца Кирпичников жену в живых не застанет. Это не угроза, а просьба и предупреждение!»

Кирпичников вскочил, бросился к машине и закрыл клапан паропровода. Машина остановилась.

Сейчас же зазвонил телефон:

— Алло! В чем дело, механик?

— Посылайте смену до срока! Ухожу!

— Алло! В чем дело? Куда уходите? Что за шутки дьявола? Пустите сейчас же насос, иначе взыщем убытки! Алло, вы слушаете? Достаточно ли у вас долларов для уплаты штрафа? Я звоню полиции!

— Убирайся к черту, двенадцатилетний дурак! Я предупредил — ухожу без расчета!

Кирпичников выбежал по мостику с плавучего понтона, на котором помещалась установка, и пустился по долине Квебека на запад, не успевая думать. Солнце жалило зноем, горизонт закрыт горами, подошвы которых устланы тучными плантациями, и жаль было, что великолепные плоды Земли превращались, в конечном счете, в темную глупость и бессмысленное наслаждение человека.

12

Снова пошли дни, мучительные поиски заработка, тысячи затруднений и приключений. Описание даже обычного дня человека заняло бы целый том, описание дня Кирпичникова — четыре тома. Жизнь — в работе молекул; никто еще не уяснил себе, ценою каких трагедий и катастроф согласуется бытие молекул в теле человека и создается симфония дыхания, сердцебиения и размышления. Это неизвестно. Потребуется изобретение нового научного метода, чтобы его заостренным инструментом просверлить скважины в пучинах нутра человека и посмотреть, какая там страшная работа.

Снова океан. Но Кирпичников уже не кочегар на судне, а пассажир. В Нью-Йорке он попал в мертвую хватку голода. Работы не было, и он вышел из бедствия лишь случайно. Еще в студенческие годы он изобрел однажды точный регулятор напряжения электрического тока. После недельной сплошной голодовки он начал обходить тресты и предприятия с предложением своего изобретения.

Наконец Западная индустриальная компания купила у него проект регулятора. Однако его заставили изготовить рабочие чертежи всех деталей. Кирпичников просидел над этим два месяца и получил всего двести долларов. Это его спасло.

Вез его океанский пароход линии Гамбург — Америка со средней скоростью шестьдесят километров в час. Кирпичников знал свою жену и был уверен, что если он не поспеет к сроку домой, она будет мертвой. Самоубийства он не допускал, но что же это будет? Он слышал, что в старину люди умирали от любви. Теперь это достойно лишь улыбки. Неужели его твердая, смелая, радующаяся всякой чепухе жизни Мария способна умереть от любви? От старинной традиции не умирают, тогда отчего же она погибнет?

Размышляя и томясь, Кирпичников блуждал по палубе. Он заметил прожектор далекого встречного корабля и остановился.

Вдруг сразу похолодало на палубе — начал бить страшный северный ветер, потом на судно нахлобучилась водяная глыба и в один миг сшибла с палуб и людей, и вещи, и судовые принадлежности. Судно дало крен почти в 45° к зеркалу океана. Кирпичников уцелел случайно, попав ногой в люк.

Воздух и вода гремели и выли, густо перемешавшись, разрушая судно, атмосферу и океан.

Стоял шум гибели и жалкий визг предсмертного отчаяния. Женщины хватали ноги мужчин и молили о помощи. Мужчины били их кулаками по голове и спасались сами.

Катастрофа наступила мгновенно, и, несмотря на высокую дисциплину и мужество команды, ничего существенного по спасению людей и судна сделать было нельзя.

Кирпичникова сразу поразила не сама буря и мертвая стена воды, а мгновенность их нашествия. За полми-

нуты до них на океане был штиль и все горизонты были открыты. Пароход заревел всеми гудками, радио заискрило тревогу, началось спасение смытых пассажиров. Но вдруг буря затихла — и судно мирно закачалось, нащупывая равновесие.

Горизонт открылся — в километре шел европейский пароход, сияя прожекторами и спеша на помощь.

Мокрый Кирпичников суетился у катера, налаживая отказывающийся работать мотор. Он не вполне сознавал, как попал к катеру. Но катер необходимо спустить немедленно: в воде захлебывались сотни людей. Через минуту мотор заработал: Кирпичников зачистил его окислившиеся контакты — в этом была вся причина.

Михаил влез в кабинку катера и крикнул: «Отдавай блоки!»

В эту минуту непроницаемый едкий газ затянул все судно, и Кирпичников не мог увидеть своей руки. И сейчас же он увидел падающее, одичалое, нестерпимо сияющее солнце и сквозь треск своего рвущегося мозга услышал на мгновение неясную, как звон Млечного Пути, песню и пожалел о краткости ее.

13

Правительственное сообщение, помещенное в газете «Нью-Йорк таймс», было передано из-за границы Телеграфным агентством СССР:

«В 11 часов 15 минут 24.IX с. г. под 42° 11 сев. шир. и 62° 4 зап. долготы затонули американское пассажирское судно «Калифорния» (8485 человек, считая команду) и германское судно «Клара» (6841 человек с командой), шедшее на помощь первому. Точные причины не выяснены. Надлежащее следствие ведется обоими правительствами. Спасенных и свидетелей катастрофы нет. Однако главную причину гибели обоих судов следует считать установленной: на «Калифорнию» вертикально упал болид гигантских размеров. Этот болид увлек корабль на дно океана; образовавшаяся воронка засосала также и «Клару».

По мере хода следствия и подводных изысканий публика будет своевременно и полностью информирована».

Сообщение было перепечатано во всех газетах мира. Наибольшее страдание оно доставило не сиротам, не не-

вестам, не женам и родственникам погибших, а Исааку Матиссену, директору Кочубаровской опытно-мелиоративной станции близ селения Волошино Воронежского округа, Центрально-Черноземной области.

— Ну что, голова! Достиг вселенской мощи — наслаждайся теперь победой! — шептал Матиссен самому себе с тем полным спокойствием, которое соответствует смертельному страданию.

И только пальцами он зря крошил хлеб, скатывал ядрышки и сшибал их щелчками со стола на пол.

— Ведь, по сути и справедливости, я ничего и не достиг. Я только испытал новый способ управления миром и совсем не знал, что случится! — Матиссен встал, вышел на ночной двор и крикнул собаку: — Волчок! Эх ты, тварь кобелястая! — Матиссен погладил подбежавшую собаку.— Верно, Волчок, что сердце наше — это болезнь? А? Верно ведь, что сентиментальность — гибель мысли? Ну, конечно, так! Разрубим это противоречие в пользу головы и пойдем спать!

Матиссен закричал через забор в открытое поле, пугая невидимых, но возможных врагов, Волчок заскулил — и оба разошлись спать.

Хутор затих. Тихо шептала речонка в долине, подвигая свои воды к далекому океану, и в Кочубаровеселе отсекал исходящий газ двигатель электростанции. Там люди глубоко спали, не имея родственников ни на «Калифорнии», ни на «Кларе».

Матиссен тоже спал — с помертвелым лицом, оловянным, утихшим сердцем и распахнутым зловонным ртом. Он никогда не заботился ни о гигиене, ни о здоровье своей личности.

Проснулся Матиссен на заре. В Кочубарове чуть слышно пели петухи. Он почувствовал, что ему ничего не жалко: значит, окончательно умерло сердце. И в ту же минуту он понял, что ему неинтересно и то, чего он добился,— не нужно ему самому. Он узнал, что сила сердца питает мозг, а мертвое сердце умерщвляет ум.

В дверь постучался ранний гость. Вошел знакомый крестьянин Петропавлушкин.

— Я к вам от нашей коммуны пришел, Исаак Григорьевич! Вы не обижайтесь, я сам по званию и по науке помощник агронома и суеверия не имею!..

— Говори короче, в чем твое дело? — подогнал его Матиссен.

— Наше дело в том, что вы слово особое знаете и им пользу большую можете делать. Мы же знаем, как от вашей думы машины начинают работать.

— Ну и что же?

— Нельзя ли, чтобы вы такую думу подумали, чтоб поля круче хлеб рожали...

— Не могу,— перебил Матиссеп,— но, может быть, открою, тогда помогу вам. Вот камень с неба могу бросить на твою голову!..

— Это ни к чему, Исаак Григорьевич! А ежели камень можете, то почва ближе неба...

— Дело не в том, что почва ближе...

— Исаак Григорьевич, а я вот читал, корабли в океане утонули тоже от небесного камня. Это не вы американцам удружили?

— Я, товарищ Петропавлушкин! — ответил Матиссен, не придавая ничему значения.

— Напрасно, Исаак Григорьевич! Дело не мое, а полагаю, что напрасно!

— Сам знаю, что напрасно, Петропавлушкин! Да что же делать-то? Были цари, генералы, помещики, буржуи были, помнишь? А теперь новая власть объявилась — ученые. Злое место пустым не бывает!

— А я того не скажу, Исаак Григорьевич! Если ученье со смыслом да с добросердечностью сложить, то, я полагаю, и в пустыне цветы засияют, а злая наука и живые нивы песком закидает!

— Нет, Петропавлушкин, чем больше наука, тем больше ее надо испытывать, а чтоб мою науку проверить, нужно целый мир замучить. Вот где злая сила знания! Сначала уродую, а потом лечу. А может быть, лучше не уродовать, тогда и лекарств не нужно будет...

— Да разве одна наука уродует, Исаак Григорьевич? Это пустое. Жизнь глупая увечит людей, а наука лечит!

— Ну, хотя бы так, Петропавлушкин! — оживился Матиссен.— Пускай так! А я вот знаю, как камни с неба на землю валить, знаю еще кое-что похуже этого! Так что же меня заставит не делать этого? Я весь мир могу запугать, а потом овладею им и воссяду всемирным императором. А не то всех перекрошу и пущу газом!

— А совесть, Исаак Григорьевич, а общественный инстинкт? А ум ваш где же? Без людей вы тоже далеко не уплывете, да и в науке вам все люди помогали! Не сами же вы родились и разузнали сразу все!

— Э, Петропавлушкин, на это можно высморкаться! А ежели я такой злой человек?

— Злые умными не бывают, Исаак Григорьевич!

— А по-моему, весь ум — зло! Весь труд — зло! И ум, и труд требуют действия и ненависти, а от добра жалеть да плакать хочется...

— Несправедливо вы говорите, Исаак Григорьевич! Я так непривычен, у меня аж в голове шумит!.. Так наша коммуна просит помощи, Исаак Григорьевич! Очень земля истощена, никакой фосфат уже не утучняет. Вам думу почве передать не трудно, а нам жизнь от этого! Уж вы пожалуйста, Исаак Григорьевич! Вон как прелестно у вас: подошел, подумал что следует — и машина воду сама погнала! Так бы и нам материнство в почву дать! До свиданья пока!

— Ладно. Прощай! — ответил Исаак Григорьевич.

«А этот человек умен,— подумал Матиссен,— он почти убедил меня, что я выродок!»

Затем Матиссен окончательно оделся и перешел в другую комнату. В ней стоял плоский и низкий стол размером 4×2 метра. На столе помещались приборы. Матиссен подошел к самому маленькому аппарату. Он включил в него ток от аккумуляторов и лег на пол. Сейчас же он потерял ясное сознание, и его начали терзать гибельные кошмары почти смертельной мощи, почти физически разрушающие мозг. Кровь переполнялась ядами и зачерняла сосуды; все здоровье Матиссена, все скрытые силы организма, все средства его самозащиты были мобилизованы и боролись с ядами, приносимыми кровью, обращающейся в мозгу. А сам мозг лежал почти беззащитным под ударами электромагнитных волн, бьющих из аппарата на столе.

Эти волны возбуждали особые мысли в мозгу Матиссена, а мысли стреляли в космос особыми сферическими электромагнитными бомбами. Они падали где-то, быть может в глуши Млечного Пути, в сердце планет и расстраивали их пульс, и планеты сворачивали с орбит и гибли, падая и забываясь, как пьяные бродяги.

Мозг Матиссена был таинственной машиной, которая пучинам космоса давала новый монтаж, а аппарат на столе приводил этот мозг в действие. Обычные мысли человека, обычное движение мозга бессильны влиять на мир, для этого нужны вихри мозговых частиц — тогда мировое вещество сотрясает буря.

Матиссен не знал, когда начинал опыт, что случится на земле или на небе от его нового штурма. Тем чудесным и неповторимым строением электромагнитной волны, которую испускал его мозг, он еще не научился управлять. А именно в особом строении волны и был весь секрет ее могущества; именно это било мировую материю по самому нежному месту, и от боли она сдавалась. И такие сложные волны мог давать только живой мозг человека и лишь при содействии мертвого аппарата.

Через час особые часы должны прервать ток, питающий мозговозбудительный аппарат на столе, и опыт прекратится.

Но часы остановились: их забыл завести Матиссен перед началом опыта. Ток неутомимо питал аппарат, и аппарат тихо гудел в своем труде.

Прошло два часа. Тело Матиссена таяло пропорционально квадрату количества времени. Кровь из мозга поступала сплошной лавой трупов красных шариков. Равновесие в теле нарушилось. Разрушение брало верх над восстановлением. Последний неимоверный кошмар вонзился в еще живую ткань мозга Матиссена, и милосердная кровь погасила последний образ и последнее страдание.

В девять часов утра Матиссен лежал мертвым — с открытыми глазами. Аппарат усердно гудел и остановился только к вечеру, когда иссякла энергия в аккумуляторе.

Весь день мимо дома Матиссена бежали упряжки лошадей и полуторатонные грузовики — возить отаву с лугов, заготовлять впрок корм скоту.

Петропавлушкин водил автомобиль-грузовичок, улыбался мировому пространству в полях и успокоительно думал о пользе добросердечной науки, коей он сам немалый соучастник.

14

Через два дня «Известия» в отделе «Со всего света» напечатали информацию Главной астрономической обсерватории:

«В созвездии Гончих Псов при ясном небе вторые сутки обнаруживается альфа-звезда.

В Млечном Пути, на 4-й дистанции (9-й сектор), образовалось пустое пространство — разрыв. Его земной

угол=4°71. Созвездие Геркулеса несколько смещено, вследствие чего вся солнечная система должна изменить направление своего полета. Столь странные явления, нарушившие вековое строение неба, указывают на относительную хрупкость и непрочность самого космоса. Обсерваторией ведутся усиленные наблюдения, направленные к отысканию причин этих аномалий».

В дополнение к этому в ближайшем номере обещалась беседа с академиком Ветманом. Из других телеграмм с 1/4 земного шара (тогдашние размеры СССР) не явствовало, чтобы Земля потерпела что-либо существенное от звездных катастроф, исключая петитную информацию с Камчатки:

«На горы село небольшое небесное тело, около десяти километров в поперечнике. Строение его неизвестно. Форма — сфероид. Тело прилетело с небольшой скоростью и плавно приземлилось к вершинам гор. В бинокли видны огромные кристаллы на его поверхности. Местным Обществом любителей природоведения снаряжена экспедиция для предварительного изучения опустившегося тела. Но экспедиция не может дать быстрых результатов, горы почти неприступны. Из Владивостока затребованы аэропланы. Сегодня в направлении небесного тела пролетела небольшая эскадрилья японских аэропланов».

На следующий день эта заметка превратилась в сенсацию, и странному событию была посвящена статья в триста строк академика Ветмана.

В тот же день «Беднота» сообщила о смерти инженера-агронома Матиссена, известного в кругах специалистов работника по оптимальному режиму влаги в почве.

И только помощнику агронома в Кочубарове Петропавлушкину, выписывавшему и «Известия» и «Бедноту», пришла в голову нечаянная мысль о связи трех заметок: Матиссен умер, на Камчатские горы села планетка, одна звезда пропала, и лопнул Млечный Путь. Но кто же поверит такому деревенскому бреду?

Хоронили Матиссена торжественно. Почти вся кочубаровская сельскохозяйственная коммуна шла за его гробом. Земледелец издревле любит странников и чудородных людей. А молчаливый, одинокий Матиссен был из таких — это явно чувствовали в нем все. Последний ободок волос на лысом черепе Матиссена осыпался, когда

гроб резко толкнули неловкие руки. Это удивило всех крестьян, и к мертвому Матиссену прониклись еще большей жалостью и уважением.

Похороны Матиссена совпали с концом работ подводной экспедиции, отправленной правительствами Америки и Германии для отыскания затонувших «Калифорнии» и «Клары».

Снимаясь с места катастрофы, экспедиция отправила по радио в Нью-Йорк и Берлин:

«Считать установленным точной разведкой — живая сила болида была титанически велика: «Калифорния» и «Клара» загнаны болидом глубоко в дно океана, и сам болид утонул в недрах океанического ложа. В месте катастрофы образовалась впадина диаметром в сорок километров, с наибольшей глубиной, считая от прежнего уровня дна, в 2,55 километра. Только подводное бурение может указать глубину залегания всех трех тел — «Калифорнии», «Клары» и самого болида. Надо ожидать сильной деформации изыскиваемых предметов».

В ответ на это оба правительства телеграфировали:

«Бурите дно океана. Соответствующие кредиты открыты».

Экспедиция послала одно из своих судов за добавочным оборудованием для буровых подводных работ, а через две недели начала бурение.

Петропавлушкин был селькором «Бедноты». Наука держала мир в панике сенсаций. Каждый день манифесты ее открытий занимали половину ежедневной прессы. Было время: веселился воин, потом торжествовал богач, а теперь настало время ученого-героя и ликующего знания. В науке поместилось ведущее начало Истории.

В стороне от науки стоять не было терпения, и Петропавлушкин написал в «Бедноту» корреспонденцию, которая должна дать ему внутреннее удовлетворение соучастника всемирной науки.

Девять дней его терзала догадка, потом она превратилась в теплое убеждение, греющее мозг.

Корреспонденция называлась «Битва человека со всем миром».

«Ученый-инженер и агроном Исаак Григорьевич Матиссен, что умер на днях, как то известно читателям, изобрел такие мысли, что они сами по себе могли кидать метеоры на Землю. Перед смертью Исаак Григорьевич

говорил мне, что он и не то будет еще делать. Американский корабль утонул тоже по его власти. А я ему отсоветовал так отягощаться бедой. Но он насмеялся над здравым смыслом полунаучного человека (я имею степень помощника агронома по полеводству). И вот я уверился, что Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака Григорьевича. Смешно говорить, но он умер от такого усилия. У него жилы лопнули в голове и произошло кровоизлияние. Кроме Млечного Пути Исаак Григорьевич навеки испортил одну звезду и совлек Солнце с Землею с их спокойного, гладкого пути. От этого же, я так думаю, и какая-то планета отчего-то прилетела на Камчатские полуострова.

Но дело прошлое. Теперь Исаак Григорьевич умер и только зря поломал мировое благонадежное устройство. А мог бы он и добро делать, только не захотел отчего-то и умер.

Я освещаю этот мировой факт и требую к нему доверия, потому что я очевидец всему. Доказательство тому — мой предварительный разговор с Исааком Григорьевичем перед его уединенной смертью.

Разгадка теперь дана всем малосведущим, и факт стал фактом во всеуслышание.

Долой злые тайны и да здравствует сердечная наука!

Селькор и помощник участкового агронома по полеводственной дисциплине Петропавлушкин».

В редакции «Бедноты» посмеялись над таким доносом на мертвого и написали товарищу Петропавлушкину теплое письмо, полное разубеждения, пообещав прислать ему такие книги, которые его сразу вылечат от идеалистического сумбура.

Петропавлушкин обиделся и перестал писать корреспонденции. Потом одумался, разозлился и написал открытку:

«Граждане! Редакторы-издатели! Полуученый человек сообщил вам факт, а вы не поверили, будто я совсем не ученый. Прошу ономниться и поверить хоть на сутки, что мысль не идеализм, а твердое могучее вещество. А все мироздания с виду прочны, а сами на волосках держатся. Никто волоски не рвет, они и целы. А вещество мысли толкнуло — все и порвалось. Так о чем же речь и насмеяние фактов? Вселенский мир — это вам не бумажная газета. Остаюсь с упреком — бывший селькор Петропавлушкин».

15

Мария Александровна Кирпичникова прочитала в списке погибших на «Калифорнии» имя своего мужа. Она знала, что он к ней вернется, теперь узнала, что его нет на свете.

Она его не видела двенадцать месяцев, а теперь не увидит никогда.

— Кончена жизнь...— вслух сказала она и подошла к окну.

— Что, мама? — спросил пятилетний сын, возившийся с кошкой.

— Лето кончается, сынок! Видишь, падают листья на улице.

— А отчего ты плачешь? Папа не приедет?

— Приедет, милый!..

Мать его начала обнимать и уговаривать лечь поспать, чтобы не быть вечером дохлым. Мальчик сопротивлялся, лаская мать.

— Ляг, посни, мальчик. Папа скорей приедет!

— Не ври, мамка. Сколько раз спал, а он все не едет!

— Ну, ты так ляг, полежи. А то к бабушке отправлю, как Левочку, скучать по мне будешь. Поедешь к бабушке?

— Не поеду я!

— Почему?

— Мне там скучно будет, а без меня папа приедет!

И все же мальчик улегся спать — мать знает, как это сделать. Мария Александровна посмотрела на ребенка — лицо его стало мирным и необыкновенным, вызывающим жалость и новые силы любви. Кажется, пусть только проснется он — и все станет новым, и мать его никогда не обидит. Но это был только милый обман образа спящего беззащитного ребенка: просыпался мальчик снова маленьким бандитом и изувером, и даже мебель от него уставала.

Оставшись в покое, Мария Александровна решила неуклонно жить. Но она понимала, что теперь всю энергию своего сознания она должна бросить на то, чтобы урегулировать свое плачущее, любящее сердце. И только тогда она устоит на ногах, иначе можно умереть во сне.

Спать она боялась ложиться, отдыхающий беззащитный мозг могут растерзать дикие образы ее неутомимого несчастья. Она знала, что в спящем человеке разводятся

страшные образы, как сорняки в некультурных, заброшенных полях. И грядущая ночь ей была непостижимо страшна.

Как женщина, как человек, она хотела бы иметь горсть пепла от праха своего мужа. Отвлеченная могила под дном океана не давала веры в настоящую смерть, но темным инстинктом она была убеждена, что Михаил уже не дышит воздухом Земли.

Спящий Егорушка до привидения напоминал ей мужа. Отсутствовали только морщины и складки утомленного рта.

Мария Александровна не совсем понимала мужа: ей была непонятна цель его ухода. Она не верила, что живой человек может променять теплое, достоверное счастье на пустынный холод отвлеченной одинокой идеи. Она думала, что человек ищет только человека, и не знала, что путь к человеку может лежать через стужу дикого пространства. Мария Александровна предполагала, что людей разделяют лишь несколько шагов.

Но ушел Михаил, а потом умер в далеком плавании, ища драгоценность своей затаенной мысли. Мария Александровна, конечно, знала, чего ищет ее муж. Она понимала смысл размножения материи. И в этой области хотела помочь мужу. Она купила ему десять экземпляров большого труда — перевод символов только что найденной в тундре книги, изданной под именем «Генерального сочинения». В Аюнии, вероятно, сильно было развито чтение: этому способствовала тьма восьмимесячной ночи и уединенность жизни аюнитов.

При строительстве второго вертикального термического тоннеля, когда Кирпичников уже пропал, строители обнаружили четыре гранитные плиты с символами на них, исполненными крупным рельефом. Символы были того же начертания, что и в ранее найденной книге «Песни Аюны», поэтому легко поддались переложению на современный язык.

Плиты-писанцы, вероятно, были памятником и завещанием философа-аюнита, но в них содержались мысли о сокровенном содержании природы. Мария Александровна исчитала всю книгу и нашла ясные намеки на то, что искал ее муж по всей пустой земле. Далекий мертвый человек давал помощь ее мужу, ученому и бродяге, давал помощь счастью женщины и матери.

И вот тогда Мария Александровна дала объявления в пять американских газет.

Она изучила на память нужные места в «Генеральном сочинении», боясь утратить как-нибудь книгу и не встретить Михаила с наилучшей для него радостью.

«Лишь живое познается живым,— писал аюнит,— мертвое непостижимо. Неимоверное нельзя измерить достоверным. Именно посему мы познали отчетливо такое далекое, как аэны (соответствует электронам.— Примечание переводчиков и излагателей), и нам осталось мало известным такое близкое, как мамарва (соответствует материи.— Примечание переводчиков и излагателей). Это потому, что первое живет, как ты живешь, а второе — мертво, как Муйя (неизвестный образ.— Примечание переводчиков и излагателей). Когда аэны шевелились в пройе (соответствует атому.— Примечание переводчиков и излагателей), сначала мы видели в этом механическую силу, а потом с радостью открыли в аэнах жизнь. Но центр пройи, полный мамарвы, был веками загадкой, пока мой сын достоверно не показал, что центр пройи состоит из тех же аэнов, только мертвых. И, мертвые, они служат пищей живым. Стоило сыну моему извлечь из пройи ее середину, как все живые аэны погибли от голода. Так вышло, что центр пройи есть амбар пищи для живых аэнов, пасущихся вокруг этой обители трупов своих предков, чтобы пожирать их. Так просто и сияюще истинно была открыта природа всей мамарвы. Вечная память моему сыну! Вечная скорбь его имени! Вечное почитание его утомленному образу!»

Это Мария Александровна знала наизусть, как ее сын стихотворение про рыжего важного шофера.

Остальная часть «Генерального сочинения» содержала учение об истории аюнитов — о ее начале и близком конце, когда аюниты найдут свой зенит во времени и в природе, когда все три силы — народ аюнитов, время и природа — придут в гармоническое соотношение и их бытие втроем зазвучит как симфония.

Это Марию Александровну мало интересовало. Она искала равновесие своего личного счастья и не вполне осваивала откровения неведомого аюнита.

И только последние страницы книги заставили ее вздрогнуть и забыться в удивленном внимании.

«...Ныне это так же стало возможным, как было в эпоху детства моей родины. Тогда возмутились пучины Материнского Океана (Северного Ледовитого.— Примечание редактора) и Океан начал заливать нашу Землю

жесткой, мерзлой водой, перемешанной с глыбами льда. Вода ушла, а льды остались. Они долго ползли по холмам нашей просторной Земли, пока не стерли их, и наша родина превратилась в бесплодную равнину. Лучшие плодородные почвы на холмах были срезаны льдом, и народ остался в голодном поле. Но беда лучший наставник, а катастрофа народа — организатор его, если еще не обеспложена кровь людей долгой жизнью на Земле. Так и тогда: льды разрушили плодоносную землю, лишили наших предков питания и размножения, и гибель спустилась над головою народа. Горячий поток в океане, отапливавший страну, начал удаляться на север, и стужа завыла над той землей, где цвели сумрачные аргоны. На Севере нас сторожил хаос мертвых льдов, на юге — лес, набитый темной тучей мощных зверей, наполненный свистом мрачных гадов и пересеченный целыми реками яда зундры (испражнения гигантских змей.— Примечание редактора). Народ Аюны, народ мужества и чувства уважения к своей судьбе, начал себя умерщвлять, закапывая свои книги — высший дар Аюны — в землю, оковав их золотом, пропитав листы составом веньи, дабы они могли уцелеть вечность и не сгнить.

Когда половина народа была покорена смертью и лежала трупами, явился Эйя — хранитель книг — и пошел бродить по опустевшим дорогам и замолкающим жилищам. Он говорил: «У нас отнято материнство почвы, погасает теплота воздуха, лед скребет нашу родину, и горе тушит мудрость ума и мужество. У нас остался только свет солнца. Я сделал аппарат — вот он! Страдание научило меня терпению, и дикие годы отчаяния народа я сумел плодотворно использовать. Свет — сила терзаемой мамарвы (изменяющейся материи.— Примечание редактора), свет — стихия аэнов; мощь аэнов сокрушительна. Мой аппарат превращает потоки солнечных аэнов в тепло. И не только свет солнца, но и луны и звезд я могу своей простой машиной превратить в тепло. Я могу получить огромное количество тепла, которым можно расплавить горы. Нам теперь не нужен теплый поток океана, чтобы греть нашу землю!»

Так Эйя стал водителем жизни и началом новой истории Аюны. Его аппарат, состоящий из сложных зеркал, преобразующих свет неба в тепло и в живую силу металла (вероятно, электричество.— Прим. редактора), и поныне служит источником народной жизни и довольства.

Равнины родины расцвели, и родились новые дети. Прошел эн (очень длительный промежуток времени.— Примечание редактора).

Организм человека был исчерпан. Даже молодой мужчина не мог производить семени, даже сильнейший разум перестал рождать мысль. Долины родины покрылись сумраком последнего отчаяния — человек дошел до предела в самом себе,— солнце нашего сердца закатывалось навсегда. Перед этим льды были ничто, холод — ничто, смерть — ничто. Человек питался одним презрением к себе. Он не мог ни любить, ни мыслить и даже не мог страдать. Источники жизни иссякли в недрах тела, потому что они были выпиты. У нас были горы пищи, дворцы уюта и кристаллические книгохранилища. Но не было больше судьбы, не стало живости и жара в теле, затмились надежды. Человек — рудник, но руда была выработана вся, остались пустые шахты.

Хорошо погибнуть на крепком корабле в диком океане, но плохо насмерть захлебнуться пищей.

Так было долго. Целое поколение не познало молодости.

Тогда мой сын Рийго нашел исход. Чего не могло дать естество, то дало искусство. Он сохранил остатки живого мозга в себе и сказал нам, что судьба наша кончается, но еще можно открыть ей двери — нас ждет ясный день. Решение было просто: электромагнитное русло. (В подлиннике: труба для живой силы металла.— Примечание редактора). Рийго провел из пространства пищепровод к аэнам нашего мрачного тела, пустил по этому пищепроводу потоки мертвых аэнов (соответствует эфиру.— Примечание редактора), и аэны нашего тела, получив избыток пищи, ожили. Так были воскрешены наш мозг, наше сердце, наша любовь к женщине и наша Аюна. Но больше того: дети росли скорее в два раза, и жизнь в них пульсировала, как сильнейшая машина. Все остальное — сознание, чувство и любовь — выросло в страшные стихии и пугало отцов. История перестала шествовать и начала мчаться. И ветер судьбы бил нас в незащищенное лицо великими новостями мысли и поступков.

Изобретение моего сына, как все замечательное, имеет серое лицо. Рийго взял два центра пройи, наполненные трупами аэнов, и поместил в одну пройю. Тогда живые аэны пройи стали быстро размножаться, и вся пройя выросла за десять дней в пять раз. Причина видна и не-

взрачна: аэны стали больше питаться, потому что запас их пищи увеличился в два раза.

Так Рийго развел целые колонии сытых, быстрорастущих, неимоверно множащихся аэнов. Тогда он взял обыкновенное тело — кусок железа — и мимо него, лишь касаясь железа, начал излучать в направлении звезд поток сытых аэнов, разведенных в колониях. Сытые аэны не перехватывали для пищи трупы своих предков (то есть эфир.— Примечание редактора), и те свободно текли к куску железа, где их ждали голодные аэны. И железо начало расти на глазах людей, как растение из земли, как ребенок в животе матери.

Так искусство моего сына оживило человека и начало выращивать вещество.

Но победа всегда подготовляет поражение.

Искусственно откормленные аэны, имея более сильное тело, стали нападать на живых, на естественных аэнов и пожирать их. А так как при всяком превращении вещества есть неустранимые потери, то пожранный маленький аэн не увеличивал тела большого аэна на столько, сколько имел сам, когда был живой. Так вещество то там, то здесь — всюду, куда попадали откормленные аэны (электроны — дальше пользуемся этим современным термином.— Примечание редактора), начало уменьшаться. Искусство Рийго не смогло сделать пищепровод для всей Земли, и вещество таяло. Только там, куда был проложен тракт для потока трупов электронов («эфирный тракт».— Примечание редактора), вещество росло. «Эфирными трактами» были снабжены люди, почва и главнейшие вещества для нашей жизни. Все остальное уменьшалось в своих размерах, вещество сгорало, мы жили за счет разрушения планеты.

Рийго исчез из дома. В Материнском Океане начала пропадать вода. Рийго знал причину исчезновения влаги и вышел встречать противника. Однажды откормленное и воспитанное им племя электронов работой времени и естественным отбором достигло того, что каждый электрон равнялся облаку по объему тела.

В неистовой свирепости шли тучи электронов из недр Материнского Океана, колыхаясь, как горы при землетрясении, дыша, как могучие ветры. Аюна будет выпита ими, как обычная вода, и Рийго пал. Нельзя вытерпеть взгляд электрона. Гнусна будет смерть от ужаса, но нет спасения больше Аюне. Рийго давно пал в безвестности,

как камень в колодезь. Слишком медленно идут эти космические звери. Но слишком быстро прошли они путь от частички пойи до живой горы. Я думаю, они тонут в земле, как в твороге, потому что тело их тяжелее свинца. Наверное, Рийго пал не зря, а имея решение и способ победить неизвестные элементарные тела. В быстром росте, в бешеном действии естественного отбора — сила электрона. В этом и слабость их, потому что ясно указывает на предельную простоту их психики и физиологической организации, а стало быть, обнаруживает беззащитное, уязвимое место. Рийго постиг эту очевидность, но был убит лапой электрона, тяжелой, как пласт платины...»

Мария Александровна поникла над книгой. Егорушка спал. Часы пробили двенадцать — самый страшный час одиночества, когда спят все счастливые.

— Неужели так труден корм человеку? — громко сказала Мария Александровна.— Неужели всегда победа — предвестник поражения?

Тишина в Москве. Последние трамваи спешат в парк, искря контактами.

— Тогда какой победой возместится мрачная смерть моего мужа? Какая душа мне заменит его сумрачную, потерянную любовь?

16

В Серебряном бору, близ крематория, стояло здание нежного архитектурного стиля. Оно исполнено было как сфероид — образ космического тела, но не касалось земли, удерживаемое пятью мощными колоннами. От высшей точки сфероида уходила в небо телескопическая колонна — в знак и в угрозу мрачному стихийному миру, отнимающему живых у живущих, любимых у любящих,— в надежду, что мертвые будут отняты у вселенной силою восходящей науки, воскрешены и возвратятся к живым.

Это был Дом Воспоминаний, где стояли урны с пеплом погибших людей.

Седая и от старости прекрасная женщина вошла с юношей в Дом.

Тихо прошли они в дальний конец огромного зала, освещенного тихим синим светом памяти и тоски.

Урны стояли в ряд, как некие светильники с потухшим светом, освещавшие некогда неизвестную дорогу,

На урнах были прикреплены мемориальные доски:

«Андрей Вогулов. Пропал без вести в экспедиции по подводному исследованию Атлантиды.

В урне нет праха — лежит платок, смоченный его кровью во время ранения на работах на дне Тихого океана. Платок доставлен его спутницей».

«Петер Крейцкопф, строитель первого снаряда для достижения Луны. Улетел в своем снаряде на Луну и не возвратился. Праха в урне нет. Сохраняется его детское платье. Честь великому технику и мужественной воле!»

Седая женщина, сияющая удивительным лицом, прошла с юношей дальше.

Они остановились у крайней урны.

«Михаил Кирпичников, исследователь способа размножения материи, сотрудник доктора физики Ф. К. Попова, инженер. Погиб на «Калифорнии» под упавшим болидом. В урне нет праха. Хранится его работа по искусственному кормлению и выращиванию электронов и прядь волос».

Внизу висела вторая, малая доска:

«Чтобы найти пищу электронам, он потерял свою жизнь и душу своей подруги. Сын погибшего осуществит дело отца и возвратит матери сердце, растраченное отцом. Память и любовь великому искателю!»

Бывает старость, как юность: ожидающая спасения в чудесной опоздавшей жизни.

Мария Александровна Кирпичникова утратила молодость напрасно, теперь ее любовь к мужу превратилась в чувство страстного материнства к старшему сыну — Егору, которому шел уже двадцать пятый год. Младший сын, Лев, учился, был общителен, очень красив, но не возбуждал в матери того резкого чувства нежности, бережности и надежды, как Егор.

Егор лицом напоминал отца — серое, обычное, но необычайно влекущее скрытой значительностью и бессознательной силой.

Мария Александровна взяла Егора за руку, как мальчика, и пошла к выходу.

В вестибюле Дома Воспоминаний висела квадратная золотая доска с серыми платиновыми буквами:

«Смерть присутствует там, где отсутствует достаточное знание физиологических стихий, действующих в организме и разрушающих его».

Над входом в Дом висела арка со словами:

«Вспоминай с нежностью, но без страдания: наука воскресит мертвых и утешит твое сердце».

Женщина и юноша вышли на воздух. Летнее солнце ликовало над полнокровной землей, и взорам двух людей предстала новая Москва — чудесный город могущественной культуры, упрямого труда и умного счастья.

Солнце спешило работать, люди смеялись от избытка сил и жадничали в труде и в любви.

Всем их обеспечивало солнце над головой — то самое солнце, которое когда-то освещало дорогу Михаилу Кирпичникову в лимонном округе Риверсайда,— старое солнце, которое сияет тревожной страстной радостью, как зачатие вселенной.

* * *

Егор Кирпичников кончил Институт имени Ломоносова и стал инженером-электриком.

Дипломный проект он сдал на тему «Лунные возмущения электросферы Земли».

Егору мать передала все книги и рукописи отца, в том числе труд Ф. К. Попова, который начисто переписал Михаил Кирпичников после его смерти.

Егор познакомился с работами Попова, редкой литературой и всеми современными гипотезами по выкармливанию и воспитанию электронов. Что электроны были живыми существами — отпали все сомнения. Область электронов уже твердо определилась как микробиологическая дисциплина.

Егор избрал темой своей жизни конечную разгадку вселенной; и он не напрасно, подобно своему отцу, искал первичное чрево мира в межзвездном пространстве — в таинственной жизни электронов, составляющих эфир.

Егор верил, что кроме биологического существует электротехнический способ искусственного размножения, со всею свежестью и страстью молодости, не тронутой женской любовью.

В это лето Егор рано кончил свою работу в лаборатории профессора Маранда, которому он ассистировал по кафедре Строения эфира.

Маранд в мае уехал в Австралию, к своему другу астрофизику Товту, и Егор наслаждался отдыхом, летом и собственными нечаянными мыслями.

«Отдых — лучшее творчество»,— писал когда-то в письме Марии Александровне отец Егора, бродя по тундре вокруг вертикального термического тоннеля, где он служил некоторое время производителем работ.

Егор уходил из дому утром. Его нес метрополитен под Красными воротами, под площадью Пяти Вокзалов и выносил далеко за город, за Новые Сокольники, в кислородные рощи. Там шествовал Егор, чувствуя давление крови, свободную вибрацию мозга и острую тоску приближающейся любви.

И раз было так. Егор проснулся — на дворе стоял уже великий, торжественный летний день. Мать спала, зачитавшись накануне до глубокой ночи. Егор оделся, прочитал утреннюю газету, прислушался к звенящему напряжению удивительного города и решил куда-нибудь уйти. От отца или от давних предков в нем сохранилась страсть к движению, странствованию и к утолению чувства зрения. Быть может, его далекие деды ходили когда-то с сумочками и палочками на богомолье из Воронежа в Киев не столько ради спасения души, сколько из любопытства к новым местам; может быть, еще что — неизвестно. И Егор посильно удовлетворял свое тревожное чувство бродяги в районе узкого радиуса.

Подземка вынесла Егора за Останкино и там оставила одного. Егор вышел на глухую полевую дорогу, снял шляпу, пробормотал забытое стихотворение, вычитанное в книгах матери:

Среди людей мне близких и чужих
Скитаюсь я без цели, без желанья...

Дальше он вспомнить слов не мог, но вспомнил другое:

Любимый твой умер далеко,
Как камень в колодезь упал.
В урне лежит его локон,
А голову он потерял.

Эту песнь иногда пела мать Егора, когда ее схватывала тоска о муже и она искала от нее защиты у детей и у простой песенки.

— Так,— сказал себе Егор,— но что же производит эфир? — И лег в траву.— А черт его знает что!

Солнце гладило Землю против шерсти — и Земля вздымалась травами, лесами, ветрами, землетрясениями, северными сияниями.

Егор посмотрел на солнце — и сразу горячая волна прошла по его горлу и остановилась в голове.

Он поднялся и ничего не мог сообразить.

Как будто его обняла внезапно сзади утраченная любимая и сразу же скрылась.

Как в женщину, вонзилась в его сознание сияющая догадка и прополосовала мозг, как падающая звезда. Он ощутил страсть и успокоение, как цвет, сбросивший плодотворную пыль в материнское пространство.

Утратив нечаянную мысль, Егор крикнул от досады и пошел прочь со случайного места.

Но потом к нему не спеша возвратились все неясные мысли, как дети со двора, наигравшись и слабо сопротивляясь матери.

17

4 января в газете «Интеллектуальный труженик» была напечатана заметка:

«Электроцентраль жизни.

Молодым инженером Г. Кирпичниковым в лаборатории эфира профессора Маранда производятся в течение ряда месяцев интересные опыты над искусственным производством эфира. В идее работа инженера Кирпичникова заключается в том, что электромагнитное поле высокой частоты убивает в материи живые электроны; мертвые же электроны, как известно, составляют тело эфира. Высоту технического искусства инженера Кирпичникова можно понять из того, что для убиения электронов требуется переменное поле не менее 10^{12} периодов в секунду.

Высокочастотную машину Кирпичникова представляет само Солнце, свет которого разлагается сложной системой интерферирующих поверхностей на составные энергетические элементы: механическую энергию давления, химическую энергию, электрическую и т. д.

Кирпичникову нужна, собственно, одна электрическая энергия, которую он, посредством особого прибора из призм и дефлекторов, концентрирует в очень ограниченном пространстве и достигает нужной частотности.

Электромагнитное поле, по существу, есть колония электронов. Заставляя быстро пульсировать это поле, Кирпичников добился, что живые электроны, составляющие то, что называется полем, погибали; электромагнит-

ное поле превращалось по этой причине в эфир — механическую массу тел мертвых электронов.

Получая некоторые эфирные пространства, Кирпичников опускал в них какое-либо обыкновенное тело (например, самопис Ваттермана), и это тело за трое суток увеличивалось в два раза по своему объему.

В веществе самописа происходил следующий процесс: живые электроны, существующие в веществе самописа, получали усиленное питание за счет окружающих трупов электронов и быстро размножались, увеличиваясь также в своем объеме. Это вызывало рост всего вещества самописа. По мере поглощения эфира живыми электронами рост и размножение их прекращались.

Кирпичниковым, на основании своих работ, установлено, что в массиве Солнца зарождаются в неимоверных количествах исключительно живые электроны; но именно средоточие их гигантского количества в относительно тесном месте вызывает такую страшную борьбу между ними за источники питания, что почти все электроны погибают нацело. Борьба электронов за питание обусловливает высокую пульсацию Солнца. Физическая энергия Солнца имеет, так сказать, социальную причину — взаимную конкуренцию электронов. Электроны в солнечном массиве живут всего несколько миллионных долей секунды, будучи истребляемы более сильными противниками, которые в свою очередь погибают под ударами еще более мощных конкурентов и т. д. Еле успев пожрать труп врага, электрон уже гибнет — и очередной победитель поедает его вместе с непереваренными клочьями тел ранее убитых электронов.

Движения электронов в Солнце настолько стремительны, что огромное количество их вытесняется за пределы Солнца и улетает в мировое пространство со скоростью трехсот тысяч километров в секунду, производя эффект светового луча. Но на Солнце идет настолько грозная и опустошительная борьба, что все электроны, покинувшие Солнце, бывают мертвы и летят за счет либо инерции движения, начатого когда они были живы, либо от удара противника.

Однако Кирпичников убежден, что бывают редчайшие исключения, когда электрон может живым оторваться от Солнца. Тогда, имея вокруг себя эфир — обильную питательную среду, он служит отцом новой планеты. В дальнейшем инженер Кирпичников предполагает про-

изводить эфир в больших количествах, преимущественно из высоких слоев атмосферы, пограничных с эфиром. Электроны там менее активны, и на истребление их потребуется меньший расход энергии.

Кирпичников заканчивает свой новый метод искусственного производства эфира; новый способ заключается в электромагнитном русле, где действует высокая частота для умерщвления электронов. Электромагнитное высокочастотное русло направляется от земли к небу, и в нем, как в трубе, образуется поток мертвых электронов, подгоняемых давлением солнечного света к земной поверхности.

У земной поверхности эфир собирается, аккумулируется в особые сосуды и затем идет на питание тех веществ, объем которых желают увеличить.

Инженер Кирпичников произвел и обратные опыты. Действуя высокочастотным полем на какой-либо предмет, он достигал как бы угасания предмета и полного его исчезновения. Очевидно, убивая электроны в веществе предмета, Кирпичников уничтожал самую сокровенную природу веществ, ибо только живой электрон — частица материи, мертвый же принадлежит эфиру. Несколько предметов таким способом Кирпичников начисто превратил в эфир, в том числе и самопис Ваттермана, который он сначала «откормил».

Совокупность всех работ Кирпичникова указывает, какую титаническую силу созидания и истребления получило человечество в его изобретении.

По мнению Кирпичникова, благодаря постоянному снабжению земного шара эфиром, текущим из Солнца, Земля в целом постоянно увеличивается в своих размерах и в удельном весе своего вещества. Это обеспечивает прогресс человечества и подводит физический базис под исторический оптимизм.

Кирпичников говорит, что он в своем изобретении всецело скопировал деятельность Солнца по отношению к Земле и лишь ускорил его работу.

В связи с этими поражающими открытиями невольно приходят на память имена Ф. К. Попова, оставившего нам свой изумительный труд, и, наконец, отца изобретателя, странно и трагически погибшего инженера Михаила Кирпичникова».

Как музыка лилась работа у Кирпичникова, как любовь, он ощущал в себе страсть к неуловимому нежному телу — эфиру. Когда он писал пояснительную записку «О возможности и нормах дополнительного питания электронов», то чувствовал аппетит и его полные юношеские губы бессознательно смачивались слюной.

Корреспондентов газет он не принимал, обещая скоро выпустить небольшой труд информационного характера и публично продемонстрировать свои опыты.

Однажды Егор Кирпичников заснул у стола, но сразу проснулся. Была ночь — глубокая и неизвестная, как все ночи над живой Землей. Тот напряженный и тревожный час, когда, по стихам забытого поэта:

И по хребту электроволн
Плывущее внимание,
Как ночь в бульварном, мировом,
Таинственном романе.

В это время, когда человеку надо либо творчество, либо зачатье новой жизни, в дверь Егора постучали. Значит, пришел кто-то близкий или важный, кого впустила даже мать Егора, жестоко хранившая рабочий и трудный покой своего сына.

— Да! — сказал Егор и полуобернулся.

Вошла редкая гостья — Валентина Крохова, дочь инженера Крохова, друга и сотрудника отца Егора по работе в тундре, на вертикальном тоннеле. Валентине было двадцать лет — возраст, когда выносится решение: что же делать — полюбить ли одного человека или любовную силу обратить в страсть познания мира? Или, если жизнь в тебе так обильна, объять и то и другое?

Нам это непонятно, но тогда будет так. Наука стала жизненной физиологической страстью, такой же неизбежной у человека, как пол.

И эта раздвоенность неясного решения была выражена на лице Валентины Кроховой. Ищущая юность, жадные глаза, эластичная душа, не нашедшая центра своего тяготения и заключенная в оболочку пульсирующих мышц и бьющейся крови,— вот красота Валентины Кроховой. Нерешенность, бродяжничество мысли и неверные черты доверчивого лица — удивительная красота молодости человека.

— Ну, что скажешь мне, Валя? — спросил Егор.

— Да так кое-что! Ты все занят ведь! — ответила Валентина.

— Нет, не особенно: и занят, и нет! Живу как в бреду; сам еще не знаю, что у меня выйдет!

— Да уже вышло, Егор! Будет тебе скромничать!

— Не совсем, Валя, не совсем! Я открыл еще нечто такое, что сердце останавливается...

— Что это такое?? Про «эфирный тракт» все?

— Нет, это другое совсем. «Эфирный тракт» — пустяки!.. Как вселенная, Валя, родилась и рождается, как вещество начинает дышать в недрах хаоса, свободы и узкой неизбежности мира! Вот, Валя, где хорошо! Но я только чувствую, а ничего не знаю... Ну ладно! А где твой отец?

— Отец на Камчатке...

— Что, все эту несчастную планетку бурят? Черт, даже мне она надоела! Сколько лет ведь прошло, как она села с неба!..

— А когда, Егор, ты покажешь свой «эфирный тракт»?

— Да вот как-нибудь покажу. Сначала книжку напишу.

— А кому ты ее посвятишь?

— Отцу, конечно,— инженеру Михаилу Кирпичникову, страннику и электротехнику.

— Это очень хорошо, Егор! Чудесно, как в сказке,— страннику и электротехнику!

— Да, Валя, я забыл лицо отца. Помню, что он был молчаливый и рано вставал. Как странно он умер, ведь он почти открыл «эфирный тракт»!

— Да, Егор! И мать твоя старушкой стала!.. Может, ты проводишь меня немного? А то поздно, а ночь хорошая — я нарочно тихонько шла сюда.

— Провожу, Валя. Только недалеко, я хочу выспаться. Надо через два дня книжку в печать отдавать, а я только половину написал — не люблю писать, люблю что-нибудь существенное делать...

Они вышли в вестибюль, спустились в лифте и очутились на воздухе, в котором бродили усталые ночные теченья.

Егор и Валя шли под руку. В голове Егора струились неясные мысли, угасая, как ветры в диком и темном поле, зажигаясь от контакта с милой девушкой, такой человечной и женственной. Но Кирпичников изобретал не

одной головой, а также сердцем и кровью, поэтому Валентина в нем возбуждала только легкое чувство тоски. Силы в его сердце были мобилизованы на другое.

Москва засыпала. Невнятно и смутно шумели какие-то далекие машины. Бессонно стояла луна, маня человека к полету, странствию и глубокому вздоху в межпланетной бездне.

Егор пожал руку Вале, хотел ей что-то сказать — какое-то медленное и девственное слово, которое каждый человек говорит по разу в жизни, но ничего не сказал и молча пошел домой.

* * *

20 марта не так велики дни и кратки ночи, чтобы утренняя заря загорелась в час пополуночи. Так еще не бывало никогда, даже старики не помнят.

А однажды случилось так. Московские люди расходились по домам — кто из театра, кто с ночной работы на заводе, кто просто с затянувшейся беседы у друга.

В этот вечер в Большом зале Филармонии был концерт знаменитого пианиста Шахтмайера, родом из Вены. Его глубокая подводная музыка, полная того величественного и странного чувства, которое нельзя назвать ни скорбью, ни экстазом, потрясла слушателей. Молчаливо расходились люди из Филармонии, ужасаясь и радуясь новым и неизвестным недрам и высотам жизни, о которых рассказал Шахтмайер стихийным языком мелодии.

В Политехническом музее в половине первого кончился доклад Макса Валира, возвратившегося с полдороги на Луну. В ракете его конструкции обнаружился просчет; кроме того, среда между Землей и Луной оказалась совсем иной, чем о ней думали прежде, поэтому Валир вернулся обратно. Аудитория была взволнована до крайней степени докладом Валира и, заряженная волей и энтузиазмом великой попытки, со страшным шумом лавой растеклась по Москве. В этом отношении слушатели Валира и Шахтмайера резко отличались друг от друга.

А высоко над площадью Свердлова в этот миг засветилась синяя точка. Она в секунду удесятерилась в раз-

мерах и затем стала излучать из себя синюю спираль, тихо вращаясь и как будто разматывая клубок синего вязкого потока. Один луч медленно влекся к Земле, и было видно его содрогающееся движение, как будто он находил упорные встречные силы и, пронзая их, тормозил свой путь. Наконец столб синего, немерцающего, мертвого огня установился между Землей и бесконечностью, а синяя заря охватила все небо. И сразу ужаснуло всех, что исчезли все тени: все предметы поверхности Земли были окунуты в какую-то немую, но всепронзающую влагу — и не было ни от чего тени.

В первый раз с постройки города в Москве замолчали: кто говорил, тот оборвал свое слово, кто молчал, тот ничего не воскликнул. Всякое движение остановилось: кто ехал, тот забыл продолжать путь, кто стоял на месте, тот не вспомнил о цели, куда его влекло.

Тишина и синее мудрое сияние стояли одни над Землею, обнявшись.

И было так безмолвно, что казалось, звучала эта странная заря — монотонно и ласково, как пели сверчки в нашем детстве.

В весеннем воздухе каждый голос звонок и молод,— пронзительно и удивленно крикнул женский голос под колоннами Большого театра: чья-то душа не выдержала напряжения и сделала резкое движение, чтобы укрыться от этого очарования.

И сразу тронулась вся ночная Москва: шоферы нажали кнопки стартеров, пешеходы сделали по первому шагу, говорившие закричали, спящие проснулись и бросились на улицу, каждый взор обратился навзничь к небу, каждый мозг забился от возбуждения.

Но синяя заря начала угасать. Темнота заливала горизонты, спираль свертывалась, забираясь в глубину Млечного Пути, затем осталась яркая вращающаяся звезда, но и она таяла на живых глазах — и все исчезло, как беспамятное сновидение. Но каждый глаз, глядевший на небо, еще долго видел там синюю кружащуюся звезду,— а ее уже не было. По небу шел обычный звездный поток.

И всем стало отчего-то скучно, хотя никто почти не знал, в чем дело.

19

Утром в «Известиях» было помещено интервью с инженером Кирпичниковым.

«Объяснение ночной зари над миром.

С большим трудом наш корреспондент проник в Микробиологическую лабораторию имени профессора Маранда. Это произошло в четыре часа ночи, непосредственно после оптического явления в эфире. В лаборатории корреспондент застал спящего Г. М. Кирпичникова — известного инженера, конструктора приборов для размножения материи, открывшего так называемый «эфирный тракт».

Наш корреспондент не осмелился будить усталого изобретателя, однако обстановка лаборатории позволила увидеть все результаты ночного эксперимента.

Кроме приборов, необходимых для производства «эфирного тракта» и аккумуляции мертвых электронов, на столе изобретателя лежала старая, желтая рукопись. На открытой странице ее было написано: «Дело техников теперь разводить железо, золото и уголь, как скотоводы разводят свиней».

Кому принадлежат эти слова, корреспондентом пока не установлено.

Половину экспериментальной залы занимало блестящее тело. По рассмотрении это оказалось железом. Форма железного тела — почти правильный куб размером 10×10×10 метров. Непонятно, каким образом такое тело могло попасть в зал, так как существующие в нем окна и двери позволяют внести тело размером не больше половины указанных. Остается одно предположение — железо в зал ниоткуда не вносилось, а выращено в самой лаборатории. Эта достоверность подтверждена журналом экспериментов, лежавшим на том же столе, где и рукопись. Рукою Г. М. Кирпичникова там записаны размеры подопытного тела: «Мягкое железо размером 10×10×10 сантиметров — 1 час 25 минут, оптимальный вольтаж». Дальнейших записей в журнале не имеется. Таким образом, в течение двух-трех часов железо в объеме увеличилось в миллион раз. Такова сила эфирного питания электронов.

В зале стоял какой-то ровный и постоянный шум, на который наш корреспондент вначале не обратил внимания. Осветив зал, наш сотрудник обнаружил некое чудо-

вище, сидящее на полу близ железной массы. Рядом с неизвестным существом лежали сложные части разрушенного прибора, как бы пережженные вольтовой дугой. Животное издавало ровный стон. Корреспондент его сфотографировал (см. ниже). Наибольшая высота животного — метр. Наибольшая ширина — около половины метра. Цвет его тела — красно-желтый. Общая форма — овал. Органов зрения и слуха не обнаружено. Кверху поднята огромная пасть с черными зубами, длиною каждый по 3—4 сантиметра. Имеются четыре короткие (1/4 метра) мощные лапы с налившимися мускулами; в обхвате лапа имеет не менее полуметра; кончается лапа одним могущественным пальцем в форме эластичного сверкающего когтя. Животное стоит на толстом сильном хвосте, конец которого шевелится, сверкая тремя зубьями. Зубы в пасти имеют нарезку и вращаются в своих гнездах. Это странное и ужасное существо очень прочно сложено и производит впечатление живого куска металла.

Шум в лаборатории производил гул этого гада: вероятно, животное голодно. Это, несомненно, искусственно откормленный и выращенный Кирпичниковым электрон.

В заключение редакция поздравляет читателей и страну с новой победой научного гения и радуется, что эта победа выпала па долю молодого советского инженера.

Искусственное выращивание железа и вообще размножение вещества даст Советскому Союзу такие экономические и военные преимущества перед остальной, капиталистической частью мира, что если бы капитализм имел чувство эпохи и разум истории, он бы сдался социализму теперь же и без всяких условий. Но, к сожалению, империализм никогда не обладал такими ценными качествами.

Реввоенсоветом и ВСНХ Союза уже приняты соответствующие меры для обеспечения монопольного пользования государством изобретениями Г. М. Кирпичникова.

Г. М. Кирпичников — член партии и Исполбюро КИМа, и от него еще несколько месяцев назад правительством получено согласие на передачу всех своих открытий и конструкций в пользование государства, и притом безвозмездно. Правительство, конечно, целиком

и полностью обеспечит Г. М. Кирпичникову возможность дальнейшей работы.

Сегодня в 1 час дня Г. М. Кирпичников будет иметь свидание с Предсовнаркома Союза товарищем Чаплиным».

Вся Москва — этот новый Париж социалистического мира — пришла в исступление от такой заметки. Живой, страстный, общественный город весь очутился на улицах, в клубах, на лекциях — везде, где пахло хотя бы маленькими новыми сведениями о работах Кирпичникова.

День родился солнечным, снег подтаивал, и неимоверная надежда разрасталась в человеческой груди. По мере движения солнца к полуденному зениту все яснее в мозгу человека освещалось будущее, как радуга, как завоевание вселенной и как синяя бездна великой души, обнявшей стихию мира, как невесту.

Люди не находили слов от радости технической победы, и каждый в этот день был благороден.

Что может быть счастливее и тревожнее того дня, который служит кануном технической революции и неслыханного обогащения общества?

В «Вечерней Москве» появилось описание рабочего собрания завода «Генератор», где Егор Кирпичников отбывал свою двухлетнюю студенческую практику.

Кирпичников сделал доклад об открытии «эфирного тракта» и его промышленной эксплуатации в ближайшем будущем. Он начал с работ аюнитов в этом направлении, подробно остановился на трудах Ф. К. Попова, которого и следует считать изобретателем «эфирного тракта», затем изложил историю поисков своего отца и закончил кратким указанием на свою работу, завершающую труд всех предшественников.

20

Как в старину, женщины теперь носили накидки и длинные платья, закрывающие ноги и плечи. Любовь была редким чувством, но считалась признаком высокого интеллекта.

Девственность и женщин и мужчин стала социальной моралью, и литература того времени создала образцы нового человека, которому не знаком брак, но присуще высшее напряжение любви, утоляемое, однако, не сожи-

тельством, а либо научным творчеством, либо социальным зодчеством. Времена полового порока угасли в круге человечества, занятого устроением общества и природы.

Наступило новое лето. Егор Кирпичников устал от «эфирного тракта» и беспомощно затосковал по далеким и смутным явлениям, как это бывало с ним не раз.

Он снова убивал дни, скитаясь и наслаждаясь одиночеством, то в Останкине, то в Серебряном бору, то уезжая на Ладожское озеро, которое он так любил.

— Тебе, Егор, влюбиться надо! — говорили ему друзья.— Эх, напустить бы на тебя хорошую русскую девушку, у которой коса травой пахнет!..

— Оставьте! — отвечал Егор.— Я сам себя не знаю куда деть! Знаете, я никак не могу устать — работаю до утра, а слышу, что мозг скрежещет и спать не хочет!

— А ты женись! — советовали все-таки ему.

— Нет, когда полюблю прочно, в первый раз и на всю жизнь, тогда...

— Что тогда?

— Тогда... уйду странствовать и думать о любимой.

— Странный ты человек, Егор! От тебя каким-то старьем и романтизмом пахнет...

В мае был день рождения Валентины Кроховой. Валентина весь день читала Пушкина и плакала: ей сравнялось двадцать лет. Вечером она надела серое платье, поцеловала перстень на пальце — подарок отца — и стала ждать Егора с матерью и двух подруг. Она убрала стол. В комнате пахло жимолостью, полем и чистым телом человека.

Огромное окно было распахнуто, но видно в него одно небо и шевелящийся воздух на страшной высоте.

Пробило семь часов. Валентина села за рояль и сыграла несколько этюдов Шахтмайера и Метнера. Она не могла отделаться от своей сердечной тревоги и не знала, что ей делать — расплакаться или сжать зубы и не падеяться.

Весенняя природа волновалась страстью размножения и жаждала забвения жизни в любви. И в круг этих простых сил была включена Валентина Крохова и не могла от них отбиться. Ни разум, ни чужое страдание в поэмах и в музыке — ничто не помогло горю ее молодости. Ей нужен был поцелуй, а не философия и даже

не красота. Она привыкла честно мыслить и понимала это.

В восемь часов к ней постучали. Принесли телеграмму от Егора. В ней стояли странные, шутливые и жестокие слова, и притом в стихах, к которым Егор питал влечение с детства.

Дарю тебе луну на небе
И всю живую траву на земле,—
Я одинок и очень беден,
Но для тебя мне нечего жалеть.

Валентина не поняла, но к ней вошли веселые подруги.

В одиннадцать часов Валентина выпроводила подруг и пошла к Егору, зажженная темным отчаянием.

Ее встретила Мария Александровна. Егора дома не было уже вторые сутки. Валентина посмотрела на бланк телеграммы: она была подана из Петрозаводска.

— А я думала, он у вас будет сегодня вечером,— сказала Мария Александровна.

— Нет, его у меня не было...

И обе женщины молча сели, ревнуя друг к другу утраченного и томясь одинаковым горем.

21

В августе Мария Александровна получила письмо от Егора из Токио:

«Мама! Я счастлив и кое-что постиг. Конец моей работы близок. Только бродя по земле, под разными лучами солнца и над разными недрами, я способен думать. Я теперь понял отца. Нужны внешние силы для возбуждения мыслей. Эти силы рассеяны по земным дорогам, их надо искать и под них подставлять голову и тело, как под ливни. Ты знаешь, что я делаю и ищу — корень мира, почву вселенной, откуда она выросла. Из древних философских мечтаний это стало научной задачей дня. Надо же кому-нибудь это делать, и я взялся. Кроме того, ты знаешь мои живые мускулы, они требуют напряжения и усталости, иначе я бы затомился и убил себя. У отца тоже было это чувство; быть может, это болезнь, быть может, это дурная наследственность от предков — пеших бродяг и киевских богомольцев. Не ищи меня и не тоскуй — сделаю задуманное, тогда вернусь. Я думаю о тебе, ночуя в стогах сена и в куренях рыбаков. Я тос-

кую о тебе, но меня гонят вперед мои беспокойные ноги и моя тревожная голова. Быть может, верно, жизнь — порочный факт, и каждое дышащее существо — чудо и исключение. Тогда я удивляюсь еще больше, и мне хорошо думать о своей милой матери и беспокойном отце.

Егор».

1928—1930

ГОРОД ГРАДОВ

Мое сочинение скучно и терпеливо,
как жизнь, из которой оно сделано.
Ив. Шаронов, писатель конца XIX века

1

От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство — все эти князья Енгалычевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство.

Градов от Москвы лежит в пятистах верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Древневотчинная Градовская губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась Советская власть в губгороде, а в уездах — к концу осени.

Оно и понятно: в редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое: Евфимий — ветхопещерник, Петр — женоненавистник и Прохор — византиец; кроме того, здесь находились четыре целебных колодца с соленой водой и две лежачие старушки прорицательницы, живьем легшие в удобные гробы и кормившиеся там одной сметаной. В голодные годы эти старушки вылезли из гробов и стали мешочницами, а что они святые — все позабыли, до того суетливо жилось тогда.

Проезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения.

Город орошала речка Жмаевка — так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах было сухо, и дети не видели, что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока.

Вокруг города жили слободы: исконные градовцы называли слобожан нахальщиками, ибо слобожане бросали пахотное дело и стремились стать служилами-чиновниками, а в междуцарствие свое — пока им должностей не выходило — занимались чинкой сапог, смолокурством, перепродажей ржаного зерна и прочим незнатным занятием. Но в том была подоплека всей жизни Градова: слобожане наседали и отнимали у градовцев хлебные места в учреждениях, а градовцы обижались и отбивались от деревен-

ских охальников. Поэтому три раза в год — на троицу, в николин день и на крещенье — между городом и слободами происходили кулачные бои. Слобожане, кормленные густой пищей, всегда побивали градовцев, исчахших на казенных харчах.

Если подъезжать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то въедешь в город незаметно: все будут поля, потом пойдут хаты, сделанные из глины, соломы и плетня, потом предстанут храмы и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом.

— А где же город? — спросит приезжий человек.

— А вот он город и есть! — ответит ему возчик и укажет на тот же двухэтажный дом старинной стройки. На доме том висит вывеска: «Градовский губисполком».

На краю базарной площади стоят еще несколько домов казенного вечного образца — там тоже необходимые губернии учреждения.

Есть в Градове жилища и поприличней хат. Крыты они железом, на дворе имеют нужники, а с уличной стороны палисадники. У иных есть и садики, где растут вишня и яблоня. Вишня идет в настойку, а яблоко в мочку.

Живут в таких домах служащие люди и хлебные скупщики.

В летние вечера город наполняется плавающим колокольным звоном и трубным дымом поставленных самоваров.

Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Торговали по малости, без риска, но прочно сбивая хлеб насущный.

Героев город не имел, безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам.

А может, и были в Градове герои, только их перевела точная законность и надлежащие мероприятия.

Отсюда пошло то, что сколько ни давали денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не выходило.

В Москве руководители губернии говорили правительству, что хотя нельзя сказать точно, на что истрачены пять миллионов, отпущенные в прошлом году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен

быть — все-таки деньги истрачены в Градовской губернии, а не в чужом месте и как-нибудь скажутся.

— Может, пройдет десять годов,— говорил председатель Градовского губисполкома,— а у нас рожь начнет расти с оглоблю, а картошка в колесо. Вот тогда и видно будет, куда ушло пять миллионов рублей!

А было дело так. Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические работы отпустили пять миллионов рублей.

Восемь раз заседал президиум Градовского губисполкома: что делать с этими деньгами? Четыре месяца шло обсуждение серьезного вопроса.

В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип: помощь оказывать только тем крестьянам, у которых нет ни коровы, ни лошади, а наличный скот — не свыше двух овец и двадцати кур, включая петуха; остальным крестьянам, имеющим корову или лошадь, давать хлеб порциями, когда в теле есть научные признаки голода.

Научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал. Затем Градовским губисполкомом была детально разработана «Ведомость учета крестьянских хозяйств, на восстановление, укрепление и развитие коих может в некоторой степени повлиять частичный недород некоторых районов губернии».

Сверх натуральной кормежки решено было начать гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось, чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса.

Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет, и по одному доброму совету приняла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам-военнопленным, а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь сделать или яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух прочитал книгу, где говорится, как холоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном Грозным, чем убедил окончательно комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Следовательно, решила комиссия, средства, отпущенные губернии на борьбу с недородом, помогут «выявить, использовать,

учесть и в дальнейшем снова использовать внутренние умственные силы пролетариата и беднейших крестьян, тем самым гидротехнические работы в нашей губернии будут иметь косвенный культурный эффект».

Было построено шестьсот плотин и четыреста колодцев. Техников совсем не было, а может, было человека два. Не достояв до осени, плотины были смыты летними легкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими.

Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием «Импорт», начала строить железную дорогу длиною в десять верст. Железная дорога должна соединить «Импорт» с другой коммуной — «Вера, Надежда, Любовь». Денег «Импорт» имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое название, а член правления «Импорта», посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся.

Сверх того, на те же деньги десятником самочинно были построены восемь планеров для почтовой службы и перевозки сена и один вечный двигатель, действующий моченым песком.

2

В Градов Иван Федотович Шмаков ехал с четким заданием — врасти в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было тридцать пять лет, и славился он совестливостью перед законом и административным инстинктом, за что и был одобрен высоким госорганом и послан на ответственный пост.

Думал Шмаков как раз про то, что было ему известно про Градов. А известно ему было одно, что Градов — оскуделый город и люди живут там настолько бестолково, что даже чернозем травы не родит.

За два часа до Градова Шмаков вышел на попутной станции и, оглянувшись по сторонам, испуганно и наспех выпил водочки в буфете, зная, что Советская власть не любит водки. Особое чувство скуки и беспокойства охватило Шмакова, когда он шел по мрачным и бесприютным залам вокзала. В третьем классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели маломощные паровозы, готовясь к одолению скучных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни.

Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не по отечественной стране; каждый ел украдкой и соседу пищи не давал, но все-таки люди жались друг к другу, ища защиты на страшных путях сообщения.

Шмаков вошел в вагон и закурил. Поезд тронулся. Наспех выскочила баба с яблоками, запутавшись в сдаче пассажиру с гривенника.

Шмаков плюнул, раздражаясь от длительности пути, и сел. За окном проскакивали хижины какого-то городка и не спеша помахивала мельница ветхими крылами, тяжело меля грубое зерно.

Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу, и люди смеялись, торопя старика.

— А мордвин што?

— А мордвин богатый человек,— говорил старик,— мордвин угостил русского подобру и честь честью. Только русский говорит мордвину: «Я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову».

— А мордвин ему што?

— А мордвин ждет! Прошел год, еще год, а потом сразу два. Русский все не богатеет, а мордвин все ждет: когда русский к себе в гости позовет? Четыре года томился мордвин, а потом вспомнил про русского и пошел к нему в гости. Вот приходит в хату...

— К русскому?

— К русскому, то видно по рассказу. Русский схватил шапку с мордвина — то на один гвоздь ее повесит, то на другой, то на третий. «Што ты?» — спрашивает его мордвин. «Места тебе не найду»,— говорит русский. «Почет, значит?» — «Ну, почет, конечно». Сел мордвин за порожний стол и глядит, чего бы ухватить ему из пищи. Глядь, русский кувшин тащит. «Пей»,— говорит. Мордвин ухватился, думал — влага какая, а там вода. Попил мордвин. «Будя»,— говорит. «Пей,— говорит русский,— не обижай, пожалуйста!» Мордвин, конечно, человек уважительный,— пьет. Не успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает кувшин и потчует гостя. «Не обидь,— говорит,— угощайся, ради бога!» Выпил мордвин три ведра воды и пошел домой. «Хорошо угостил тебя русский?» — спрашивает мордвина жена. «Хорошо,— говорит мордвин,— спасибо, что вода была, а от водки я бы помер — три ведра выпил...»

Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рассказа старика. Увидев во сне кошмарное видение, что рельсы лежат не на земле, а на диаграмме и означают пунктир, то есть косвенное подчинение. Шмаков пробормотал что-то и проснулся. Старичок исчез, взяв свой мешок с продуктами, а на его месте сидел комсомолец и проповедовал:

— Религия должна караться по закону!

— Это через почему ж такое по закону-то? — злобно допытывался неизвестный человек, ранее рассказывавший о ценах на пшено в Саратове и Раненбурге.

— А вот почему! — говорил парень, равнодушно и старчески улыбаясь и явно жалея собеседников.— Я расскажу все последовательно! Потому что религия есть злоупотребление природой! Поняли? Дело ведь просто: солнце начинает нагревать навоз, сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Так и вся жизнь на земле произошла — очень просто...

— А я у вас извинения попрошу, товарищ коммунист,— робко выговорил все тот же неизвестный человек, что на пшено цену знал,— ежели ты навоз, допустим, на загнетку положишь, а печку затопишь, чтоб тепло и свет шли, то, по-вашему, вырастет трава из навоза аль нет?

— Ну да, вырастет! — ответил знающий парень.— Все равно — что печка, что солнце...

— И на лежанке можно? — хитрил неизвестный человек.

— Ясно, можно! — подтвердил комсомолец.

— А вы вот что нам скажите, гражданин коммунист,— хрипло обратился человек, ехавший в Козлов, на мясохладобойню,— правда, что Днепр перегородить хотят и Польшу затопить?

Комсомольский знаток разгорелся и сразу рассказал о Днепрострое все, что известно и неизвестно.

— Сурьезное дело! — дал свое заключение о Днепрострое козловский человек.— Только воду в Днепре не удержать!

— Это почему ж такое? — вступился тут Шмаков.

Козловец сумрачно поглядел на Шмакова: дескать, это еще что за моль тут встряла в разговор?

— А потому,— сказал он,— что вода — дело тяжкое, камень точит и железо скоблит, а советский материал — мягкая вещь!

«Он прав, сволочь! — подумал Шмаков.— У меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве покупал!»

Дальше Шмаков не слушал, заскорбев от дум и недоброкачественности жизни. Поезд гремел на крутом уклоне и скрежетал бессильными тормозами.

Печальный, молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожнем поле, где не было теперь никакого промысла. Одно окно в вагоне было открыто, и какие-то пешие люди кричали в поезд:

— Эй, сволочи!

Иногда встречные пастушонки просили:

— Брось газету! — Газета им требовалась на цигарки.

Комсомолец, раздобрев от своей осведомленности, побросал им всю наличную бумагу, и пастушонки ловили ее, не допуская до земли. Но Шмаков своей газеты не дал — в чужом городе всякий клок дорог.

— Градов! Кому до Градова? Первая остановка! — сказал проводник и начал выметать сор.— Насорили, идолы, как в поле! Штрафовать вас надо, да денег у вас нету! Бабка, прими ноги!

Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть.

«Вот оно, мое поселение»,— подумал Шмаков и оглядывал тихий вокзал и скромных людей, спешащих попасть в вагоны.

Несмотря на то что этот пункт был связан рельсами со всем миром — с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого океана,— никто туда не ездил: не было надобности. А если б кто поехал, то запутался бы в маршруте: народ тут жил бестолковый.

3

Вселился Шмаков в дом № 46 по Коркиной улице; дом был невелик, и жила в нем одна старушка, караульщица своего недвижимого имущества. Получала она за мужа пенсию одиннадцать рублей двадцать пять копеек в месяц и комнату сдавала за восемь рублей с ее топкой.

Сел за голый стол Иван Федотыч, поглядел на двор, где травы умирали, и ему сделалось скучно. Посидев, Иван Федотыч лег, а полежавши, встал и пошел еды купить.

Еще не закатилось сентябрьское солнце, а Иван Федотыч вернулся в пустоту своего жилища. Старушка вздыхала на кухне от перемены власти и трещала лучинками к самовару.

Иван Федотыч поел колбасы, а затем сел вырабатывать форму своей подписи на будущих бумагах. «Шмаков»,— написал Иван Федотыч. «Нет, не твердо»,— подумал он и вновь написал «Шмаков», но уже более бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подпись Ленина.

Затем долго раздумывал Иван Федотыч, ставить ему перед своей фамилией «Ив» — Иван — или не надо. Наконец решил поставить: могут обознаться и спутать с инородным человеком; хотя фамилия «Шмаков» — достаточно редкостная.

В восемь часов старушка перестала вздыхать и тихо засопела — уснула, стало быть. Потом проснулась и долго бормотала славянские молитвы.

Иван Федотыч задернул занавесочки, понюхал больной цветок на подоконнике и извлек из чемодана кожаную тетрадь. На коже было вырезано перочинным ножом заглавие рукописного труда:

«Записки государственного человека».

Открыв рукопись на сорок девятой странице, Иван Федотыч подчитал конец и, разогнавшись мыслью, начал продолжать:

«...Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он сделается мировым юридическим сочинением, а именно: я говорю, чиновник и прочее всякое должностное лицо — это ценнейший агент социалистической истории, это живая шпала под рельсами в социализм.

Служение социалистическому отечеству — это новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга.

Воистину в 1917 году в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка!

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть непременная принадлежность всякого государственного аппарата. Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

Бюрократ должен быть раздавлен и выжат из Советского государства, как кислота из лимона. Но не останется ли тогда в лимоне одно ветхое дерьмо, не дающее вкусу никакого достоинства...»

— Гады! — заорал кто-то у окна.— Испотрошу всякую сволочь, всякую баптистскую ересь..

И вдруг голос смилостивился и зазвучал милосердно:

— Друг, скажи по-матерному, по-церковнославянски! Ага, нельзя!.. Эх ты, гниденыш!

Шаги удалились, и пустынно застучал колотушечник, предупреждая грабеж.

Шмаков сначала насторожился, а потом поник в удручении от многочисленности хамства.

Одолев нравственную тревогу, он продолжал:

«Что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают доверие вместо документального порядка, то есть дают хищничество, ахипею и поэзию.

Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда. Всюду должен быть документ и надлежащий общий порядок.

Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника.

Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей цивилизации. Она предучитывает порочную породу людей и фактирует их действия в интересах общества.

Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии».

Часто бывало, что мысль Ивана Федотыча увлекалась сторонними соображениями во вред пользе. Вот и сейчас, пренебрегая временем, он задумался о сравнительной административной силе предуика и исправника. Затем он подумал о воде земного шара и решил, что лучше спустить все океаны и реки в подземные недра, чтобы была сухая территория. Тогда не будет беспокойства от дождей, а народ можно расселить просторнее. Воду будут сосать из глубины насосы, облака исчезнут, а в небе станет вечно гореть солнце, как видимый административный центр.

«Самый худший враг порядка и гармонии,— думал Шмаков,— это природа. Всегда в ней что-нибудь случается...

А что, если учредить для природы судебную власть и

карать ее за бесчинство? Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее — химически, так сказать!

Не согласятся,— вздохнул Шмаков,— беззаконники везде сидят!»

Потом он очнулся и продолжал работать:

«И как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами, и нравственность сделалась их привычкой.

Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благородства.

Подумать надо над этим, и крепко подумать. Я кончаю сегодняшнюю очередную запись, чтобы крепко подумать о бюрократии».

Тут Иван Федотыч встал и действительно задумался.

Так думал он о бюрократии долго, пока его не перебил собачий лай на ночной улице, и тогда он уснул, зря не потушив лампы.

На другой день Шмаков явился на службу — в губернское земельное управление, куда он назначен был заведовать подотделом. Явившись, он молча сел и начал листовать разумные бумаги. Сослуживцы дико смотрели на новое молчаливое начальство и, вздыхая, не спеша чертили какие-то длинные скрижали. Иван Федотыч постепенно входил в самое средоточие дел, но сразу усмотрел ущерб стройности и делопроизводственной логике.

Вечером, лежа на кровати, он раздумывал о своей новой службе. Круг обязанностей каждого сотрудника очерчен недостаточно четко, служащие суетятся с малой пользой, в бумагах запор смысла и скользкая бесплановая логика, в толчее и подотдельской тесноте сотрудники утратили самую цель своих трудов и исторический смысл своей службы.

Поев вчерашней колбасы, Шмаков сел писать доклад начальнику земуправления:

«О соподчинении служащих внутри вверенного мне подотдела в целях рационализации руководимой мною области сельскохозяйственных мероприятий...»

Трактат свой Иван Федотыч кончил поздней ночью — за полночь.

Утром хозяйка сжалилась над одиноким человеком и дала Ивану Федотычу бесплатно чай. Ночью она слышала, как у спящего Шмакова рычала и резко тресκалась сухая пища в животе.

Иван Федотыч принял чай без всякого одобрения и без интереса прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях,— не говоря про дальние, что в лесистой стороне,— до сей поры весной в новолунье и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер.

«Холуйство! — подумал Иван Федотыч, послушав старуху.— Только живая сила государства — служилый, должный народ способен упорядочить это мракобесие».

Идя на службу, Иван Федотыч чувствовал легкость желудка от горячего чая старухи и покой мысли от убежденности в благотворном государственном начале.

На службе Ивану Федотычу дали дело о наделении землей потомков некой Алены, которая была предводительницей мятежных отрядов поцепского края в XVIII столетии и которую сожгли за чародейные дела в срубе в городе Кадоме.

«Ездили они, отцы наши, воровские казаки,— читал в деле Шмаков,— по уездам, рубили помещиков и вотчинников, за которыми были крестьяне, а черных людей, крестьян и боярских людей и иных служилых никого не рубили и не грабили».

Дело о землеустройстве потомков Алены тянулось уже пятый год. Теперь пришла новая бумага от них с резолюцией начальника учреждения:

«Тов. Шмакову. Реши это дело, пожалуйста, окончательно. Пятый год идет волокита о семи десятинах. Доложи мне срочно по сему».

Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить трояко, о чем и написал особую докладную записку начальнику учреждения, не предрешая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций. В конце записки он вставил собственное изречение, что волокита есть умственное коллективное вырабатывание социальной истины; а не порок. Управившись с Аленой, Шмаков углубился в поселок Гора-Горушку, который жил на песках, а на лучшие земли не выходил. Оказалось, что поселок жил тихим хищничеством с железной

дороги, которая проходила в двух верстах. Поселку давали и деньги, и агрономов, а он сидел на песке и жил неведомо чем.

Шмаков написал на этом деле резолюцию:

«Гору-Горушку считать вольным поселением, по примеру немецкого города́ Гамбурга, а жителей — транспортными хищниками; земли же надлежит у них изъять и передать в трудовое пользование».

Далее попалось заявление жителей хутора Девьи Дубравы о необходимости присылки им аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время. К заявлению прилагалась вырезка из газеты «Градовские известия», которая обнадежила девьедубравцев.

«Пролетарский Илья Пророк.

Ленинградский советский ученый профессор Мартенсен изобрел аэропланы, самопроизвольно льющие дождь на землю и делающие над пашней облака. Будущим летом предположено испытать эти аэропланы в крестьянских условиях. Аэропланы действуют посредством наэлектризованного песка».

Изучив все тексты сего дела, Шмаков положил свое заключение:

«Ввиду сыпящегося из аэроплана песка, чем уменьшается добротность пахотных почв, признать отпуск аэроплана хутору Девьи Дубравы пока преждевременным, о чем и уведомить просителей».

Остаток трудового дня Шмаков истратил целиком и полностью на заполнение форм учета учетной работы, наслаждаясь графами и терминами государственного точного языка.

На пятый день службы Шмаков познакомился с заведующим административно-финансовым отделом земельного управления Степаном Ермиловичем Бормотовым.

Бормотов принял Шмакова спокойно, как чуждое интересам дела явление.

— Товарищ Бормотов,— обратился Шмаков,— у нас дело стоит: вы почту приказали отправлять два раза в месяц оказиями.

Бормотов молчал и подписывал ассигновки.

— Товарищ Бормотов,— повторил Иван Федотыч,— у меня тут срочные бумажки, а отправлять почту будут через неделю чохом...

Бормотов нажал кнопку звонка, не глядя на Шмакова.

Вошел испуганный пожилой человек и прищурился на Бормотова с почтительным и усиленным вниманием.

— Отнеси это в ремесленную управу,— сказал Бормотов человеку.— Да позови мне какую-нибудь балерину из переписчиц.

Человек не осмелился ничего сказать и ушел.

Вошла машинистка.

— Соня,— сказал ей Бормотов, не взирая на нее, а узнав по запаху и иным косвенным признакам.— Соня! Ты оперплан не переписала еще?

— Переписала, Степан Ермилыч! — ответила Соня.— Это операционный план? Ах, нет, не переписала!

— Ну вот, ты спроси сначала, а потом отвечай, а то — переписала!

— Вы про операционный спрашиваете, Степан Ермилыч?

— Ну да, не про опереточный! Оперплан и есть оперплан!

— Ах, я его сейчас только вдела в машинку!

— Вдела и держи там! — ответил Степан Ермилыч.

Тут Бормотов кончил подписывать ассигновки и заметил Шмакова.

Бормотов выслушал и ответил:

— А как же в Вавилоне акведуки строили? Хорошо ведь строили? Хорошо! Прочно? Прочно! А почта ведь там раз в полгода отправлялась, а не чаще! Что теперь мне скажешь? — Бормотов знающе улыбнулся и принялся подписывать подтверждения и напоминания.

Шмаков сразу утих от такого резона Бормотова и недоуменно вышел. По дороге он дышал воздухом старой деловой бумаги и думал о том, что значит ремесленная управа, которую упомянул Бормотов. Думал Шмаков и еще кое о чем, но о чем — неизвестно.

В дверях административно-финансового отдела спорили два человека. Каждый из них был особенный: один — утлый, истощенный и несчастный, пьющий водку после получки, другой — полный благотворности жизни от сытой пищи и внутреннего порядка. Первый, тощий, свирепо убеждал второго, что это глина, держа в руке какой-то комочек. Другой, напротив, стоял за то, что это песчаный грунт, и удовлетворялся этим.

— А почему? Ну почему песок? — пытал его тощий.

— А потому, что сыплется,— резонно говорил тот, что поспокойнее.— Потому, что мукой пылит. Ты дунь!

Тощий дунул — и что-то вышло.

— Ну? — спросил утлый человек.

— Что ну? — сказал плотный.— Сыплется,— значит, песок!

— А ты плюнь,— догадался тощий.

Его недруг взял в свои руки комок неведомого грунта и смачно харкнул, уверенный в неразмочимой природе песка.

— Ну? — торжественно возгласил тощий.— Помни́ теперь!

Тот помял и сразу согласился, чтобы не ру́шить равновесия чувств.

— Глина! Мажется. Дребедень!..

Шмаков прослушал беседу друзей и, достигнув своего стола, сейчас же сел писать доклад начальнику́ управления «О необходимости усиления внутренней дисциплины во вверенном Вам управлении, дабы пресечь неявный саботаж».

Но вскоре саботаж явился перед Шмаковым как узаконенное явление. Во вверенном Шмакову подотделе сидело сорок два человека, а работы было на пятерых; тогда Шмаков, испугавшись, донес рапортом кому следовало о необходимости сократить штат на тридцать семь единиц.

Но его вызвали сейчас же в местком и там заявили, что это недопустимо — профсоюз не позволит самодурствовать.

— А чего ж они будут делать? — спросил Шмаков.— Им дела у нас нет!

— А пускай копаются,— сказал профсоюзник,— дай им старые архивы листовать, тебе-то што?

— А зачем их листовать? — допытывался Шмаков.

— А чтоб для истории материал в систематическом порядке лежал! — пояснил профработник.

— Верно ведь! — согласился Шмаков и успокоился, но все же донес по начальству, чтобы на душе покойнее было.

— Эх ты, жамка! — сказал впоследствии Шмакову его начальник.— Профтрепача послушал,— ты работай, как гепеус, вот где умные люди!

Раз подходит к Шмакову секретарь управления и угощает его рассыпными папиросами.

— Покушайте, Иван Федотович! Новые: пять копеек сорок штук, градовского производства. Под названием «Красный инок», вот на мундштучке значится — инвалиды делают!

Шмаков взял папиросу, хотя почти не курил из экономии, только дарственным табаком баловался.

Секретарь приник к Шмакову и пошептал вопрос:

— Вот вы из Москвы, Иван Федотович! Правда, что туда сорок вагонов в день мацы приходит, и то будто не хватает? Нюжли верно?

— Нет, Гаврил Гаврилович,— успокоил его Шмаков,— должно быть, меньше. Маца непитательна — еврей любит жирную пищу, а мацу он в наказанье ест.

— Вот именно, я ж и говорю, Иван Федотович, а они не верят!

— Кто не верит?

— Да никто: ни Степан Ермилович, ни Петр Петрович, ни Алексей Палыч — никто не верит!

4

А меж тем сквозь время настигла Градов печальная мягкая зима. Сослуживцы сходились по вечерам пить чай, но беседы их не отходили от обсуждения служебных обязанностей: даже на частной квартире, вдали от начальства, они чувствовали себя служащими государства и обсуждали казенные дела. Попав раз на такой чай, Иван Федотыч с удовольствием установил непрерывный и сердечный интерес к делопроизводству у всех сотрудников земельного управления.

Желчь дешевого табака, шелест бумаги, запечатлевшей истину, покойный ход очередных дел, шествующих в общем порядке,— эти явления заменяли сослуживцам воздух природы.

Канцелярия стала их милым ландшафтом. Серый покой тихой комнаты, наполненной умственными тружениками, был для них уютней девственной натуры. За огорожами стен они чувствовали себя в безопасности от диких стихий неупорядоченного мира и, множа писчие документы, сознавали, что множат порядок и гармонию в нелепом, неудостоверенном мире.

Ни солнца, ни любви, ни иного порочного явления они не признавали, предпочитая письменные факты. Кроме того, ни любовь, ни учет деятельности солнца в прямой круг делопроизводства не входили.

Однажды в темный вечер, когда капала неурочная вода — был уже декабрь — и хлопал мокрый снег, по улицам Градова спешил возбужденный Шмаков.

Предназначалась сегодня пирушка — по три рубля с души — в честь двадцатипятилетия службы Бормотова в госорганах.

Шмаков кипел благородством невысказанных открытий. Он хотел выступить перед Бормотовым и прочими на свою сокровенную тему «Советизация как начало гармонизации вселенной». Именно так он хотел переименовать свои «Записки государственного человека».

Градов еще не спал, потому что шел восьмой час вечера. Злились от скуки собаки на каждом дворе. Замечательно — потому что он был один — горел вдалеке электрический фонарь. Небо было так низко, тьма так густа, а город столь тих, невелик и явно благоправен, что почти не имелось никакой природы на первый взгляд, да и нужды в ней не было.

Проходя мимо пожарной каланчи, Шмаков слышал, как вздыхал наверху одинокий пожарный, томясь созерцанием.

«А все-таки он не спит,— с удовольствием гражданина подумал Иван Федотыч,— значит, долг есть! Хотя пожаров тут быть не может: все люди осторожны и порядочны!»

На вечер, в условный дом вдовы Жамовой, сдавшей помещение за два рубля, Шмаков пришел первым. Вдова его встретила без приветливости, как будто Шмаков был самый голодный и пришел захватить еду.

Иван Федотыч сел и затих. Отношений к людям, кроме служебных, он не знал. Если бы он женился, его жена стала бы несчастным человеком. Но Шмаков уклонялся от брака и не усложнял историю потомством. Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг. Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение — радостное, как сладострастие, он любил служебное дело настолько, что дорожил даже крошками неизвестного происхождения, затерянными в ящиках его письменного стола, как неким царством покорности и тщетности.

Вторым явился Степан Ермилович Бормотов. Он держался не как именинник, а как распорядитель.

— Марфуша,— обратился он к Жамовой,— ты бы половичок в передней постелила! Ноги могут быть нечисты, калоши людям не по бюджету, а у тебя все-таки горница, а не кабак!

— Сейчас, Степан Ермилыч, сейчас постелю! А вы

проходите — я вам престольное место приготовила. Выше вас чина ведь не будет?

— Да не должно быть, Марфа Егоровна, не должно! — И Степан Ермилович сел в лучшее кресло старинного устройства.

Чуя, что Степан Ермилович уже на месте, быстро стали подходить другие гости. Пришли четыре деловода, три счетовода, два заведующих личными столами, два бухгалтера, три заведующих подотделами, машинистка Соня и заведующий местной черепичной мастерской — старинный приятель Бормотова по земской службе — гражданин Родных. Этими людьми мир Бормотова замкнулся в своих горизонтах и плановых перспективах, и началось чаепитие.

Чай пили молча и с удовольствием, разогревая им настроение. Марфа Жамова стояла за спиной Бормотова и меняла ему пустые стаканы, сластя чай желтым экономическим песком, купленным в кооперативе как брак.

Степан Ермилович Бормотов сидел с сознанием чести. Почтительный разговор не выходил из круга служебных тем. Поминались лихие случаи задержки распоряжений губисполкома,— и в голосе говорившего чувствовался страх и скрытая радость избавления от ответственности.

Выплыло событие об исчезновении Градовской губернии. Центр вдруг перестал присылать циркуляры. Тогда Бормотов добровольно поехал дешевым поездом в Москву выяснять положение. Денег ему дали мало — не пришли из Москвы кредиты, а отпустили пышек из инвалидной пекарни и выписали удостоверение о командировке. В Москве Бормотов узнал, что Градов хотят передать в область и в областной же город передали поэтому все градовские кредиты.

А областной город отказывался от Градова:

«Город не пролетарский, говорят, на черт он нам сдался!»

Так и повис Градов без государственного причалу. После своего возвращения Бормотов собрал на своей квартире старожилов и хотел объявить в Градовской губернии автономную национальную республику, потому что в губернии жили пятьсот татар и штук сто евреев.

— Не республика мне была нужна,— объяснял Бормотов,— я не нацменьшой, а непрерывное государственное начало и сохранение преемственности в делопроизводстве.

Шмаков тлел возбуждением и шумел переполненным сердцем, но молчал до поры и тер свои писцовые руки.

Много еще случаев помянули присутствующие. История текла над их головами, а они сидели в родном городе, прижукнувшись, и наблюдали, усмехаясь, за тем, что течет. Усмехались они потому, что были уверены, что то, что течет, потечет-потечет и — остановится. Еще давно Бормотов сказал, что в мире не только все течет, но и все останавливается. И тогда, быть может, вновь зазвонят колокола. Бормотов, как считающий себя советским человеком, да и другие не жалели, конечно, звона колоколов, но для порядка и внушения массам единого идеологического начала и колокола не плохи. А звон в государственной глуши, несомненно, хорош, хотя бы с поэтической точки зрения, ибо в хорошем государстве и поэзия лежит на предназначенном ей месте, а не поет бесполезные песни.

Незаметно чай кончился, самовар заглох. Марфа осунулась и села в уголок, устав угождать. Только за чай заступилась русская горькая.

— Вот, граждане,— сказал счетовод Смачнев,— я откровенно скажу, что одно у меня утешенье — водка!.. Ничто меня не берет — ни музыка, ни пение, ни вера,— а водка меня берет! Значит, душа у меня такая твердая, только ядовитое вещество она одобряет... Ничего духовного я не признаю, то — буржуазный обман...

Смачнев, несомненно, был пессимист и в общем и целом перегнул палку.

Но действительно, что только водка разморозила сознание присутствующих и дала теплую энергию их сердцам.

Первым, по положению, встал Бормотов.

— Граждане! Служил я в разных местах. Я пережил восемнадцать председателей губисполкома, двадцать шесть секретарей и двенадцать начальников земуправлений. Одних управделами ГИК при мне сменилось десять человек! А чиновников особых поручений — как их, личных секретарей, председателей — целых тридцать штук прошло... Я страдалец, друзья, душа моя горька, и ничто ее не растрогает... Всю жизнь я спасал Градовскую губернию. Один председатель хотел превратить сухую территорию губернии в море, а хлебопашцев в рыбаков. Другой задумал пробить глубокую дырку в земле, чтобы оттуда жидкое золото наружу вылилось, и техника заставлял меня сыскать для такого дела. А третий все автомобили

покупал, для того чтобы подходящую систему для губернии навеки установить. Видали, что значит служба? И я должен всему благожелательно улыбаться, терзая свой здравый смысл, а также истребляя порядок, установленный существом дела! И более того — ремесленная управа, то есть губпрофсовет, однажды исключила меня из союза рабземлеса за то, что я назвал членские взносы налогом в пользу служащих профессиональных союзов. Но, однако, членом союза я остался — иначе и быть не могло. Ремесленной управе невыгодно лишаться плательщика налога, а об остальном постаралось мое начальство — без меня ему бы делать нечего было!

Бормотов хлебнул пивца для голоса, оглядел подведомственное собрание и спросил:

— А? Не слышу?

Собрание молчало, истребляя корм.

— Ваня! — обратился Бормотов к человеку, мешавшему пиво с водкой.— Ваня! Закрой, дружок, форточку! Время еще раннее, всякий народ мимо шляется... Так вот, я и говорю, что такое губком? А я вам скажу: секретарь — это архирей, а губком — епархия! Верно ведь? И епархия мудрая и серьезная, потому что религия пошла новая и посерьезней православной. Теперь на собрание — ко всенощной — попробуй не сходи! Давайте, скажут, ваш билетик, мы отметочку там сделаем! Отметочки четыре будет, тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет! Так-то! А я про себя скажу: кто в епархии делопроизводство поставил? Я! Кто контрольную палату — РКИ, скажем, или казначейство — губфо наше — на ноги поставил и людей так делом занял? Кто? А кто всякие карточки, ноты и прочую антисанитарию истребил в канцеляриях? Ну, кто?..

Без Бормотова, друзья,— сказал Степан Ермилович со слезами на глазах,— не было бы в Градове учреждений и канцелярий, не уцелела бы Советская власть и не сохранилось бы деловой родственности от старого времени, без чего нельзя нам жить! Я первый, кто сел за стол и взял казенную вставочку, не сказав ни одной речи!

Вот, милые мои, где держится центр власти и милость разума! Мне бы царем быть на всемирной территории, а не заведовать охраной материнства и младенчества своих машинисток или опекать лень деловодов!..

Тут Бормотов захлестнулся своими словами и сел, уставившись в пищу на столе. Собрание шумело одобре-

нием и питалось колбасой, сдерживая ею стихию благородных чувств. Водка расходовалась медленно и планомерно, вкруговую и в общем порядке, оттого и настроение участников ползло вверх не скачками, а прочно, по гармонической кривой, как на диаграмме.

Наконец встал счетовод Пехов и спел, поверх разговоров, песнь о диком кургане. Счетоводство — нация артистов, и нет ни одного счетовода или бухгалтера, который бы не смотрел на свою профессию как на временное и бросовое дело, почитая своим исконным призванием искусство — пение, а изредка — скрипку или гитару. Менее благородный инструмент счетоводы не терпели.

За Пеховым, так же молча и без предупреждения, встал бухгалтер Десущий, он славился своей корректностью и культурностью в областях искусства и полным запустением своих бухгалтерских дел.

Приподнялся и постучал вилкой о необходимости молчания заведующий подотделом землеустройства Рванников.

— Любимые братья в революции! — начал раздобревший от горькой Рванников.— Что привело вас сюда, не щадя ночи? Что собрало вас, не сожалея симпатий? Он — Степан Ермилович Бормотов — слава и административный мозг нашего учреждения, революционный наставник порядка и государственности великой неземлеустроенной территории нашей губернии!

И пусть он не кивает там мудрой головой, а пьет рябиновую златыми устами, если я скажу, что нет ему равных среди людского остальца после революции! Вот действительно человек дореволюционного качества!

Граждане советские служащие! — проревел в заключение Рванников.— Приглашаю вас выпить за двадцатипятилетие Степана Ермиловича Бормотова, истинного зиждителя территории нашей губернии, еще подлежащей быть устроенной такими людьми, как наш славный и премудрый юбиляр!..

Все вскочили с места и пошли с рюмками к Бормотову.

Плача и торжествуя, Бормотов всех перецеловал,— этого момента он только и ждал весь вечер, сладко томя честолюбие.

Тогда не выдержал Шмаков, и, встав на стул, произнес животрепещущую речь — длинную цитату из своих «Записок государственного человека».

— Граждане! Разрешите поговорить на злобу дня!

— Разрешаем! — сказало коллективно собрание.— Говори, Шмаков! Только режь экономию: кратко и не голословно, а по кровному существу!

— Граждане,— обнаглел Шмаков,— сейчас идет так называемая война с бюрократами. А кто такой Степан Ермилович Бормотов? Бюрократ или нет? Бюрократ положительно! И да будет то ему в честь, а не в хулу или осуждение! Без бюрократии, уважаемые ратники государства, не удержаться бы советскому государству и часа — к этому я дошел долгою мыслью... Кроме того... (Шмаков начал путаться, голова его сразу вся выпотрошилась — куда что девалось). Кроме того, дорогие соратники...

— Мы не ратники,— прогудел кто-то,— мы рыцари!

— Рыцари умственного поля! — схватил лозунг Шмаков.— Я вам сейчас открою тайну нашего века!

— Ну-ну! — одобрило собрание.— Открой его, черта!

— А вот сейчас,— обрадовался Шмаков.— Кто мы такие? Мы за-ме-ст-и-те-л-и пролетариев! Стало быть, к примеру, я есть заместитель революционера и хозяина! Чувствуете мудрость? Все замещено! Все стало подложным! Все не настоящее, а суррогат! Были сливки, а стал маргарин: вкусен, а не питателен! Чувствуете, граждане?.. Поэтому-то так называемый, всеми злоумышленниками и глупцами поносимый бюрократ есть как раз зодчий грядущего членораздельного социалистического мира.

Шмаков сел и достойно выпил пива — среднего непорочного напитка; высшей крепости он не пил.

Но тут встал Обрубаев... Его заело; он озлобился и приготовился быть на посту. Пост его был видный — кандидат ВКП(б); но такое состояние Обрубаева службе не помогало, он был и остался делопроизводителем с окладом в двадцать восемь рублей ежемесячно, по шестому разряду тарифной сетки при соотношении 1 : 8.

— Уважаемые товарищи и сослуживцы! — сказал Обрубаев, доев что-то.— Я не понимаю ни товарища Бормотова, ни товарища Шмакова! Каким образом это допустимо! Налицо определенная директива ЦКК — борьба с бюрократизмом. Налицо — наименования советских учреждений девятилетней давности. А тут говорят, что бюрократ — как его? — зодчий и вроде кормилец. Тут говорят, что губком — епархия, что губпрофсовет — ремесленная управа и так далее. Что это такое? Это пере-

гиб палки, констатирую я. Это затмение основной директивы по линии партии, данной всерьез и надолго. И вообще в целом я высказываю свое особое мнение по затронутым предыдущими ораторами вопросам, а также осуждаю товарищей Шмакова и Бормотова. Я кончил.

— Закон-с, товарищ Обрубаев! — сказал тихо, вразумляюще, но сочувственно Бормотов.— Закон-с! Уничтожьте бюрократизм — станет беззаконие! Бюрократизм есть исполнение предписаний закона. Ничего не поделаешь, товарищ Обрубаев, закон-с!

— А если я губкому сообщу, товарищ Бормотов, или в РКИ? — мрачно сказал Обрубаев, закуривая для демонстрации папиросу «Пушку».

— А где у вас документики, товарищ Обрубаев? — спросил Бормотов.— Разве кто вел протокол настоящего собрания? Вы ведь, Соня, ничего не записывали? — обратился Бормотов к единственной здесь машинистке, особо чтимой в земуправлении.

— Нет, Степан Ермилыч, я не записывала; вы ничего не сказали мне, а то бы я записала,— ответила хмельная, блаженная Соня.

— Вот-с, товарищ Обрубаев,— мудро и спокойно улыбнулся Бормотов.— Нет документа, и нет, стало быть, самого факта! А вы говорите — борьба с бюрократизмом! А был бы протокольчик, вы бы нас укатали в какую-нибудь гепею и рекаю! Закон-с, товарищ Обрубаев, закон-с! .

— А живые свидетели! — воскликнул зачумленный Обрубаев.

— Свидетели пьяные, товарищ Обрубаев. Во-первых. А во-вторых, они, так сказать, масса, существа наших разногласий не поняли и понять не могли, и дело мое наверняка пойдет к прекращению. А в-третьих, товарищ Обрубаев, выносит ли дисциплинированный партиец внутрипартийные разногласия на обсуждение широкой массы, к тому же мелкобуржуазной,— попытаю я вас? А? Выпьем, товарищ Обрубаев, там видно будет... Соня, ты не спишь там? Угощай товарища Обрубаева, займись чистописанием... Десущий, крякни что-нибудь подушевней.

Десущий сладко запел, круто выводя густые ноты странной песни, в которой говорилось о страдальце, жаждущем только арфы золотой. Затем делопроизводитель Мышаев взял балалайку: я, говорит, хоть и кустарь в

искусстве, но побрякаю! И он быстро залепетал пальцами, выбивая лихой такт веселящегося тела.

Бормотов прикинулся благодушным человеком, сощурил противоречивые утомленные глаза и, истощенный повседневной дипломатической работой, вдарился бессмысленно плясать, насилуя свои мученические ноги и веселя равнодушное сердце.

Шмакову стало жаль его, жаль тружеников на ниве всемирной государственности, и он заплакал навзрыд, уткнувшись во что-то соленое.

5

А утром Градов горел; сгорели пять домов и одна пекарня. Загорелось, как говорят, с пекарни, но пекарь уверял, что он окурки всегда бросает в тесто, а не на пол, тесто же не горит, а шипит и гасит огонь. Жители поверили, и пекарь остался печь хлебы.

Далее жизнь шла в общем порядке и согласно постановлениям Градовского губисполкома, которые испуганно изучались гражданами. В отрывных календарях граждане метили свои беспрерывные обязанности. Со сладостью в душе установил это Шмаков в бытность на именинах у одного столоначальника, по прозвищу Чалый. В листках календаря значилось что-нибудь почти ежедневно, а именно:

«Явиться на переучет в терокруг — моя буква Ч, подать на службе рапорт о неявке по законной причине».

«В 7 часов перевыборы горсовета — кандидат Махин, выдвинут ячейкой, голосовать единогласно».

«Сходить в ком. отд.— отнести деньги за воду, последний срок, а то пеня».

«Подать сведения горсанкомиссии о состоянии двора,— штраф, см. постановление ГИКа».

«Собрание жилтоварищества о забронировании сарая под нужник».

«Протестовать против Чемберлена,— в случае чего стать, как один, под ружье».

«Зайти вечером постоять в красном уголке, а то сочтут отступником».

«Именины супруги сочетать с режимом экономии и производственным эффектом. Пригласить наш малый совнарком».

«Узнать у Марфы Ильиничны, как варить малиновый узвар».

«Справиться в загсе, как переменить прозвище Чалый на официальную фамилию Благовещенский, а также имя Фрол на Теодор».

«Переморить клопов и проверить лицевой счет жены».

«Суббота — открыто заявить столоначальнику, что иду ко всенощной, в бога не верю, а хожу из-за хора, а была бы у нас приличная опера, ни за что не пошел бы».

«Попросить у сослуживцев лампадного масла. Нигде нет, и все вышло. Будто для смазки будильника».

«Отложить 366-ю бутылку для вишневой настойки. Этот год високосный».

«Сушить сухари впрок — весной будет с кем-то война».

«Не забыть составить 25-летний перспективный план народного хозяйства; осталось 2 дня».

Каждый день был занят.

Не в первый раз и не во второй, а в более многократный констатировал Шмаков то знаменательное явление, что времени у человека для так называемой личной жизни не остается — она заменилась государственной и общеполезной деятельностью. Государство стало душою. А то и надобно, в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной эпохи!

— А как, товарищ Чалый, существует в вашей губернии точный план строительства?

— Как же-с, как же-с! В десятилетний план сто элеваторов включено: по десяти в год будем строить, затем-с двадцать штук мясохладобоен и пятнадцать фабрик валяной обуви... А сверх того, водяной канал в земле до Каспийского моря рыть будем, чтобы персидским купцам повадно стало торговать с градовскими госорганами.

— Вон оно как! — дал заключение Шмаков.— Курс значительный! Ну, а денег сколько же вам потребно на эти солидные мероприятия?

— Денег надо множество,— сообщил Чалый второстепенным тоном.— Того не менее, как миллиарда три, сиречь по триста миллионов в год.

— Ого,— сказал Шмаков,— сумма почтительная! А кто же даст вам эти деньги?

— Главное — план! — ответил Чалый.— А уж по плану деньги дадут...

— Это верно! — согласился Шмаков.

Вопрос получил надлежащее уточнение.

6

И жил Шмаков в Градове уже без малого год. Жизнь для него выдалась подходящая: все шло в общем порядке и по закону. Лицо его было беззаботным, пожилым и равнодушным, как у актера в забвенной игре. Труд его жизни — «Записки государственного человека» — подбивался к концу. Шмаков обдумывал лишь заключительные аккорды его.

Как и всюду по республике, над Градовом ночью солнце не светило, зато отсвечивало на чужих звездах.

Прогуливаясь для укрепления здоровья и поглядывая на них, Шмаков нашел однажды заключительный аккорд для своего труда:

«В сердце моем дышит орел, а в голове сияет звезда гармонии».

Придя домой и завершив рукописный труд, Шмаков до раннего утра сидел за ним, увлекшись чтением своего сочинения.

«...Стоит ли,— читал он середину,— измышлять изобретения, раз мир диалектичен, сиречь для всякого героя есть своя стерва. Не стоит!

И тому пример: в Градове пять лет тому назад, и двадцать лет обратно, было всего две пишущие машинки (обе системы «ройяль», т. е. король), а теперь их близко сорока штук, не обращая внимания на системы.

Но увеличился ли от этого социальный прок? Нисколько! А именно: сидели ранее писцы за бумагой, снабженные гусиными перьями, и писали. Затупится перо или засквозится от переусердия, писец его начинает зачинивать; сам зачинивает, а сам на часы смотрит. Глядь, время уже истекло, и пора идти в собственный деревянный домик, где его ждала как-никак пища и уют порядка, высшим образом обеспеченный государственным строем.

И ничего не нарушалось от течения дел рукописным порядком. Ничто не спешило, а все поспевало.

А теперь что? Барышне попудриться не успеть, как втыкают ей новое черновое произведение...

Да и то видно: как появляется человек, так и бумага около него заводится, и не малая грудка. А что, если лишнего человека не заводить! Может, и бумаге завестись будет неоткуда?..»

Тут Иван Федотыч вздохнул и задумался:

«Не пора ли отправиться в глухой скит, чтобы даль-

ше не скорбеть над болящим миром? Но так будет бессовестно.

Хотя оправданием такого поступка может послужить то, что мир официально никем не учрежден и, стало быть, юридически не существует. А если бы и был учрежден и имел устав и удостоверение, то и этим документам верить нельзя, так как они выдаются на основании заявления, а заявление подписывается «подателем сего», а какая может быть вера последнему? Кто удостоверит самого «подателя», прежде чем он подаст заявление о себе?»

Почувствовав изжогу в желудке и отчаяние в сердце, Иван Федотыч сходил на кухню попить водицы и посмотреть, кто там пищит все время.

Возвратившись, он снова принялся за чтение, трепеща всеми чувствами.

«...Возьмем соподчиненный мне подотдел. Что там есть?

Я за ошибки подчиненных не упрекаю, а лишь вывожу из них следствие, что значит — дело идет. А когда мне заявили, что построенные под моим руководством водоудержательные плотины почти все вровень с землей уничтожены, я ответил, что постройка их, следовательно, велась.

А никакая земля воды не держит, тому доказательство — явление оврагов...»

После этого Шмаков успокоился и уснул с легким сердцем и удовлетворенным умом.

Но известно ли что-нибудь достоверно на свете? Оформлены ли надлежаще все факты природы? Того документально нет! Не есть ли сам закон или другое присутственное установление — нарушение живого тела вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии?

Эта преступная мысль, собственно, возбудила Ивана Федотовича.

Оказалось, что стояло раннее счастливое утро. В Градове топились печи, разогревая вчерашний ужин на завтрак. Хозяйки шли за теплым хлебом для мужей, резаки в пекарнях его резали и метрически взвешивали, мудря на граммах: никто из них не верил, что грамм лучше фунта, знали только, что он легче.

Кроме того, чувствовалось счастье, что новый день уподобится вчерашнему и оттого терзаний жизни не причинит.

7

Сапожник Захар, сосед Ивана Федотыча по двору, каждый день будился от сна женою одинаковыми словами:

— Захарий! Вставай, садись за свой престол!

Престол — круглый пенек, на котором сидел Захар перед верстаком. Пенек на треть стерся от сидения, и Захар много раз думал о том, что человек прочней дерева, Так оно и было.

Захарий вставал, закуривал трубку и говорил:

— Я в мире человек сверхштатный! Не живу, а присутствую, и учета мне нет... На собранья я не хожу и ничего не член!

— Ну, будя, будя тебе, Захарий,— говорила ему жена.— Будя бурчать, садись чай пить. Член! Обдумал тоже — член!

После чая Захар садился за работу, которой не вынес бы ни один зверь: столько она требовала мужества и терпения.

Шмаков постоянно латал свои сапоги у Захара, которым тот много удивлялся:

— Иван Федотыч, вашей обуже восьмой год идет, и как вы ее терпите? Когда их на фабрике сшили, с тех пор дети выросли и грамоте выучились, а многие померли из них, а сапоги все живут... Кустарник лесом стал, революция прошла, может, и звезды какие потухли, а сапоги все живут... Это непостижимо!..

Иван Федотыч ему отвечал:

— В этом и есть порядок, Захарий Палыч! Жизнь бесчинствует, а сапоги целы! В этом и находится чудо бережного разума человека.

— А по мне,— говорит Захар,— бесчинство благородней! А то на сапожном престоле так и будешь сидеть, как и я!

Иван Федотыч убеждал Захария Палыча не глядеть на жизнь такими чувствительными глазами и не скорбеть влекущей мыслью. На свете того не бывает, чем бы утешилось беспутное сердце человека. А что такое утешение, как не мещанство, опороченное Октябрьской революцией?

— Порядок — дело чинное,— говорил Захар.— Да уж дюже землюназлили, Иван Федотыч! В порядок ее теперь добром не приведешь, опустошать надо, не иначе!

По уходе Ивана Федотыча Захар Палыч втайне думал, что постная жизнь все же лучше благородного бесчинства, и удовлетворительно глядел на свой порожний двор, ландшафт которого — плетень, а житель — курица.

8

Через три месяца для всего государственного населения Градова настали боевые дни. Центр решил четыре губернии, как раз и Градовскую, слить в одну область.

И заспорили четыре губернских города, кому приличествует быть областным.

Особенно лютовал в этом деле Градов.

Он имел четыре тысячи советских служащих, да безработных имелось две тысячи восемьсот тридцать семь человек; только область могла поглотить этот писчий народ.

Бормотов, Шмаков, управделами ГИКа Скобкин, зампредгубплана Наших и другие заметные люди Градова стали во главе бумажной войны с другими городами перед лицом Москвы.

Градовцы спешно приступили к рытью канала, начав его в лопухах слободы Моршевки, из усадьбы гражданина Моева. Канал тот учреждался для сплошного прохода в Градов персидских, месопотамских и иных коммерческих кораблей.

О канале губплан написал три тома и послал их в центр, чтобы там знали про это. Градовский инженер Паршин составил проект воздушных сообщений внутри будущей области, предусмотрев необходимость воздушной перевозки не только багажа, но и объемистых кормов для скота; для последней цели в мастерских райсельсоюза строился аэроплан сугубой мощности, с двигателем, работающим на порохе.

Сам предгубисполкома тов. Сысоев рвал, метал и внушал подчиненной ему губернии, что только Градов будет областным центром — и никакой иной населенный пункт.

Тов. Сысоев распорядился заказать штампы и вывески с наименованиями Градовского облисполкома и отдал приказ называть себя впредь предоблисполкома.

Когда никто из служащих не сбивался с области на губернию в отношениях и устных словах, тов. Сысоев повышался в добром чувстве и говорил кому попало, кто оказывался на глазах:

— Область у нас, братец! А? Почти республика! А Градов-то — почти столица европейского веса! А что такое губерния? Контрреволюционная царская ячейка, и больше ничего!

Началась беспримерная война служащих. Соседние города — претенденты на областной престол — не отставали от градовцев в должном усердии.

Но Градов истреблял всех перед молчаливой Москвой. Иван Федотыч Шмаков написал на четырехстах страницах среднего формата проект администрирования проектируемой Градо-Черноземной области, за соответствующими подписями он был отослан в центр.

Бормотов Степан Ермилович подошел к делу исподволь. Он предложил учредить такой облисполком, чтобы он собирался на сессии во всех бывших губгородах и нигде не имел постоянного местопребывания и вечного здания.

Но тут была уловка: Москва на это, конечно, не согласится, но спросит, кто это изобрел. И когда станет известным, что это измышление принадлежит гражданину города Градова, Москва улыбнется, но учтет, что в Градове живут умные люди, подходящие для руководства областью.

Так раз доказал свою мысль Бормотов тов. Сысоеву, председателю ГИКа. Тот подумал и сказал:

— Да, это орудие высшего психологического увещания, но теперь нам всякое дерьмо гоже! — и подписал доклад Бормотова для следования его в Москву.

Много дел наделали градовцы, доказывая свое явное превосходство перед соседями.

Шмаков извелся и застрадал общей болью в теле, с ужасом думая о поражении Градова, но тихо заходя сердцем при мысли о Градове — областном центре.

Большую книгу стоит написать, излагая борьбу пяти губгородов. Букв в ней было бы столько, сколько лопухов в Градовской губернии[1].

Сапожник Захарий Палыч умер, не дождавшись области; сам Шмаков поник на уклоне к пожилому возрасту.

Бормотов же был уволен старшим инспектором Наркомата РКИ за волокиту и чах дома, заведя частную

[1] Но можно ее и не писать, так как градовцам читать ее некогда, а прочим не интересно.

канцелярию по выработке форм учета деятельности госорганов; в этой канцелярии он служил один, и притом без жалованья и без охраны труда.

Наконец, через три года после начала областной войны, пришло постановление Москвы:

«Организовать Верхне-Донскую земледельческую область в составе территорий таких-то губерний. Областным городом считать Ворожеев. Окружными центрами учредить такие-то пункты. Градов-город, как не имеющий никакого промышленного значения, с населением, занятым преимущественно сельским хозяйством и службою в учреждениях, перечислить в заштатные города, учредив в нем сельсовет, переместив таковой из села Малые Вершины».

Что же случилось потом в Градове? Ничего особенного не вышло — только дураки в расход пошли. Шмаков через год умер от истощения на большом социально-философском труде: «Принципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Перед смертью он служил в сельсовете уполномоченным по грунтовым дорогам. Бормотов жив и каждый день нарочно гуляет перед домом, где раньше помещался губисполком. Теперь на том доме висит вывеска «Градовский сельсовет».

Но Бормотов не верит глазам своим — тем самым глазам, которые некогда были носителями неуклонного государственного взора.

1926

СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК [1]

1

Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки.

— Естество свое берет! — заключил Пухов по этому вопросу.

После погребения жены Пухов лег спать, потому что сильно исхлопотался и намаялся. Проснувшись, он захотел квасу, но квас весь вышел за время болезни жены,— и нет теперь заботчика о продовольствии. Тогда Пухов закурил — для ликвидации жажды. Не успел он докурить, а уж к нему кто-то громко постучал беспрекословной рукой.

— Кто? — крикнул Пухов, разваливая тело для последнего потягивания.— Погоревать не дадут, сволочи!

Однако дверь отворил,— может, с делом человек пришел.

Вошел сторож из конторы начальника дистанции.

— Фома Егорыч, путевка! Распишитесь в графе! Опять метет — поезда станут!

Расписавшись, Фома Егорыч поглядел в окно: действительно начиналась метель, и ветер уже посвистывал над печной вьюшкой. Сторож ушел, а Фома Егорыч загоревал, подслушивая свирепеющую вьюгу,— и от скуки, и от бесприютности без жены.

— Все совершается по законам природы! — удостоверил он самому себе и немного успокоился.

Но вьюга жутко развертывалась над самой головой Пухова, в печной трубе, и оттого хотелось бы иметь рядом с собой что-нибудь такое, не говоря про жену, но хотя бы живность какую.

По путевке на вокзале надлежало быть в 16 часов, а сейчас часов 12 — еще можно поспать, что и было сделано Фомой Егорычем.

Разомлев и распарившись, Пухов насилу проснулся. Нечаянно он крикнул, по старому сознанию.

— Глаша! — жену позвал; но деревянный домик претерпевал удары снежного воздуха и весь пищал. Две ком-

[1] Этой повестью я обязан своему бывшему товарищу Ф. Е. Пухову и т. Тольскому, комиссару Новороссийского десанта в тыл Врангеля.

наты стояли совсем порожними, и никто не внял словам Фомы Егорыча. А бывало, сейчас же отзовется участливая жена:

«Тебе чего, Фомушка?»

«А ничего,— ответит, бывало, Фома Егорыч,— это я так позвал: цела ли ты!»

А теперь никакого ответа и участия: вот они, законы природы!

— Дать бы моей старухе капитальный ремонт — жива бы была, но средств нету и харчи плохие! — сказал себе Пухов, шнуруя австрийские башмаки.— Хоть бы автомат выдумали какой-нибудь; до чего мне трудящимся быть надоело! — рассуждал Фома Егорович, упаковывая в мешок пищу: хлеб и пшено.

На дворе его встретил удар снега в лицо и шум бури.

— Гада бестолковая! — вслух и навстречу движущемуся пространству сказал Пухов, именуя всю природу.

Проходя безлюдной привокзальной слободой, Пухов раздраженно бурчал — не от злобы, а от грусти и еще от чего-то, но ничего он вслух не сказал.

На вокзале уже стоял под парами тяжелый, мощный паровоз с прицепленным к нему вагоном — снегоочистителем. На снегоочистителе было написано: «Система инженера Э. Бурковского».

«Кто этот Бурковский, где он сейчас и жив ли? Кто ж его знает!» — с грустью подумал Пухов, и отчего-то сразу ему захотелось увидеть этого Бурковского.

К Пухову подошел начальник дистанции:

— Читай, Пухов, расписывайся, и — поехали! — и подал приказ:

Приказывается правый путь от Козлова до Лисок держать непрерывно чистым от снега, для чего пустить в безостановочную работу все исправные снегоочистители. После удовлетворения воинских поездов все паровозы поставить для тяги снегоочистителей. В экстренных случаях снимать для той же тяги дежурные станционные паровозы. При сильных метелях впереди каждого воинского состава должен неотлучно работать снегоочиститель, дабы ни на минуту не было прекращено движение и не ослаблена боеспособность Красной Армии.

Пред. Глав. Рев. Комитета Ю.—В. ж. д. *Рудин.*
Комиссар Путей Сообщения Ю.—В. ж. д. *Дубинин.*

Пухов расписался — в те годы попробуй не распишись!

— Опять неделю не спать! — сказал машинист паровоза, тоже расписавшись.

— Опять! — сказал Пухов, чувствуя странное удовольствие от предстоящего трудного беспокойства: вся жизнь как-то заметней и шибче идет.

Начальник станции — инженер и гордый человек — терпеливо слушал метель и смотрел поверх паровоза какими-то отвлеченными глазами. Его раза два ставили к стенке, он быстро поседел и всему подчинился — без жалобы и без упрека. Но зато навсегда замолчал и говорил только распоряжения.

Вышел дежурный по станции, вручил начальнику дистанции путевку и пожелал доброго пути.

— До Графской остановки нет! — сказал начальник дистанции машинисту.— Сорок верст! Хватит ли воды у вас, если тонку придется все время форсировать?

— Хватит,— ответил машинист.— Воды много — всю не выпарим!

Тогда начальник дистанции и Пухов вошли в снегоочиститель. Там уже лежали восемь рабочих и докрасна калили чугунку казенными дровами, распахнув для свежего воздуха окно.

— Опять навоняли, дьяволы! — почувствовал и догадался Пухов.— А ведь только что пришли и харчей жирных, должно, не едали! Эх, идолы!

Начальник дистанции сел на круглый стул у выпуклого окна, откуда он управлял всей работой паровоза и снегоочистителя, а Пухов стал у балансира.

Рабочие тоже встали у своих мест, у больших рукояток, посредством которых по балансиру быстро перекидывался груз, и балансир то поднимал, то опускал снегосбросный щит.

Метель выла упорно и ровно, запасшись огромным напряжением где-то в степях юго-востока.

В вагоне было нечисто, но тепло и как-то укромно. Крыша вокзала гремела железами, отстегнутыми ветром, а иногда этот скрежет железа перемежался с далеким артиллерийским залпом.

Фронт работал в шестидесяти верстах. Белые все время прижимались к железнодорожной линии, ища уюта в вагонах и станционных зданиях, утомившись в снежной степи на худых конях. Но белых отжимали бронированные поезда красных, посыпая снега свинцом из изношенных пулеметов. По ночам — молча, без огней, тихим хо-

дом — проходили броневые поезда, просматривая темные пространства и пробуя паровозом целость пути. Ночью ничего не известно; помашет издали поезду низкое степное дерево — его порежут и снесут пулеметным огнем; зря не шевелись!

— Готово? — спросил начальник дистанции и посмотрел на Пухова.

— Готово! — ответил Пухов и взял в обе руки рычаги.

Начальник дистанции потянул веревку к паровозу — тот запел, как нежный пароход, и грубо дернул снегоочиститель.

Выскочив со станционных путей, начальник дистанции одной рукой резко и коротко дернул за веревку паровозного свистка, а другой махнул Пухову. Это означало: работа!

Паровоз крикнул, машинист открыл весь пар, а Пухов передвинул оба рычага, опуская щит с ножками и развертывая крылья. Сейчас же снегоочиститель сдал скорость и начал увязать в снегу, прилипая к рельсам, как к магнитам.

Начальник дистанции еще раз дернул веревку на паровоз, что означало — усилить тягу! Но паровоз весь дрожал от перенапряжения и сифонил так, что из трубы жар вылетал. Колеса его впустую ворочались в снегу, как в крутой почве, подшипники грелись от частых оборотов и плохого масла, а кочегар весь взмок от работы с топкой, несмотря на то что выбегал за дровами на тендер, где его прохватывал двадцатиградусный ветер.

Снегоочиститель и паровоз попали в глубокий снежный перевал. Один начальник дистанции молчал — ему было все равно. Остальные люди на паровозе и на снегоочистителе грубо выражались на каком-то самодельном языке, сразу обнажая задушевные мысли.

— Пару мало! Прошуруй топку и просифонь, чтоб баланец[1] загремел,— тогда возьмем!

— Закуривай! — крикнул рабочим Пухов, догадавшись о том, что делается на паровозе.

Начальник дистанции тоже вынул кисет и насыпал в кусочек газеты зеленой самогонной махорки.

К метели давно притерпелись и забыли про нее, как про нормальный воздух. Покурив, Пухов вылез из ваго-

[1] Баланец — автоматический предохранитель от излишнего давления пара в котле.

на и здесь только обнаружил гром бури, злобу холода и пальбу сухого снега.

— Вот сволота! — сказал Пухов, еле управляясь с тем, с чем ему нужно было управиться.

Вдруг бешено заревел баланец паровоза, спуская лишний пар. Пухов вскочил в вагон — и паровоз сейчас же и разом выхватил снегоочиститель из снежного бугра, пробуксовав колесами так, что огонь посыпался из рельсов. Пухов даже увидел, как хлестнула вода из паровозной трубы от слишком большого открытия пара, и оценил машиниста за отвагу:

— Хорош парень у нас на паровозе!

— А? — спросил старший рабочий Шугаев.

— Чего «а»? — ответил Пухов.— Чего акаешь-то? Горе кругом, а ты разговариваешь!

Шугаев поэтому замолчал.

Паровоз прогудел два раза, а начальник дистанции крикнул:

— Закрой работу!

Пухов рванул рычаг и поднял щит.

Подъезжали к переезду, где лежали контррельсы. Такие места проезжали без работы: щит снегоочистителя резал снег ниже головки рельса и не мог работать, когда у рельса что-нибудь находилось,— тогда снегоочиститель опрокинулся бы. Проехав переезд, снегоочиститель пронесся открытой степью. Укрытый снегом, лежал искусный железный путь. Пухов всегда удивлялся пространству. Оно его успокаивало в страдании и увеличивало радость, если ее имелось немного.

Так и теперь — поглядел в запушенное окно Пухов: ничего не видно, а приятно.

Снегоочиститель, имея жесткие рессоры, гремел, как телега по кочкам, и, ухватывая снег, тучей пушил его на правый откос пути, трепеща выкинутым крылом; это крыло назначено было швырять снег па сторону — то оно и делало.

В Графской сделали значительную стоянку. Паровоз брал воду, помощник машиниста чистил дымовую коробку, топку и прочее огневое хозяйство.

Обмерзший машинист ничего не делал, а только ругался на эту жизнь. Из штаба какого-то матросского отряда, стоявшего в Графской, ему принесли спирту, и Пухов тоже прошел в долю, а начальник дистанции отказался.

— Пей, инженер,— предложил ему главный матрос.

— Благодарю покорно. Я ничего не пью,— уклонился инженер.

— Ну, как хочешь! — сказал матрос.— А то выпей — согреешься! Хочешь, рыбы принесу — покушаешь?

Инженер опять отказался, по неизвестной причине.

— Эх ты, тина! — сказал тогда оскорбленный матрос.— Ведь тебе с душой дают — нам же не жалко,— а ты не берешь! Поешь, пожалуйста!

Машинист и Пухов пили и жевали все напролом, улыбаясь насчет начальника.

— Отстань ты от него! — обрубил другой матрос.— Он есть хочет, но идея его не велит!

Начальник дистанции смолчал. Есть он действительно не хотел. Месяц назад он вернулся из командировки — из-под Царицына, где сдавал восстановленный мост. Вчера он получил депешу, что мост просел под воинским поездом: клепка моста шла наспех, неквалифицированные рабочие ставили заклепки на живую нитку и теперь фермы моста расшились — от одного чувства веса маломальски грузного поезда.

Два дня назад началось следствие по делу моста, и дома у начальника дистанции лежала повестка от следователя железнодорожного ревтрибунала. Назначенный в экстренную поездку, инженер не мог пойти в ревтрибунал, но помнил об этом. Поэтому ему не пилось и не елось. Но страха он тоже не имел, терзаясь сплошным равнодушием; равнодушие, он чувствовал, может быть страшнее боязливости — оно выпаривает из человека душу, как воду медленный огонь, и когда очнешься — останется от сердца одно сухое место; тогда человека хоть ежедневно к стенке ставь — он покурить не попросит: последнее удовольствие казнимого.

— Теперь куда поедете? — спросил у Пухова главный матрос.

— Должно, на Грязи!

— Верно: под Усманью два эшелона и броневик в сугробах застряли! — вспомнил матрос.— Казаки, говорят, Давыдовку взяли, а снаряды за Козловом в заносах стоят!

— Расчистим, сталь режем, а снег — вещество чепуховое! — уверенно определил Пухов, спешно допивая последние капли спирта, чтобы ничто не пропадало в такое время.

Тронулись на Грязи. Пассажиром напросился старичок — будто бы ехал от сына с Лисок,— а кто ж его знает!

Поехали. Загремел балансир, кидая щит то вниз, то вверх,— и забурчали рабочие, которым не досталось матросской жирной рыбы.

— Яблок бы моченых я теперь поел! — сказал на полном ходу снегоочистителя Пухов.— Ух, и поел бы — ведро бы съел!

— А я бы сельдь покушал! — ответил ему старичок пассажир.— Люди говорят, что в Астрахани сельди той миллионы пудов гниют, только маршрутов туда нету!

— Тебя посадили, ты и молчи сиди! — строго предупредил Пухов.— Сельдь бы он покушал! Будто без него съесть ее некому!

— А я,— встрял в разговор помощник Пухова, слесарь Зворычный,— на свадьбе в Усмани был, так полного петуха съел — жирен был, дьявол!

— А сколько петухов-то было на столе? — спросил Пухов, чувствуя на вкус того петуха.

— Один и был — откуда теперь петухи?

— Что ж, тебя не выгнали со свадьбы? — допытывался Пухов, желая, чтоб его выгнали.

— Нет, я сам рано ушел. Вылез из стола, будто на двор захотел,— мужики часто ходят,— и ушел.

— А тебе, старик, не пора слезать — деревня твоя не видна еще? — спросил Пухов пассажира.— Гляди, а то разбалакаешься — проскочишь!

Старик подскочил к окну, подышал на стекло и потер его.

— Места будто знакомые пошли — будто Хамовские выселки торчат на юру!

— Раз Хамовские выселки — тебе к месту,— сказал сведущий Пухов.— Слезай, пока на подъем прем!

Старик почухался с мешком и покорно возразил:

— Машина ходко бежит, аж воздух журчит,— жутко убиваться, господин машинист! Может, окоротить позволите на одну минуту — я враз.

— Обдумал! — осерчал Пухов.— Окоротить ему казенную машину в военное время! Теперь до самых Грязей остановки не будет!

Старик смолчал, а потом спросил особо покорным голосом:

— Сказывали, тормоза теперь могучие пошли — на всякую скороту окорот дают!

— Слазь, слазь, старик! — серчал Пухов.— Скороту ему окоротить! Не на каменную гору прыгаешь, а в снег! Так мягко придется, что сам полежишь — и потянешься еще!

Старик вышел на наружную площадку, осмотрел веревку на мешке — не для прочности, конечно, а для угона времени, чтобы духу набраться,— а потом пропал: должно, шлепнулся.

С Грязей снегоочистителю вручили приказ: вести за собой броневик и поезд наркома, пробивая траншею в заносах, вплоть до Лисок.

Снегоочистителю дали двойную тягу: другой паровоз уступил поезд наркома — громадную спокойную машину Путиловского завода.

Тяжелый боевой поезд наркома всегда шел на двух лучших паровозах.

Но и два паровоза теперь обессилели от снега, потому что снег хуже песка. Поэтому не паровозы были в славе в ту мятежную и снежную зиму, а снегоочистители.

И то, что белых громила артиллерия бронепоездов под Давыдовской и Лисками, случилось потому, что бригады паровозов и снегоочистителей крушили сугробы, не спя неделями и питаясь сухой кашей.

Пухов, например, Фома Егорыч, сразу почел такое занятие обыкновенным делом и только боялся, что исчезнет махорка с вольного рынка; поэтому дома имел ее пуд, проверив вес на безмене.

Не доезжая станции Колодезной, снегоочиститель стал: два могучих паровоза, которые волокли его, как плуг, влетели в сугроб и зарылись по трубу.

Машинист-петроградец с поезда наркома, ведший головной паровоз, был выбит из сиденья и вышвырнут на тендер от удара паровоза в снег и мгновенной остановки. А паровоз его, не сдаваясь, продолжал буксовать на месте, дрожа от свирепой безысходной силы, яростно прессуя грудью горы снега впереди.

Машинист прыгнул в снег, катаясь в нем окровавленной головой и бормоча неслыханные ругательства.

К нему подошел Пухов с четырьмя собственными зубами в кулаке — он стукнулся челюстью о рычаг и вытащил изо рта ослабшие лишние зубы. В другой руке он нес мешочек со своими харчами — хлеб и пшено. Не глядя на лежащего машиниста, он засмотрелся на его замечательный паровоз, все еще бившийся в снегу.

— Хороша машина, сволочь!

Потом крикнул помощнику:

— Закрой пар, стервец, кривошипы порвешь!

С паровоза никто не ответил.

Положив харчи на снег и зашвырнув зубы, Пухов сам полез на паровоз, чтобы закрыть регулятор и сифон.

В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на штырь, и в расшившийся череп просунулась медь — так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу. Помощник стоял на коленях, разбросав синие беспомощные руки и с пришпиленной к штырю головой.

«И как он, дурак, нарвался на штырь? И как раз ведь в темя, в самый материнский родничок хватило!» — обнаружил событие Пухов.

Остановив бег на месте бесившегося паровоза, Пухов оглядел все его устройство и снова подумал о помощнике:

«Жалко дурака: пар хорошо держал!»

Манометр действительно и сейчас показывал тринадцать атмосфер, почти предельное давление,— и это после десяти часов хода в глубоком, плотном снегу!

Метель стихала, переходя в мокрый снегопад. Вдалеке дымили на расчищенных путях броневик и поезд наркома.

Пухов с паровоза ушел. Рабочие снегоочистителя и начальник дистанции лезли по живот в снегу к паровозу. Со второго паровоза тоже сошла бригада, перевязав разбитые головы обтирочными концами.

Пухов подошел к петроградскому машинисту. Тот сидел на снегу и прикладывал его к окровавленной голове.

— Ну что,— обратился он к Пухову,— как стоит машина? Закрыл поддувала?

— Все на месте, механик! — ответил по-служебному Пухов.— Помощник только твой убился, но я тебе Зворычного дам, парень умственный, только жрать здоров!

— Ладно,— сказал машинист.— Положи-ка мне хлебца на рану и портянкой окрути! Кровь, сатану, никак не заткну!

Из-за снегоочистителя выглянула милая усталая морда лошади, и через две минуты к паровозу подъехал казачий отряд — человек пятнадцать.

Никто на них не обратил нужного внимания.

Пухов со Зворычным закусывали; Зворычный совето-

вал Пухову непременно вставить зубы, только стальные и никелированные — в Воронежских мастерских могут сделать: всю жизнь тогда не изотрешь о самую твердую пищу!

— Опять выбить могут! — возразил Пухов.

— А мы тебе их штук сто наделаем,— успокоил Зворычный.— Лишние в кисет в запас положишь.

— Это ты верно говоришь,— согласился Пухов, соображая, что сталь прочней кости и зубов можно наготовить массу на фрезерном станке.

Казачий офицер, видя спокойствие мастеровых, растерялся и охрип голосом.

— Граждане рабочие! — нарочито сказал офицер, ворочая полубезумными выветрившимися глазами.— Именем Великой Народной России приказываю вам доставить паровозы и снегоочистку на станцию Подгорное. За отказ — расстрел на месте!

Паровозы тихо сипели. Снег падать перестал. Дул ветер оттепели и далекой весны.

У машиниста кровь на голове свернулась и больше не текла. Он почесал сухую корку сукровицы и трудным, ослабевшим шагом пошел на паровоз.

— Пойти воды покачать и дров подложить — машину морозить неохота!

Казаки вынули револьверы и окружили мастеровых. Тогда Пухов рассерчал:

— Вот сволочи, в механике не понимают, а командуют!

— Што-о? — захрипел офицер.— Марш на паровоз, иначе пулю в затылок получишь!

— Что ты, чертова кукла, пулей пугаешь! — закричал, забываясь, Пухов.— Я сам тебя гайкой смажу! Не видишь, что в перевал сели и люди побились! Фулюган, черт!

Офицер услышал короткий глухой гудок броневого поезда и обернулся, подождав стрелять в Пухова.

Начальник дистанции лежал на шинели, постеленной на снег, и о чем-то мрачно размышлял, рассматривая хилое, потеплевшее небо.

Вдруг на паровозе по-плохому закричал человек. То, наверное, машинист снимал со штыря своего разбитого помощника.

Казаки сошли с лошадей и бродили вокруг паровоза, как бы ища потерянное.

— По коням! — крикнул казакам офицер, заметя вывернувшийся из закругления бронепоезд.— Пускай паровозы, стрелять пачну! — И выстрелил в голову начальника дистанции. Тот и не вздрогнул, а только засучил усталыми ногами и отвернулся вниз лицом ото всех.

Пухов вскочил на паровоз и заревел во всю сирену прерывистой тревогой. Догадливый машинист открыл паровой кран инжектора, и весь паровоз укутался паром.

Казачий отряд начал напропалую расстреливать рабочих, но те забились под паровозы, проваливались, убегая, в сугробы, и все уцелели.

С бронепоезда, подошедшего к снегоочистителю почти вплотную, ударили из трехдюймовки и прострочили из пулемета.

Отскакав саженей на двадцать, казачий отряд начал тонуть в снегах и был начисто расстрелян с бронепоезда.

Только одна лошадь ушла и понеслась по степи, жалобно крича и напрягая худое, быстрое тело.

Пухов долго глядел на нее и осунулся от сочувствия.

С бронепоезда отцепили паровоз и подвели его сзади к снегоочистителю толкачом.

Через час, подняв пар, три паровоза продавили снежный перевал на путях и вырвались на чистое место.

2

В Лисках отдыхали три дня.

Пухов обменял на олеонафт десять фунтов махорки и был доволен. На вокзале он исчитал все плакаты и тащил газеты из агитпункта для своего осведомления.

Плакаты были разные. Один плакат перемалевали из большой иконы — где архистратиг Георгий поражает змея, воюя на адовом дне. К Георгию приделали голову Троцкого, а змею-гаду нарисовали голову буржуя: кресты же на ризе Георгия Победоносца зарисовали звездами, но краска была плохая, и из-под звезд виднелись опять-таки кресты.

Это Пухова удручало. Он ревниво следил за революцией, стыдясь за каждую ее глупость, хотя к ней был мало причастен.

На стенах вокзала висела мануфактура с агитационными словами:

В рабочие руки мы книги возьмем,
Учись, пролетарий, ты будешь умен!

— Тоже нескладно! — заключил Пухов.— Надо так писать, чтоб все дураки заочно поумнели!

«Каждый прожитый нами день — гвоздь в голову буржуазии. Будем же вечно жить — пускай терпит ее голова!»

— Вот это сурьезно! — расценивал Пухов.— Это твердые слова!

Подходит раз к Лискам поезд — хорошие пассажирские вагоны, красноармейцы у дверей, и ни одного мешочника не видно.

Пухов стоял в тот час на платформе у дверей и коечто обдумывал.

Поезд останавливается. Из вагонов никто не выходит.

— Кто это прибыл с этим эшелоном? — спрашивает Пухов одного смазчика.

— А кто его знает? Сказывают, главный командир — один в целом поезде!

Из переднего вагона вышли музыканты, подошли к середине поезда, построились и заиграли встречу.

Немного погодя выходит из среднего мягкого вагона толстый военный человек и машет музыкантам рукой: будет, дескать, доволен!

Музыканты разошлись. Военный начальник не спеша сходит по ступенькам и идет в вокзал. За ним идут прочие военные люди, кто с бомбой, кто с револьвером, кто за саблю держится, кто так ругается — полная охрана.

Пухов прошел вслед и очутился около агитпункта. Там уже стояла красноармейская масса, разные железнодорожники и жадные до образования мужики.

Приехавший военный начальник взошел на трибуну — и тут ему все захлопали, не зная его фамилии. Но начальник оказался строгим человеком и сразу отрубил:

— Товарищи и граждане! На первый раз я прощаю, но заявляю, чтобы впредь подобных демонстраций не повторялось! Здесь не цирк, и я не клоун — хлопать в ладоши тут не по существу!

Народ сразу примолк и умильно уставился на оратора — особенно мешочники: может, дескать, лицо запомнит и посадит на поезд.

Но начальник, разъяснив, что буржуазия целиком и полностью сволочь, уехал, не запомнив ни одного умильного лица.

Ни один мешочник в порожний длинный поезд так

и не попал: охрана сказала, что вольным нельзя ехать на военном поезде особого назначения.

— А он же порожняком,— все едино лупить будет! — спорили худые мужики.

— Командарму пустой поезд полагается по приказу! — объяснили красноармейцы из охраны.

— Раз по приказу — мы не спорим! — покорялись мешочники.— Только мы не в поезде сядем, а на сцепках!

— Нигде нельзя! — отвечали охранники.— Только на спице колеса можно!

Наконец поезд уехал, постреливая в воздух — для испуга жадных до транспорта мешочников.

— Дела! — сказал Пухов одному деповскому слесарю.— Маленькое тело на сорока осях везут!

— Нагрузка маленькая — на канате вошь тащут! — на глаз измерил деповский слесарь.

— Дрезину бы ему дать — и ладно! — сообразил Пухов.— Тратят зря американский паровоз!

Идя в барак за порцией пищи, Пухов разглядывал по дороге всякие надписи и объявления — он был любитель до чтения и ценил всякий человеческий помысел. На бараке висело объявление, которое Пухов прочитал беспрерывно трижды:

Товарищи рабочие!

Штабом IX Рабоче-Крестьянской Красной Армии формируются добровольные отряды технических сил для обслуживания фронтовых нужд Красных армий, действующих на Северном Кавказе, Кубани и Черноморском побережье.

Разрушенные железнодорожные мосты, береговые оборонительные сооружения, служба связи, орудийные ремонтные мастерские, подвижные механические базы — все это, взятое в целом, требует умелых пролетарских рук, которых не хватает в действующих Красных армиях Юга.

С другой стороны, без технических средств не может быть обеспечена победа над врагами рабочих и крестьян, сильных своей техникой, полученной задаром от антантовского империализма.

Товарищи рабочие! Призываем вас записываться в отряды технических сил у уполномоченных Реввоенсовета-IX на всех ж.-д. узловых станциях. Условия службы узнавайте от товарищей уполномоченных. Да здравствует Красная Армия!

Да здравствует рабоче-крестьянский класс!

Пухов сорвал листок, приклеенный мукой, и понес его к Зворычному.

— Тронемся, Петр! — сказал Пухов Зворычному.— Какого шута тут коптить! По крайности, южную страну увидим и в море покупаемся!

Зворычный молчал, думал о своем семействе.

А у Пухова баба умерла, и его тянуло на край света.

— Думай, Петруха! На самом-то деле: какая армия без слесарей! А на снегоочистке делать нечего — весна уже в ширинку дует!

Зворычный опять молчал, жалея жену Анисью и мальчишку, тоже Петра, которого мать звала выпороточком.

— Едем, Петруш! — увещевал Пухов.— Горные горизонты увидим; да и честней как-то станет! А то видал — тифозных эшелонами прут, а мы сидим — пайки получаем!.. Революция-то пройдет, а нам ничего не останется! Ты, скажут, что делал? А ты што скажешь?..

— Я скажу, что рельсы от снегов чистил! — ответил Зворычный.— Без транспорта тоже воевать нельзя!

— Это што! — сказал Пухов.— Ты, скажут, хлеб за то получал, то работа нормальная! А чем ты бесплатно пожертвовал, спросят, чему ты душевно сочувствовал? Вот где загвоздка! В Воронеже вон бывшие генералы снег сгребают — и за то фунт в день получают! Так же и мы с тобой!

— А я думаю,— не поддавался Зворычный,— мы тут с тобой нужней!

— То никому не известно, где мы с тобой полезней! — нажимал Пухов.— Если только думать, тоже далеко не уедешь, надо и чувство иметь!

— Да будет тебе ерунду лить! — задосадовал Зворычный.— Кто это считать будет: кто что делал, чем занимался? И так покою нет от жизни такой! Тебе теперь все равно — один на свете,— вот тебя и тянет, дурака! Небось думаешь бабу там покрасивше отыскать — чувство-то понимаешь! Мужик ты не старый — без бабы раздуешься скоро! Ну и вали туда рысью!..

— Дурак ты, Петр! — оставил надежду Пухов.— В механике ты понимаешь, а сам по себе предрассудочный человек!

С горя Пухов и обедать не стал, а пошел к уполномоченному записываться, чтобы сразу управиться с делами. Но когда пришел — съел два обеда: повар к нему благоволил за полудку кастрюли и за умные разговоры.

— После гражданской войны я красным дворянином буду! — говорил Пухов всем друзьям в Лисках.

— Это почему ж такое? — спрашивали его мастеровые люди.— Значит, как в старину будет и землю тебе дадут?

— Зачем мне земля? — отвечал счастливый Пухов.— Гайки, что ль, сеять я буду? То будет честь и звание, а не угнетение.

— А мы, значит, красными вахлаками останемся? — узнавали мастеровые.

— А вы на фронт ползите, а не чухайтесь по собственным домам! — выражался Пухов и уходил дожидаться отправки на юг.

Через неделю Пухов и еще пятеро слесарей, принятых уполномоченным, поехали на Новороссийск — в порт.

Ехали долго и трудно, но еще труднее бывают дела, и Пухов впоследствии забыл это путешествие. На дорогу им дали по пять фунтов воблы и по ковриге хлеба, поэтому слесаря были сыты, только пили воду на станциях.

В Екатеринодаре Пухов сидел неделю — шел где-то бой, и на Новороссийск никого не пропускали. Но в этом зеленом отпетом городке давно притерпелись к войне и старались жить весело.

«Сволочи! — думал обо всех Пухов.— Времен не чувствуют!»

В Новороссийске Пухов пошел на комиссию, которая якобы проверяла знания специалистов.

Его спросили, из чего делается пар.

— Какой пар? — схитрил Пухов.— Простой или перегретый?

— Вообще... пар! — сказал экзаменующий начальник.

— Из воды и огня! — отрубил Пухов.

— Так! — подтвердил экзаменатор.— Что такое комета?

— Бродящая звезда! — объяснил Пухов.

— Верно! А скажите, когда и зачем было 18 брюмера? — перешел на политграмоту экзаменатор.

— По календарю Брюса 18 октября — за неделю до Великой Октябрьской революции, освободившей пролетариат всего мира и все разукрашенные народы! — не растерялся Пухов, читавший что попало.

— Приблизительно верно! — сказал председатель проверочной комиссии.— Ну, а что вы знаете про судоходство?

— Судоходство бывает тяжельше воды и легче воды! — твердо ответил Пухов.

— Какие вы знаете двигатели?

— Компаунд, Отто-Дейц, мельницы, пошвенные колеса и всякое вечное движение!

— Что такое лошадиная сила?

— Лошадь, которая действует вместо машины. Потому что у нас страна с отсталой техникой — корягой пашут, ногтем жнут!

— Что такое религия? — не унимался экзаменатор.

— Предрассудок Карла Маркса и народный самогон.

— Для чего была нужна религия буржуазии?

— Для того, чтобы народ не скорбел.

— Любите ли вы, товарищ Пухов, пролетариат в целом и согласны за него жизнь положить?

— Люблю, товарищ комиссар,— ответил Пухов, чтобы выдержать экзамен,— и кровь лить согласен, только чтобы не зря и не дуриком!

— Это ясно! — сказал экзаменатор и назначил его в порт монтером для ремонта какого-то судна.

Судно то оказалось катером, под названием «Марс». В нем керосиновый мотор не хотел вертеться — его и дали Пухову в починку.

Новороссийск оказался ветреным городом. И ветер-то как-то тут дул без толку: зарядит, дует и дует, даже посторонние вещи от него нагревались, а ветер был холодный.

В Крыму тогда сидел Врангель, а с ремонтом «Марса» большевики спешили — говорили, что Врангель морской набег думает сделать, так чтоб было чем защититься.

— Так у него ж английские крейсера! — объяснял Пухов.— А наш «Марс» — морская лодка, ее кирпичом можно потопить!

— Красная Армия все может! — отвечали Пухову матросы.— Мы в Царицын на щепках приплыли, кулаками город штурмовали!

— Так то ж драка, а не война! — сомневался Пухов.— А ядро не классовая вещь — живо ко дну пустит!

Керосиновый мотор на «Марсе» никак не хотел вертеться.

— Был бы ты паровой машиной,— рассуждал Пухов, сидя одиноко в трюме судна,— я б тебя сразу замордовал! А то подлецом каким-то выдуман: ишь провода какие-то, медяшки... путаная вещь!

Море не удивляло Пухова — качается и мешает работать.

— Наши стены еще попросторней будут, и ветер еще почище там, только не такой бестолковый; подует днем, а ночью тишина. А тут — дует и дует, дует и дует,— что ты с ним делать будешь?

Бормоча и покуривая, Пухов сидел над двигателем, который не шел. Три раза он его разбирал и вновь собирал, потом закручивал для пуска — мотор синел, а крутиться упорствовал.

Ночью Пухов тоже думал о двигателе и убедительно переругивался с ним, лежа в пустой каютке.

Пришел раз к Пухову на «Марс» морской комиссар и говорит:

— Если ты завтра не пустишь машину, я тебя в море без корабля пущу, копуша, черт!

— Ладно, я пущу эту сволочь, только в море остановлю, когда ты на корабле будешь! Копайся сам тогда, фулюган! — ответил как следует Пухов.

Хотел тогда комиссар пристрелить Пухова, но сообразил, что без механика — плохая война.

Всю ночь бился Пухов. Передумал заново всю затею этой машины, переделал ее по своему пониманию на какую-то новую машину, удалил зазорные части и поставил простые — и к утру мотор бешено запыхал. Пухов тогда включил винт — мотор винт потянул, но тяжело задышал.

— Ишь,— сказал Пухов,— как черт на Афон взбирается!

Днем пришел опять морской комиссар.

— Ну что, пустил машину? — спрашивает.

— А ты думал, не пущу? — ответил Пухов.— Это только вы из-под Екатеринодара удрали, а я ни от чего не отступлю, раз надо!

— Ну, ладно, ладно,— сказал довольный комиссар.— Знай, что керосину у нас мало,— береги!

— Мне его не пить,— сколько есть, столько будет! — положительно заявил Пухов.

— Ведь мотор с водой идет? — спросил комиссар.

— Ну да, керосин топит, вода охлаждает!

— А ты норови керосину поменьше, а воды побольше,— сделал открытие комиссар.

Тут Пухов захохотал всем своим редким молчаливым голосом.

— Что ты, дурак, радуешься? — спросил в досаде комиссар.

Пухов не мог остановиться и радостно закатывался.

— Тебе бы не Советскую власть, а всю природу учреждать надо,— ты б ее ловко обдумал! Эх ты, мехоноша!

Услышав это, комиссар удалился, потеряв некую внутреннюю честь.

А в Новороссийске шли аресты и разгром зажиточных людей. «Чего они людей шуруют? — думал Пухов.— Какая такая гроза от этих шутов? Опи и так дальше завалинки выйти боятся».

Кроме арестов, по городу были расклеены бумаги: «Вследствие тяжелой медицинской усталости ораторов, никаких митингов на этой неделе не будет».

«Теперь нам скучно будет»,— скорбел, читая, Пухов.

Меж тем в порту появился маленький истребитель «Звезда». Там пробоину заклепывали и якорную лебедку чинили. Пухов туда ходил смотреть, но его не пустили.

— Чего это такое? — обиделся Пухов.— Я же вижу, там холуи работают. Я помочь хотел, а то случится в море неполадка!

— Не велено никого пускать! — ответил часовой-красноармеец.

— Ну, шут с вами, мучайтесь! — сказал Пухов и ушел, озабоченный.

К вечеру того же дня пришло в порт турецкое транспортное судно «Шапя». В клубе говорили, что это подарок Кемаля-паши, турецкого вождя, но Пухов сомневался.

— Я же видел,— говорил он красноармейцам,— что судно исправное! Станет вам турецкий султан в военное время такие подарки делать — у него самого нехватка!

— Так он друг наш, Кемаль-паша! — разъясняли красноармейцы.— Ты, Пухов, в политике — плетень!

— А ты снял онучи — думаешь, гвоздем стал? — обижался Пухов и уходил в угол глядеть плакаты, которым он, однако, особенно не доверял.

Ночью Пухова разбудил вестовой из штаба армии. Пухов немного испугался. «Должно быть, морской комиссар гадит!»

На дворе штаба стоял большой отряд красноармейцев в полном походном снаряжении. Тут же стояли трое мастеровых, но тоже в военных шинелях и с чайниками.

— Товарищ Пухов,— обратился командир отряда,— вы почему не в военной форме?

— Я и так хорош, чего мне чайник цеплять! — ответил Пухов и стал в сторонке.

Стояла ночь — огромная тьма,— и в горах шуршали ветер и вода.

Красноармейцы стояли молча, одетые в новые шинели, и ни о чем не говорили. Не то они боялись чего-то, не то соблюдали тайну друг от друга.

В горах и далеких окрестностях изредка кто-то стрелял, уничтожая неизвестную жизнь.

Один красноармеец загремел винтовкой,— его враз угомонили, и он почуял свой срам, до самого сердца.

Пухов тоже что-то заволновался, но не выражал этого чувства, чтобы не шуметь.

Фонарь над конюшней освещал дворовую нечистоту и дрожал неясным светом на бледных ночных лицах красноармейцев. Ветер, нечаянно зашедший с гор, говорил о смелости, с которой он воюет над беззащитными пространствами. Свое дело он и людям советовал — и те слышали.

В городе бесчинствовали собаки, а люди, наверное, тихо размножались. А тут, на глухом дворе, другие люди были охвачены тревогой и особым сладострастием мужества — от того, что их хотят уменьшить в количестве.

Вышел на середину военный комиссар полка и негромко начал говорить, будто имел перед собой одного человека:

— Дорогие товарищи! Сейчас у нас не митинг, и я скажу немного... Высшее командование республики приказало Реввоенсовету нашей армии ударить в тыл Врангелю, который сейчас догорает в Крыму. Наша задача как раз в том, чтобы переплыть на тех судах, которые у нас есть, Керченский пролив и высадиться на Крымском берегу. Там мы должны соединиться с действующими в тылу Врангеля красно-зелеными партизанскими отрядами и отрезать Врангеля от судов, куда он бросится, когда северная Красная Армия прорвется через Перекоп. Мы должны разрушить мосты и дороги у Врангеля, растерзать его тыл и загородить ему море, чтобы выжечь сразу всю эту заразу!

Красноармейцы! Добраться до Крыма нам будет тяжело, и это рискованная вещь. Там плавают дозорные крейсера, которые нас потопят, если заметят. Это я должен вам открыто сказать. А если и доплывем, то нам предстоит опасная, смертельная борьба среди озверелого против-

ника. Не много нас уцелеет, а может, никого, когда Крым станет советским,— вот что я хочу вам сказать, дорогие товарищи красноармейцы!

И далее того: я хочу спросить у вас, товарищи, согласны ли вы на это дело идти добровольно?

Чувствуете ли вы мужественную отвагу в себе, дабы пожертвовать достоинством жизни на благо революции и Советской Республики? Если кто боится или колеблется, у кого семья осталась и ему ее жалко, пускай выйдет и скажет, чтобы ясно было, и мы освободим такого товарища!

Центральное наше правительство возлагает великую надежду на нашу операцию, чтобы поскорей покончить с войной и приступить к мирному строительству на фронте труда!

Я жду вашего ответа, товарищи красноармейцы! Я должен сейчас же передать его Реввоенсовету армии!

Военный комиссар кончил речь и стоял насупившись,— ему было хорошо и неловко. Красноармейцы тоже молчали. А у Пухова все дрожало внутри.

«Вот это дело,— думал он,— вот она, большевистская война,— нечего тут яйца высиживать!»

Никто уже не слышал ветра и не видел ночных гор. Мир затмился во всех глазах, как дальнее событие, каждый был занят общей жизнью. Фонарь на дворе тоже потух, израсходовав свой керосин, и никто этого не заметил.

Вдруг из рядов выступает один красноармеец и определенно говорит:

— Товарищ комиссар! Передайте Реввоенсовету армии и всему командованию, что мы ждем приказа о выступлении! Мы того не ждали, чтобы нам оказали такую высокую честь и поручили прикончить Врангеля! Я в том убежден, что говорю от чистого сердца всех красноармейцев, если скажу, что, стало быть, мы благодарим и также клянемся отдать свою кровную силу и жизнь, раз то надо Советской власти,— вот и все! Чего там волынку тянуть и чего ждать, раз люди в Советской России с голоду умирают, а тут сволочь в Крыму сидит и мешается!

Красноармейцы заволновались и радостно загудели, хотя, по здравому смыслу, радоваться было нечему. Вышел еще один красноармеец и заявил:

— Правильно штаб сделал, что десант назначил. С Перекопа пусть Врангеля трахнут в морду, а мы разом —

в зад, вот тогда он с корнем ляжет, и английские корабли ему спасенья не дадут!

Тут опять выходит комиссар:

— Товарищи красноармейцы! Мы в штабе так и знали! Мы ждали от вас той высокой сознательности и беззаветности революции, которую вы сейчас здесь проявили! От имени Реввоенсовета и командования армии выражаю вам благодарность и прошу считать те слова, которые я сказал, военной тайной. Вы знаете, что Новороссийск полон белогвардейскими шпионами, и мы будем обречены на гибель, если кто что узнает! Приказ о выступлении будет дан особо. Спасибо, товарищи!

Комиссар спешно ушел, а красноармейцы еще стояли. Пухов подошел к ним и начал слушать. В первый раз в жизни ему стало так стыдно за что-то, что кожа покраснела под щетиной. Оказалось, что на свете жил хороший народ и лучшие люди не жалели себя.

Холодная ночь наливалась бурей, и одинокие люди чувствовали тоску и ожесточение. Но никто в ту ночь не показывался на улицах, и одинокие тоже сидели дома, слушая, как хлопают от ветра ворота. Если же кто шел к другу, спеша там растратить беспокойное время, то обратно домой не возвращался, а ночевал в гостях. Каждый знал, что его ждет на улице арест, ночной допрос, просмотр документов и долгое сидение в тухлом подвале, пока не установится, что сей человек всю жизнь побирался, или пока не будет одержана большевиками окончательная победа.

А меж тем крестьяне из северных мест, одевшись в шинели, вышли необыкновенными людьми,— без сожаления о жизни, без пощады к себе и к любимым родственникам, с прочной ненавистью к знакомому врагу. Эти вооруженные люди готовы дважды быть растерзанными, лишь бы и враг с ними погиб и жизнь ему не досталась.

Ночью Пухов играл с красноармейцами в шашки и рассказывал им о командире, которого никогда не видел. Пухов, не видя удовольствия в жизни, привык украшать ее геройскими рассказами, и всем становилось от того веселей.

В отряде, назначенном в десант, было пятьсот человек, и случилось, что все они из разных мест.

Поэтому на другой день пошло пятьсот писем в пятьсот русских деревень.

Целых полдня красноармейцы малевали и карякали

бумагу, прощаясь с матерями, женами, отцами и более дальними родственниками.

Пухов тоже помогал, кто особо слаб был в буквах, и выдумывал такие письма, что красноармейцы одобряли:

— Складно ты пишешь, Фома Егорыч, мои плакать будут!

— А то как же? — говорил Пухов.— Хохотать тут нечего: дело не шуточное! Чудак ты человек!

После обеда Пухов пошел к комиссару:

— Товарищ комиссар, меня в десант возьмете?

— Возьмем, товарищ Пухов, затем тебя и звали вчера на собрание! — ответил комиссар.

— Только я прошу, товарищ комиссар, назначить меня механиком на «Шаню» — там, я слыхал, паровая машина, а на «Марсе» керосиновый мотор, он мне не сподручен: дюже мал!

— На «Шане» — там есть свой механик — турок! — сказал комиссар.— Ну, ладно: мы тебя в помощники назначим, а на «Марс» возьмем шофера! А ты что, не сладишь с керосиновым мотором, что ли?

— Мотор — ерундовая вещь, паровая машина крепче берет. Неохота мне, товарищ комиссар, в геройском походе с таким дерьмом возиться! Это примус, а не машина, сами видите!

— Ну, ладно,— согласился комиссар,— поедешь на «Шане», раз так. В десанте люди едут добровольно и делают, что им способней! А уж в походе, брат, не мудри!..

Пухов взял пропуск и пошел на «Шаню» — машину поглядеть. Ему лишь бы машина была, там он считал себя дома.

С турецким машинистом он сошелся скоро, сказав, что главное дело — смазка, тогда никакой работой машину не погубишь.

— Это справедливо,— хорошо по-русски сказал турок,— масло — доброта, оно машину бережет! Кто масла много дает, тот любит машину, то есть механик!

— Ну, понятно,— обрадовался Пухов,— машина любит конюха, а не наездника: она живое существо!

На том они и подружили.

Ночью, против окрепшего ветра, отряд шел в порт на посадку. Пухов не знал, к кому ему притулиться, и шел сбоку, гремя полученным казенным чайником. Но красноармейцы сразу его одернули:

— Сказано — иди тайком, чего ты громыхаешь?

— А чего мне таиться-то: не на грабеж идем! — сказал Пухов.

— Приказано не шуметь,— тихо ответил красноармеец Баронов,— затем и людей в городе в губчок попрятали, чтобы шпионов не было!

Шли долго и бесшумно, еле хрустя влажным песком. Огромные порожние склады стояли в темноте, и в них бурчал ветер. Голодные крысы метались всюду, питаясь неизвестно чем.

Ночь была непроглядна, как могильная глубина, но люди шли возбужденно, с тревожным восторгом в сердце, похожие на древних потаенных охотников.

Глубокие времена дышали над этими горами — свидетели мужества природы, посредством которого она только и существовала. Эти вооруженные путники также были полны мужества и последней смелости, какие имела природа, вздымая горы и роя водоемы.

Только потому красноармейцам, вооруженным иногда одними кулаками, и удавалось ловить в степях броневые автомобили врага и разоружать, окорачивая, воинские эшелоны белогвардейцев.

Молодые, они строили себе новую страну для долгой будущей жизни, в неистовстве истребляя все, что не ладилось с их мечтой о счастье бедных людей, которому они были научены политруком.

Они еще не знали ценности жизни, и поэтому им была неизвестна трусость — жалость потерять свое тело. Из детства они вышли в войну, не пережив ни любви, ни наслаждения мыслью, ни созерцания того неимоверного мира, где они находились. Они были неизвестны самим себе. Поэтому красноармейцы не имели в душе цепей, которые приковывали бы их внимание к своей личности. Поэтому они жили полной общей жизнью с природой и историей,— и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности.

В мрачной темноте засияли перемежающимся светом огни судовых сигналов. Отряд вступил на помост пристани. Сейчас же началась посадка.

На «Шаню» посадили весь отряд, на катер «Марс» — двадцать человек разведки, а на истребитель — военморов. Пухов влез в машинное отделение «Шани» и почувствовал себя очень хорошо. Близ машины он всегда был добродушен. Он закурил и прохаркнулся громким голосом,

устав молчать и выдувая из легких спертые, застоявшиеся газы.

Часа два еще гремели красноармейские башмаки по палубе и по трапам.

Чувствуя достаточное удовольствие от этих беспокойных событий, Пухов не усидел внизу и выскочил на палубу.

Черные тела людей, трепещущие в неярком свете фонарей, тихо ползли по трапам, крепко прижав к себе винтовки и все походные принадлежности, чтобы ничто не стукнуло.

Ночь от фонарей стала еще огромней и темней,— не верилось, что существует живой мир. В глубинах тьмы тонул небольшой ветер, шевеля какие-то вещи на пристани.

Кратко и предостерегающе гудели пароходы, что-то говоря друг другу, а на берегу лежала наблюдающая тьма и влекущая пустыня. Никакого звука не доходило до города, только с гор сквозило рокотание далекой быстрой реки.

Неиспытанное чувство полного удовольствия, крепости и необходимости своей жизни охватило Пухова. Он стоял, упершись спиной в лебедку, и радовался этой таинственной ночной картине — как люди молча и тайком собирались на гибель.

В давнем детстве он удивлялся пасхальной заутрене, ощущая в детском сердце неизвестное и опасное чудо. Теперь Пухов снова пережил эту простую радость, как будто он стал нужен и дорог всем — и за это всех хотел незаметно поцеловать. Похоже было на то, что всю жизнь Пухов злился и оскорблял людей, а потом увидел, какие они хорошие, и от этого стало стыдно, но чести своей уже не воротишь.

Море покойно шуршало за бортом, храня неизвестные предметы в своих недрах. Но Пухов не глядел на море,— он в первый раз увидел настоящих людей. Вся прочая природа также от него отдалилась и стала скучной.

К часу ночи посадка окончилась. С берега раздалось последнее приветствие от Реввоенсовета армии. Комиссар что-то рассеянно туда ответил, он был занят другим.

Раздалась морская резкая команда,— и сушь начала отдаляться.

Десантные суда отчалили в Крым.

Через десять минут последняя видимость берега растаяла. Пароходы шли в воде и в холодном мраке. Огни были потушены, людей разместили в трюме,— все сидели в темноте и духоте, но никто не засыпал.

Приказано было не курить, чтобы случайно не зажечь судна. Разговаривать тоже запретили, так как командир и комиссар старались придать «Шане» безлюдный вид мирного торгового парохода.

Судно шло тайком, глухо отсекая пар. Где-то недалеко, затерянные в ночной гуще, ползли «Марс» и истребитель. Время от времени они давали о себе знать матросским длинным свистом. «Шаня» им отвечала коротким густым гудком.

Суда продирались в сплошной каше тьмы, напрягая свои небольшие машины.

Ночь проходила тихо. Красноармейцам она казалась долгой, как будущая жизнь. Возбуждение понемногу проходило, а длительная темнота постепенно напрягала душу тайной тревогой и ожиданием внезапных смертельных событий.

Море насторожилось и совсем примолкло. Винт греб невидимо что, какую-то тягучую влагу, и влага негромко мялась за бортом. Не спеша истекало томительное время. Горы бледно и застенчиво светились близким утром, но море уже было не то. Спокойное зеркало его, созданное для загляденья неба, в тихом исступлении смешало отраженные видения. Мелкие злобные волны изуродовали тишину моря и терялись от своего множества, в тесноте раскачивая водяные недра.

А вдали — в открытом море — уже шевелились грузные медленные горы, рыли пучины и сами в них рушились. И оттуда неслась по мелким гребням известковая пена, шипя, как ядовитое вещество.

Ветер твердел и громил огромное пространство, погасая где-то за сотни верст. Капли воды, выдернутые из моря, неслись в трясущемся воздухе и били в лицо, как камешки.

На горах, наверно, уже гоготала буря, и море свирепело ей навстречу.

«Шаня» начала метаться по расшевелившемуся морю, как сухой листик, и все ее некрепкое тело уныло поскрипывало.

Каменный, тяжелый норд-ост так раскачивал море, что «Шаня» то ползла в пропасти, окруженная валами

воды, то взлетала на гору — и оттуда видны были на миг чьи-то далекие страны, где, казалось, стояла синяя тишина. В воздухе чувствовалось тягостное раздражение, какое бывает перед грозой.

День давно наступил, но от норд-оста захолодало, и красноармейцы студились.

Родом из сухих степей, они почти все лежали в желудочном кошмаре; некоторые вылезли на палубу и, свесившись, блевали густой желчью. Отблевавшись, они на минуту успокаивались, но их снова раскачивало, соки в теле перемешивались и бурлили как попало, и красноармейцев опять тянуло на рвоту. Даже комиссар забеспокоился и неугомонно ходил по палубе, схватываясь при качке за трубу или за стойку. Блевать его не тянуло — он был из моряков.

«Шаня» приближалась к самому опасному месту — Керченскому проливу, а буря никак не укрощалась, силясь выхватить море из его глубокой обители.

«Марс» и истребитель давно пропали в пучинах урагана и на сигналы «Шани» перестали отвечать.

Командир «Шани» судном уже не управлял — кораблем правила трепещущая стихия.

Пухов от качки не страдал. Он объяснял машинисту, что это изжога ему помогает, которой он давно болеет.

С машиной тоже справиться было трудно: все время менялась нагрузка — винт то зарывался в воду, то выскакивал на воздух. От этого машина то визжала от скорости, трясясь всеми болтами, то затихала от перегрузки.

— Мажь, мажь ее, Фома, уснащивай ее погуще, а то враз запорешь на таких оборотах! — говорил машинист.

И Пухов обильно питал машину маслом, что он уважал делать, и приговаривал:

— А-а, стервозия, я ж тебя упокою! Я ж тебя угромощу!

Часа через полтора «Шаня» проскочила Керченский пролив.

Комиссар спустился на минуту в машинное отделение прикурить, так как у него взмокли спички.

— Ну, как она? — спросил его Пухов.

— Она-то ничего, да он-то плох! — пошутил комиссар, улыбаясь усталым, изработавшимся лицом.

— А что так? — не понял Пухов.

— А ничего — все хорошо, — сказал комиссар. — Спасибо норд-осту, а то бы нас давно белые угомонили!

— Это как же так?

— А так,— объяснил комиссар.— Керченский пролив охраняется у белых военными крейсерами. А от бури они все укрылись в Керченскую гавань и поэтому нас не заметили! Понял?

— Ну, а прожекторами отчего нас не нащупали? — допытывался Пухов.

— Ого! Вся атмосфера тряслась, какие тут прожектора!

В полдень «Шаня» шла уже в крымских водах, но море по-прежнему изнемогало в буре и устало билось в борт парохода.

Скоро на горизонте показался неизвестный дымок. Капитан судна, командир отряда и комиссар долго наблюдали за тем дымком. Потом «Шаня» взяла курс в открытое море — и дымок пропал.

Норд-ост не прекращался. Это несчастье радовало капитана и комиссара. Сторожевые белогвардейские суда считали бдительность в такой шторм излишней и сидели в береговых щелях.

Комиссар тем и объяснял, что «Шаня» цела, и надеялся на высадку десанта на берег, как только стихнет буря и наступит ночь.

Пухов не вылезал из машинного, обливаясь пóтом у бесившейся машины и стращая ее всякими словами.

В четвертом часу дня на горизонте сразу объявились четыре дымка. Они стали ходко приближаться, как бы обхватывая «Шаню». Одно судно совсем разглядело «Шаню» и стало давать сигналы об остановке.

Красноармейцы хоть и не догадывались как и что, а тоже высыпали на палубу и заметались от любопытства.

Капитан «Шани» по дыму догадался, что одно из судов наверняка военный крейсер.

Выходило, что десанту пришло время добровольно пускать себя ко дну.

Капитан и комиссар не сходили с рубки, стараясь найти какой-нибудь исход для спасения. Всем красноармейцам приказано было уйти в трюм, чтобы судно противника не обнаружило военного значения «Шани».

Норд-ост ревел с неизбывной силой и сметал «Шаню» с ее курса. Четыре неизвестных корабля тоже с трудом удерживали курс и не могли принять направления на «Шаню».

Скоро три дымка исчезли из зрения,— их куда-то отшиб зверский норд-ост. Зато четвертое судно неотступно подбиралось к «Шане». Иногда уже явственно обнажался его корпус. Капитан разглядел, что это быстроходный и хорошо вооруженный торговый пароход и что он нагоняет «Шаню». Только шторм никак не допускает то судно подойти к «Шане» вплотную. Затем пароход стал допрашивать «Шаню», куда она идет. «Шаня», войдя в крымские воды, шла под врангелевским флагом. На вопрос белогвардейского парохода «Шаня» ответила, что идет из Керчи в Феодосию и везет рыбу.

На палубе оставалось только четверо турок в костюмах своей родины, а все военные люди вместе с комиссаром и командиром десанта сидели в трюме. Поэтому, когда белые купцы подошли к «Шане», то только поглядели в бинокли и пошли прочь. Буксировать «Шаню» они не захотели,— наверное, из-за опасного шторма.

Остальной день прошел спокойно. Иногда показывались какие-то пароходы, но сейчас же исчезали: они боялись «Шани» еще больше, чем она их.

Красноармейцы, замученные тошнотой и сырым холодом, старались нарочно быть веселыми и стыдились отчего-то морской болезни. Им надоело тоскливое плавание, и они даже обрадовались, когда узнали, что подходит белогвардейский пароход, вооруженный четырьмя пушками. Красноармейцам море было незнакомо, и они не верили, что та стихия, от которой только тошнит, таит в себе смерть кораблей.

— Пускай подходит! — сказал красноармеец-тамбовец.— Мы его смажем.

— Как же ты его смажешь? — спросил комиссар.— У него пушки на борту!

— А вот увидишь,— заявил тамбовец,— из винтовок так и смажем!

Привыкшие брать броневые автомобили на ходу, с одними винтовками в руках, красноармейцы и на море думали побеждать посредством винтовки.

Иногда мимо «Шани» проносились целые водяные столбы, объятые вихрем норд-оста. Вслед за собой они обнажали глубокие бездны, почти показывая дно моря.

Внезапно после такого морского столба показался пропавший ночью катер «Марс». Его совсем затрепало. Глыбы воды громили и рушили его оснастку и норовили совсем перекувырнуть. Но «Марс» упорно отфыркивался

и метался по волнам, еле живой от своего упрямства. Он хотел пристать к «Шане», но волна откидывала его прочь в пучину.

Вся команда «Марса» и двадцать человек разведки, которую он вез, стояла на палубе, держась за снасти.

Люди что-то бешено кричали на «Шаню», но гром бури рвал их голоса, и ничего не было слышно. Лица людей затмились бессмысленностью, глаза выцвели от злобного отчаяния, и смертельная бледность на них лежала, как белая намазанная краска.

Казнь наступающей смерти терзала их еще больше от близости «Шани». Люди на «Марсе» рвали на себе последнюю казенную одежду и рычали по-звериному, показывая даже кулаки. Они вопили сильнее бури, а один толстый красноармеец сидел верхом на рее и ел хлеб, чтобы зря не пропал паек.

Глаза гибнущих людей торчали от выпученной ненависти, и ноги их неистово колотили в палубу, обращая па себя внимание.

Пухов стоял наверху и глядел на «Марс».

— Чего они там бесятся? — спросил он у комиссара.— Тонут, что ли, или испугались чего?

— Должно быть, течь у них,— ответил комиссар,— надо как-нибудь помочь!

Красноармейцев в трюме было не удержать. Они стояли на палубе и тоже что-то кричали на «Марс», позоря испуг несчастных.

Вся «Шаня» терзалась за отряд и команду «Марса»; командир в бешенстве кричал на капитана, комиссар тоже ему помогал, а капитан никак не мог подойти к «Марсу».

Когда «Шаню» подшвырнуло к «Марсу», то оттуда закричали, что вода уже в машинном отделении.

Еще послышалась с «Марса» гармоника — кто-то там наигрывал перед смертью, пугая все законы человеческого естества.

Пухов это как раз явственно услышал и чему-то обрадовался в такой неурочный час.

В затихшую секунду, когда «Марс» подскочил к «Шане», чистый голос, поверх криков, вторил чьей-то тамошней гармонике:

Мое яблочко
Несоленое,
В море Черное
Уроненное...

— Вот сволочь! — с удовольствием сказал Пухов про веселого человека на «Марсе» и плюнул от бессильного сочувствия.

— Спускай лодку! — крикнул капитан, потому что «Марс» торчал одной палубой, а корпус его уже утонул.

Лодка, еле опущенная на воду, сейчас же трижды перевернулась, и два матроса на ней исчезли невидимо куда.

Вдруг крутой взмах шквала схватил «Марс» и швырнул его так, что он очутился над «Шаней».

— Сигай вниз! — заорал усердней всех Пухов.

Люди на «Марсе» вздрогнули, помертвели до черноты лица и бросились как попало вниз — на палубу «Шани». Падая на «Шаню», они валились, как дохлые тела, и ломали руки ловившим их, а Пухова совсем сшибли с ног. Это ему не понравилось.

— Легче! — шумел он.— На Врангеля шли, черти, а чистой воды боятся!

Через несколько секунд весь «Марс» сгрузился на «Шаню», только двое пролетели мимо, промахнувшись в морскую прорву.

На «Марсе» что-то гулко заныло, и он разлетелся от внутреннего взрыва в щепки и железки.

Пухов ходил среди спасенных людей и каждого спрашивал:

— Это не ты пел там?

— Нет, куды там петь! — отвечал красноармеец или матрос с «Марса».

— Да ты и не похож на того! — говорил недовольно Пухов и шел дальше.

Так ни одного и не нашлось,— никто, оказывается, не пел и на гармонике не играл. А ведь слышался звук, и даже слова песни Пухов запомнил.

Вечерело уже, а шторм лютовал и не собирался отдыхать.

— И откуда он, дьявол, выходит,— посмотрел бы я то место! — говорил себе Пухов, качаясь вместе с машиной в трюме.

Вечером начальство на «Шане» долго совещалось. «Шаня» имела большую перегрузку и к крымскому берегу близко подойти не могла. К тому же норд-ост все время отжимал судно в открытое море, и десант высадить все равно нельзя. А долго задерживаться в море очень опасно — первый сторожевой крейсер белых пустит «Шаню» на дно.

Совещались долго. Матросы не сдавались и советовали переждать шторм, а там видно будет.

— Ну, вернемся в Новороссийск,— говорил командир разведки матрос Шариков,— а там что? Во-первых, жары нагонят, что самовольно вернулись, а во-вторых, что же, все по-дурному пойдет: ведь Врангель цел останется.

— Ты, Шариков, забыл,— сказал ему военный комиссар,— что от «Марса» твоего одни щепки плавают, истребитель пропал — тоже, должно, купается,— а «Шаня» кирпичом ворочается от нагрузки!.. Что ж, по-твоему, обязательно ему и «Шаню» на дно пустить?..

— Ну, как хочешь! — сказал Шариков.— Только и ворочаться дюже срамно!

Однако к ночи порешили, что надо уходить обратно на Новороссийск.

К полуночи норд-ост начал слабеть, но море носилось по-прежнему. «Шаня» кое-как влекла себя домой.

В Керченском проливе ее нащупали береговые прожектора, но стрельбы из крепостных орудий белые не открыли. Может быть, потому, что на «Шане» еще болтался обрывок врангелевского флага.

Под утро «Шаня» выгружалась в Новороссийске.

— Срамота чертова! — обижались красноармейцы, собирая вещи.

— Чего ж срамота-то? — урезонивал их Пухов.— Природа, брат, погуще человека! Крейсера и то в береговых загогулинах стояли!

— Ничего,— говорил недовольный матрос Шариков,— вот Перекоп прошибут, тогда и без нас, без сопливых, обойдутся!

Так оно и случилось: Шариков как в озеро глядел.

В тот же вечер Реввоенсовет приказал повторить десант.

Отряд в ночь снова погрузился, и «Шаня» подняла пары.

Шариков радостно метался по судну и каждому что-нибудь говорил. А военный комиссар чувствовал свою дурость, хотя в Реввоенсовете ему ничего плохого не сказали.

— Ты рабочий? — спрашивал Шариков у Пухова.

— Был рабочий, а буду водолаз! — отвечал Пухов.

— Тогда почему ж ты не в авангарде революции? — совестил его Шариков.— Почему ж ты ворчун и беспартиец, а не герой эпохи?..

— Да не верилось как-то, товарищ Шариков,— объяснил Пухов,— да и нартком у нас в дореволюционном доме губернатора помещался!

— Чего там дореволюционный дом! — еще пуще убеждал Шариков.— Я вот родился до революции, и то терплю!

Перед самым отходом комиссар десанта отлучился — пошел депешу дать о благополучном отплытии.

Через полчаса он вернулся, но па судно не пошел, а остался на пристани, смеялся и кричал:

— Слазь!

— Что ты, голова, очумел, что ли? Чего — слазь? — допрашивал его с борта Шариков.

— Слазь, говорю! — шумел комиссар.— Перекоп взят, Врангель бежит! Вот приказ — десант отменяется!

Шариков и прочие поникли.

— Вот тебе раз! — сказал один красноармеец.— Тут бы Врангеля и крыть в зад, ведь он на корабли бежит, а тут — отменяется!..

— Я ж говорил, что в Крыму без сопливых обойдутся!..— начал Шариков, а кончил по-своему.

— Будя тебе ерепениться! — увещал Шарикова Пухов.— Пускай Врангель плывет,— другого кого-нибудь избузуешь!

— Эх!..— крикнул Шариков и треснул кулаком по стойке, добавив кой-какой словесный материал.

— Дуй вплавь через пролив! — посоветовал ему Пухов.— Ты вещь маленькая, тебя прожектор не ухватит! Высадишь себя — десант получится!

— И то,— сказал было Шариков, по потом одумался: — Вода только холодная, да и волна большая — сразу захлебнешься!

— А ты обожди погодку! — рассказывал Пухов.— А воздух в подштанники надуешь, станешь захлебываться, пробей дырочку и вздохнешь.

— Нет, то чушь, то не морское дело! — отказывался Шариков.

Через два дня стало известно, что пропавший истребитель добрался до крымских берегов и высадил сто человек матросов.

— Я ж так и знал! — горевал Шариков.— На истребителе Кныш командовал, а я связался с сухопутной курицей!

3

— Пухов! Война кончается! — сказал однажды комиссар.

— Давно пора,— одними идеями одеваемся, а норток нету!

— Врангель ликвидируется! Красная Армия Симферополь взяла! — говорил комиссар.

— Чего не брать? — не удивлялся Пухов.— Там воздух хороший, солнцепек крутой, а Советскую власть в спину вошь жжет, она и прет на белых!

— При чем тут вошь? — сердечно обижался комиссар.— Там сознательное геройство! Ты, Пухов, полный контр!

— А ты теории-практики не знаешь, товарищ комиссар! — сердито отвечал Пухов.— Привык лупить из винтовки, а по науке-технике контргайка необходима, иначе болт слетит на полном ходу! Понимаешь эту чушь?

— А ты знаешь приказ о трудовых армиях? — спросил комиссар.

— Это чтобы жлобы слесарями сразу стали и заводы пустили? Знаю! А давно ты их ноги вкрутую ставить научил?

— В Реввоенсовете не дураки сидят! — серьезно выразился комиссар.— Там взвесили «за» и «против»!

— Это я понимаю,— согласился Пухов.— Там — задумчивые люди, только жлоб механики враз не поймет!

— Ну, а кто ж тогда все чудеса науки и ценности международного империализма произвел? — заспорил комиссар.

— А ты думал, наровоз жлоб сгондобил?

— А то кто ж?

— Машина — строгая вещь. Для нее ум и ученье нужны, а чернорабочий — одна сырая сила!

— Но ведь воевать мы научились? — сбивал Пухова комиссар.

— Шуровать мы горазды! — не сдавался Пухов.— А мастерство — нежное свойство!

По улице шла в баню рота красноармейцев и пела для бодрости:

Как родная меня мать
Провожа-ала,
На дорогу сухих корок
Собира-ала!..

— Вот дьяволы! — заявил Пухов.— В приличном городе нищету проповедуют! Пели бы, что с пирогами провожала!

Время шло без тормозов. Пушки работали с постоянно уменьшающимся напряжением. Красноармейские резервы изучали от безделья природу и общество, готовясь прочно и долго жить.

Пухов посвежел лицом и лодырничал, называя отдых свойством рабочего человека.

— Пухов, ты бы хоть в кружок записался, ведь тебе скучно! — говорил ему кто-нибудь.

— Ученье мозги пачкает, а я хочу свежим жить! — иносказательно отговаривался Пухов не то в самом деле, не то шутя.

— Оковалок ты, Пухов, а еще рабочий! — совестил его тот.

— Да что ты мне тень на плетень наводишь: я сам — квалифицированный человек! — заводил ссору Пухов, и она продолжалась вплоть до оскорбления революции и всех героев и угодников ее. Конечно, оскорблял Пухов, а собеседник, разыгранный вдрызг, в удручении оставлял Пухова.

В глупом городе, с неровным, порочным климатом, каким тогда был Новороссийск, Пухов прожил четыре месяца, считая с ночного десанта.

Числился он старшим монтером береговой базы Азово-Черноморского пароходства. Пароходство это учредила новороссийская власть, чтобы Северный Кавказ поскорей на мирную страну походил. Но пароходы не могли тронуться по случаю разлаженных машин,— и Северный Кавказ совершенно напрасно считал себя мирной морской державой.

Одна аульская стенная газета даже назвала Северный Кавказ «восточной советской Англией», вследствие наличия одного морского берега и четырех пароходов, которые пока не плавали.

Пухов ежедневно осматривал пароходные машины и писал рапорты об их болезни: «В виду сломатия штока и дезорганизованности арматуры, ведущую машину парохода «Нежность» пустить невозможно, и думать даже нечего. Пароход же, по названию «Всемирный Совет», болен взрывом котла и общим отсутствием топки, которая куда делась — нельзя теперь дознаться. Пароходы «Шаня» и «Красный всадник» пустить в ход можно

сразу, если сменить им разможженные цилиндры и сирены приделать, а цилиндры расточить теперь немыслимое дело, так как чугуна готового земля не рождает, а к руде никто от революции руками не касается. Что же до расточки цилиндров, то трудовые армии точить ничего не могут, потому что они скрытые хлебопашцы».

Иногда Пухова вызывал на личный доклад политком береговой базы. Пухов ему все рассказывал, как и что делается на базе.

— Чего ж твои монтеры делают? — спрашивал политком.

— Как что? Следят непрерывно за судовыми механизмами!

— Но ведь они не работают! — говорил политком.

— Что ж, что не работают! — сообщил Пухов.— А вредности атмосферы вы не учитываете: всякое железо — не говоря про медь — враз скиснет и опаршивеет, если за ним не последить!

— А ты бы там подумал и попробовал, может, сумеешь поправить пароходы! — советовал политком.

— Думать теперь нельзя, товарищ политком! — возражал Пухов.

— Это почему нельзя?

— Для силы мысли пищи не хватает: паек мал! — разъяснял Пухов.

— Ты, Пухов, настоящий очковтиратель! — кончал беседу комиссар и опускал глаза в текущие дела.

— Это вы очковтиратели, товарищ комиссар!

— Почему? — уже занятый делом, рассеянно спрашивал комиссар.

— Потому, что вы делаете не вещь, а отношение! — говорил Пухов, смутно припоминая плакаты, где говорилось, что капитал не вещь, а отношение; отношение же Пухов понимал как ничто.

В один день, во время солнечного сияния, Пухов гулял в окрестностях города и думал, сколько порочной дурости в людях, сколько невнимательности к такому единственному занятию, как жизнь и вся природная обстановка.

Пухов шел, плотно ступая подошвами. Но через кожу он все-таки чувствовал землю всей голой ногой. Это даровое удовольствие, знакомое всем странникам, Пухов тоже ощущал не в первый раз. Поэтому движение по земле всегда доставляло ему телесную прелесть — он шагал

почти со сладострастием и воображал, что от каждого нажатия ноги в почве образуется тесная дырка, и поэтому оглядывался: целы ли они?

Ветер тормошил Пухова, как живые руки большого неизвестного тела, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее, и Пухов шумел своей кровью от такого счастья.

Эта супружеская любовь цельной, непорочной земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу.

Садясь в бурьян, Пухов отдавался отчету о самом себе и растекался в отвлеченных мыслях, не имеющих никакого отношения к его квалификации и социальному происхождению.

Вспоминая усопшую жену, Пухов горевал о ней. Об этом он никогда никому не сообщал, поэтому все действительно думали, что Пухов корявый человек и вареную колбасу на гробе резал. Так оно и было, но Пухов делал это не из похабства, а от голода. Зато потом чувствительность начинала мучить его, хотя горестное событие уже кончилось. Конечно, Пухов принимал во внимание силу мировых законов вещества и даже в смерти жены увидел их справедливость и примерную искренность. Его вполне радовала такая слаженность и гордая откровенность природы и доставляла сознанию большое удовольствие. Но сердце его иногда тревожилось и трепетало от гибели родственного человека и хотело жаловаться всей круговой поруке людей на общую беззащитность. В эти минуты Пухов чувствовал свое отличие от природы и горевал, уткнувшись лицом в нагретую своим дыханием землю, смачивая ее редкими, неохотными каплями слез.

Все это было истинным, потому что нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся.

В такие сосредоточенные часы даже далекий Зворычный был мил и дорог Пухову, и он думал: как бы хорошо встретиться с ним и побеседовать по душам.

Пухову казалось странным, что никто на него внимания не обращал: звали только по служебному делу.

Красноармейцы понемногу отпускались из армии по домам и навсегда пропадали в дальних, глухих дерев-

пях, унося свежесть и тайну революции. Город без них оставался дореволюционной сиротой, надевал полежалый сюртук скуки и надлежаще копался по своему хозяйству.

— Ну, ладно — ухожу и я! — решил Пухов и со злобой степного человека поглядел на дикие горы, очертенело загромоздившие пешеходную землю.

О своем уходе Пухов начальнику не сказал, чтобы никого не удручать и себя не обременять.

Тронулся Пухов одиноким, как и прибыл сюда. Тоска по родному месту взяла его за живое, и он не понимал, как можно среди людей учредить Интернационал, раз родина — сердечное дело и не вся земля.

Со станции Тихорецкой поезда на Ростов не шли, а ходили в обратную сторону — на Баку.

Из Баку Пухов собирался дойти до родины — вкось по берегу Каспийского моря и по Волге, не особенно разбираясь в географии. Он думал, что на этом маршруте пшеницы больше растет, а сытно питаться любил.

В дороге, на пустой нефтяной цистерне, Пухов устал и опал телом. Ел он один пайковый хлеб, что получил еще в Новороссийске,— и то не в полную досталь.

На дороге встречались худые деревья, горькая, горелая трава и всякий другой живой и мертвый инвентарь природы, ветхий от климатического износа и топора походов войны.

Историческое время и злые силы свирепого мирового вещества совместно трепали и морили людей, а они, поев и отоспавшись, снова жили, розовели и верили в свое особое дело. Погибшие, посредством скорбной памяти, тоже подгоняли живых, чтобы оправдать свою гибель и зря не преть прахом.

Пухов глядел на встречные лощины, слушал звон поездного состава и воображал убитых — красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность. Он находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость.

Когда умерла его жена — преждевременно, от голода, запущенных болезней и в безвестности,— Пухова сразу прожгла эта мрачная неправда и противозаконность события. Он тогда же почуял, куда и на какой конец света идут все революции и всякое людское беспокойство. Но знакомые коммунисты, прослушав мудрость Пухова, злостно улыбались и говорили:

— У тебя дюже масштаб велик, Пухов; наше дело мельче, но серьезней.

— Я вас не виню,— отвечал Пухов,— в шагу человека один аршин, больше не шагнешь; но если шагать долго подряд, можно далеко зайти,— я так понимаю. А конечно, когда шагаешь, то думаешь об одном шаге, а не о версте, иначе бы шаг не получился.

— Ну, вот видишь, ты сам понимаешь, что надо соблюдать конкретность цели,— объяснили коммунисты, и Пухов думал, что они ничего ребята, хотя напрасно бога травят: не потому, что Пухов был богомольцем, а потому, что в религию люди сердце помещать привыкли, а в революции такого места не нашли.

— А ты люби свой класс,— советовали коммунисты.

— К этому привыкнуть еще надо,— рассуждал Пухов,— а народу в пустоте трудно будет: он вам дров наворочает от своего неуместного сердца.

...В Баку Пухова приняли хорошо, потому что Пухов встретился с матросом Шариковым.

— Ты зачем приехал? — спросил Шариков, ворочая большие бумаги на дорогом столе и разыскивая в них толк.

— Укреплять революцию! — сразу заявил Пухов.

— А я, брат, Каспийское пароходство налаживаю, только ни хрена не выходит! — спроста объяснил Шариков.

— А ты чего писцом стал: бери молоток и латай корабли лично! — разрешил Пухов мучение Шарикова.

— Чудак ты, я ж всеобщий руководитель Каспийского моря! Кто ж тогда будет заправлять тут всей красной флотилией?

— А чего ей заправлять, раз люди сами работать будут? — разъяснял Пухов, ничего не думая.

Шариков, однако, скучал по корабельной жизни и тяжело вздыхал за писчим делом. Резолюции он клал лишь в двух смыслах: «пускай» и «не надо».

Ночевать и харчиться Пухов пошел к Шарикову. Шариков жил у одной вдовы по улице Шварца. В свободные вечера, когда не было собраний или еще чего необходимого, Шариков делал вдове табуретки, а читать ничего не мог. Говорил, что от чтения он с ума начинает сходить и сны по ночам видит.

— У тебя грузный корпус — кровей много! — открыл-

ему Пухов.— А для умственной работы ряжка толста. Тебе обязательно надо кровь слить!

— Куда ж ее слить? — искал спасения Шариков.

— Лей в ведро! — советовал Пухов.— Давай я тебя ножом полосну — паровоз тоже лишний пар спущает!

— Брось ты скрипеть! — отставлял Шариков.— Я теперь сам похудею — от одного покоя. Ты знаешь, я от боев и классовой солидарности всегда становлюсь гуще и комплектней телом, а как все пройдет — я сам усохну!

Пожил у Шарикова Пухов с неделю, поел весь запас пищи у вдовы и оправился собой.

— Что ты, едрена мать, как хворостина мотаешься, дай я тебя к делу пришью! — сказал однажды Шариков Пухову.

Но Пухов не дался, хотя Шариков предлагал ему стать командиром нефтеналивной флотилии.

Баку Пухову не нравился. В другое время его бы не вытащить оттуда, а сейчас все машины стояли молча и буровые вышки прели на солнце.

Песок несся ветром так, что жужжал и влеплялся во все скважины открытого лица, отчего Пухова разбирала тяжкая злоба. Жара тоже допимала, несмотря на неурочное время — октябрь.

Решил Пухов скрыться отсюда и сказал о том Шарикову, когда он пришел со своего служебного поста.

— Катись! — разрешил Шариков.— Я тебе путевку дам в любое место республики, хотя ты кустарь Советской власти!

На третьи сутки Пухов тронулся. Шариков дал ему командировку в Царицын — для привлечения квалифицированного пролетариата в Баку и заказа заводам подводных лодок, на случай войны с английскими интервентами, засевшими в Персии.

— Устроишь? — спросил Шариков, вручая командировку.

— Ну вот еще,— обиделся Пухов.— Что там, подводных лодок, что ль, не видели? Там, брат, целая металлургия!

— Тогда — сыпь! — успокоился Шариков.

— Ладно! — сказал Пухов, скрываясь.— Зря ты мне особых полномочий не дал и поезд на сорока осях! Я б напугал весь Царицын и сразу все устроил!

— Катись в общем порядке — и так примут коллективно! — ответил на прощанье Шариков и написал па

хлопчатобумажном отношении: «пускай». А в отношении рапортовалось о поглощении морской пучиной сторожевого катера.

4

Начался у Пухова звон в душе от смуты дорожных впечатлений. Как сквозь дым, пробивался Пухов в потоке несчастных людей на Царицын. С ним всегда так бывало — почти бессознательно он гнался жизнью по всяким ущельям земли, иногда в забвении самого себя.

Люди шумели, рельсы стонали под ударами насильно вращаемых колес, пустота круглого мира колебалась в смрадном кошмаре, облегая поезд верещащим воздухом, а Пухов внизывался в ветер вместе со всеми, влекомый и беспомощный, как косное тело.

Впечатления так густо затемняли сознание Пухова, что там не оставалось силы для собственного разумного размышления.

Пухов ехал с открытым ртом — до того удивительны были разные люди.

Какие-то бабы Тверской губернии теперь ехали из турецкой Анатолии, носимые по свету не любопытством, а нуждой. Их не интересовали ни горы, ни народы, ни созвездия, и они ничего ниоткуда не помнили, а о государствах рассказывали, как про волостное село в базарные дни. Знали только цены на все продукты Анатолийского побережья, а мануфактурой не интересовались.

— Почем там веревка? — спросил одну такую бабу Пухов, замышляя что-то про себя.

— Там, милый, веревки и не увидишь — весь базар исходили! Там почки бараньи дешевы, что правда, то правда, врать тебе не хочу! — рассказывала тверская баба.

— А ты не видела там созвездие Креста? Матросы говорили, что видели,— допытывался Пухов, как будто ему нужно было непременно знать.

— Нет, милый, креста не видела, его и нету — там дюже звезды падучие! Подымешь голову, а звезды так и летят, так и летят. Таково страховито, а прелестно! — расписывала баба, чего не видела.

— Что ж ты сменяла там? — спросил Пухов.

— Пуд кукурузы везу, за кусок холстины дали! — жалостно ответила баба и высморкалась, швырнув носовую очистку прямо на пол.

— Как же ты иноземную границу проходила? — допытывался Пухов.— Ведь для документов у тебя карманов нету!

— Да мы, милый, ученые, ай мы не знаем как! — кратко объяснила тверячка.

Один калека, у которого Пухов английским табаком угощался, ехал из Аргентины в Иваново-Вознесенск, везя пять пудов твердой чистосортной пшеницы.

Из дому он выехал полтора года назад здоровым человеком. Думал сменять ножики на муку и через две недели дома быть. А оказывается, вышло и обернулось так, что ближе Аргентины он хлеба не нашел,— может, жадность его взяла, думал, что в Аргентине ножиков нет. В Месопотамии его искалечило крушением в тоннеле — ногу отмяло. Ногу ему отрезали в багдадской больнице. Хромой тоже нигде не заметил земной красоты. Наоборот, он беседовал с Пуховым о какой-то речке Курсавке, где ловил рыбу, и о траве доннике, посыпаемой для вкуса в махорку. Курсавку он помнил, донник знал, а про Великий, или Тихий, океан забыл и ни в одну пальму не вгляделся задумчивыми глазами.

Так весь мир и пронесся мимо него, не задев никакого чувства.

— Что ж ты так? — спросил у хромого Пухов про это, любивший картинки с видами таинственной природы.

— В голове от забот кляп сидел! — отвечал хромой.— Плывешь по морю, глядишь на разные чучелы и богатые державы,— а скучно.

Голод до того заострил разум у простого народа, что он полз по всему миру, ища пропитания и перехитрив законы всех государств. Как по своему уезду, путешествовали тогда безыменные люди по земному шару и нигде не обнаруживали ничего поразительного.

Кто странствовал только по России, тому не оказывали почтения и особо не расспрашивали. Это было так же легко, как пьяному ходить в своей хате. Силы были тогда могучие в любом человеке, никакой рожон не считался обидой. Никто не жаловался на власть или на свое мучение — каждый ко всему притерпелся и вполне обжился. На больших станциях поезд стоял по суткам, а на маленьких — по трое. Мужики-мешочники уходили в степь, косили чужую траву, чтобы мастерство не потерять, возвращались на станцию, а поезд стоял и стоял, как приклеенный. Паровоз долго не мог скипятить воду,

а скипятивши, дрова пожигал и снова ждал топлива. Но тогда вода в котле остывала.

Пухов загорюнился. В такие остановки он ходил по траве, ложился на живот в канаву и сосал какую-нибудь желчную траву, из которой не теплый сок, а яд источался. От этого яда или еще от чего-то Пухов весь запаршивел, оброс шерстью и забыл, откуда и куда ехал и кто он такой.

Время кругом него стояло, как светопреставление, где шевелилась людская живность и грузно ползли объемистые виды природы. А надо всем лежал чад смутного отчаяния и терпеливой грусти.

Хорошо, что люди ничего тогда не чуяли, а жили всему напротив.

В Царицыне Пухов не слез — там дождь шел и вьюжило какой-то гололедицей. Кроме того, над Волгой шелестели дикие ветры, и все пространство над домами угнеталось злобой и скукой. Вышел на привокзальный рынок Пухов — воблы сменять на запасные кальсоны,— и плохо ему стало. Где-то пели петухи — в четыре часа пополудни,— один мастеровой спорил с торговкой о точности безмена, а другой тянул волынку на ливенской гармонии, сидя на брошенной шпале. В глубине города кто-то стрелял, и неизвестные люди ехали на телегах.

— Где тут заводы подводные лодки делают? — спросил Пухов гармониста-мастерового.

— А ты кто такой? — поглядел на него мастеровой и спустил воздух из музыки.

— Охотник из Беловежской пущи,— нечаянно заявил Пухов, вспомнив какое-то странное чтение.

— Знаю! — сказал мастеровой и заиграл унылую, но нахальную песню.— Вали прямо, потом вкось, выйдешь на буераки, свернешь на кузницу, там и спроси французский завод!

— Ладно! Дальше я без тебя знаю! — поблагодарил Пухов и побрел без всякого усердия.

Шел он часа три, на город не смотрел и чувствовал свою усталую, сырую кровь.

Какие-то люди ездили и ходили,— вероятно, по важному революционному делу. Пухов не сосредоточивался на них, а шел молча, изредка соображая, что Шариков — это сволочь: заставил трудиться по ненужному делу.

Около конторы французского завода Пухов остановил какого-то механика, евшего на ходу белую булку.

— Вот — видишь! — подал ему Пухов мандат Шарикова.

Тот взял документ и вник в него. Читал он его долго, вдумчиво и ни слова не говоря. Пухов начал зябнуть, трепеща на воздухе оскуделым телом. А механик все читал и читал — не то он был неграмотный, не то очень интересующийся человек.

На заводе, за высоким старым забором, стояло заунывное молчание — там жило давно остывшее железо, съедаемое ленивой ржавчиной.

День скрывался в серой ветреной ночи. Город мерцал редкими огнями, мешавшимися со звездами на высоком берегу. Густой ветер шумел, как вода, и Пухов почувствовал себя безродным, заблудившимся человеком.

Механик, или тот, кто он был, прочитал весь мандат и даже осмотрел его с тыльной стороны, но там была голая чистота.

— Ну, как? — спросил Пухов и поглядел на небо.— Когда цеха управятся с заказом?

Механик помазал языком мандат и приложил его к забору, а сам пошел вдоль местоположения завода к себе на квартиру.

Пухов посмотрел на бумажку на заборе и, чтобы не сорвал ее ветер, надел на шляпку высунувшегося гвоздя.

Обратно на вокзал Пухов дошел скоро. Ночной ветер и какая-то дождливая мелюзга доконала его самочувствие, и он обрадовался дыму паровоза как домашнему очагу, а вокзальный зал показался ему милой родиной.

В полночь тронулся поездной состав неизвестного маршрута и назначения.

Осенний холодный дождь порол землю, и страшно было за пути сообщения.

— Куда он едет? — спросил Пухов людей, когда уже влез в вагон.

— А мы знаем — куда? — сомнительно произнес кроткий голос невидного человека.— Едет, и мы с ним.

5

Всю ночь шел поезд,— гремя, мучаясь и напуская кошмары в костяные головы забывшихся людей.

На глухих стоянках ветер шевелил железо на крыше вагона, и Пухов думал о тоскливой жизни этого ветра и жалел его. Он соображал еще о мельницах-ветрянках, о

пустых деревенских сараях, где сейчас сквозит буря, и об общей беспризорности огромной порожней земли.

Поезд трогался куда-то дальше. От его хода Пухов успокаивался и засыпал, ощущая теплоту в ровно работающем сердце.

Паровоз подолгу гудел на полном ходу, пугая темноту и прося о безопасности. Выпущенный звук долго метался по равнинам, водоразделам и ущельям и ломался оврагами на другой страшный голос.

— Пухов! — тихо и гулко послышалось Пухову во сне.

Он сразу проснулся и сказал:

— А?

Весь вагон сопел в глубоком сне, а под полом бушевали колеса на большой скорости.

— Ты чего? — вновь спросил Пухов тихим голосом, но знал, что нет никого.

Давно забытое горе невнятно забормотало в его сердце и в сознании — и, прижукнувшись, Пухов застонал, стараясь поскорее утихнуть и забыться, потому что не было надежды ни на чье участие. Так он томился долгие часы и не интересовался несущимся мимо вагона пространством. Разжигая в себе отчаяние, он устал и пришел к своему утешению во сне.

Спал Пухов долго — до полного разгара дня. Солнце подсушило осенние кочки и сияло горящим золотом, ровной радостью и звенело высоким напряженным тоном.

По полю изредка вразброд стояли худые смирные деревья. Они рассеянно помахивали ветками, бесстыдно оголенные перед смертью,— чтобы зря не пропадала их одежда. В эти последние дни перед снегом вся живая зелень поверхности земли была поставлена под расстрел холода, заморозков и длинной ночной тьмы. Но — предварительно — скупая природа раздевала растения и разносила ветрами замерзшие, полуживые семена.

Листья утрамбовывались дождями в почву и прели там для удобрения, туда же укладывались для сохранности семена. Так жизнь скупо и прочно заготовляет впрок. От таких событий у очевидца Пухова слюни на губах показывались, что означало удовольствие.

Ездоки поездного состава неизвестного назначения проснулись на заре — от холода и потому, что прекратились сновидения. Пухов против всех опоздал и вскочил тогда, когда начала стрелять отлежанная нога.

Так как еды у него не было, то он закурил и уставился в пустую позднюю природу. Там ликовал прохладный свет низкого солнца и беззащитно трепетали придорожные кусты от потного восточного утренника. Но дали на резком горизонте были чисты, прозрачны и привлекательны. Хотелось соскочить с поезда, прощупать ногами землю и полежать на ее верном теле.

Пухов удовлетворился своим созерцанием и крепко выразился обо всем:

— Гуманно!

— Сосна пошла! — сказал какой-то сведущий старичок, не евший три дня.— Должно, грунт тут песчаный!

— А какая это губерния? — спросил у него Пухов.

— А кто ж ее знает — какая! Так, какая-нибудь,— ответил равнодушно старичок.

— А тогда куда ж ты едешь? — рассерчал на него Пухов.

— В одно место с тобой! — сказал старичок.— Вместе вчерась сели — вместе и доедем.

— А ты не обознался — ты погляди на меня! — обратил на себя внимание Пухов.

— Зачем обознаться? Ты тут один рябой — у других кожа гладкая! — разъяснил старичок и стал расчесывать какую-то зуду на пояснице.

— А ты лаковый, что ль? — обиделся Пухов.

— Я не лаковый, мое лицо нормальное! — определил себя старичок и для поощрения погладил бурую щетину на своих щеках.

Пухов пристально оглядел старика в целом и плюнул рикошетом наружу, не обращая на него дальнейшего внимания.

Вдруг загремел мост, и в вагон потянуло свежей проточной водой.

— Что это за река, ты не знаешь, как называется? — спросил Пухов одного черного мужика, похожего на колдуна.

— Нам неизвестно,— ответил мужик.— Как-нибудь называется!

Пухов вздохнул от голодного горя и после заметил, что это родина. Речка называется Сухой Шошей, а деревня в сухой балке — Ясной Мечою; там жили староверы, под названием яйценосцы. От родины сразу понесло дымным запахом хлеба и нежной вонью остывающих трав.

Пухов погустел голосом и объявил от сердечной доброты:

— Это город Похаринск! Вон агрономический институт и кирпичный завод! За ночь мы верст четыреста угомонили!

— А тут — не знаешь, товарищ,— меняют аль нет? — спросил чуть дышавший старичок, хотя у него не было чего менять.

— Здесь, отец, не променяешь — у рабочих скулья жевать разучились! А рабочих тут пропасть! — сообщил Пухов и стал подтягивать ремешок на животе, как бы увязывая себя за отсутствием багажа.

Старый серый вокзал стоял таким же, как в детстве Пухова, когда он тянул его в кругосветное путешествие. Пахло углем, жженой нефтью и тем запахом таинственного и тревожного пространства, какой всегда бывает на вокзалах.

Народ, обратившийся в нищих, лежал на асфальтовом перроне и с надеждой глядел прибывший порожняк.

В депо сопели дремавшие паровозы, а на путях беспокойно трепалась маневровая кукушка, собирая вагоны в стада для гона в неизвестные края.

Пухов шел медленно по залам вокзала и с давним детским любопытством и каким-то грустным удовольствием читал старые объявления-рекламы, еще довоенного выпуска:

ПАРОВЫЕ МОЛОТИЛКИ «МАК-КОРМИК».
ЛОКОМОБИЛИ ВОЛЬФА С ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕМ.
КОЛБАСНАЯ ДИЦ.
ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО «САМОЛЕТ».
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ ИОХИМ И К°.
ВЕЛОСИПЕДЫ ПЕЖО.
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ БРИТВЫ ГЕЙЛЬМАН И С-Я,—

и много еще хороших объявлений.

Когда был Пухов мальчишкой, он нарочно приходил на вокзал читать объявления и с завистью и тоской провожал поезда дальнего следования, но сам никуда не ездил. Тогда как-то чисто жилось ему, но позднее ничего не повторилось.

Сойдя со ступенек вокзала на городскую улицу, Пухов набрал светлого воздуха в свое пустое голодное тело и исчез за угольным домом.

Прибывший поезд оставил в Похаринске много людей. И каждый тронулся в чужое место — погибать и спасаться.

6

— Зворычный! Петя! — глухо позвал слесарь Иконников.

— Что ты? — спросил Зворычный и остановился.

— Можно я доски возьму?

— Какие доски?

— Вон те — шесть шелевок! — тихо сказал Иконников.

Дело было в колесном цехе Похаринских железнодорожных мастерских. Погребенный под пылью и железной стружкой, цех молчал. Редкие бригады возились у токарных станков и гидравлических прессов, налаживая их точить колесные бандажи и надевать оси. Старая грязь и копоть висела на балках махрами, пахло сыростью и мазутом, разреженный свет осени мертво сиял на механизмах.

Около мастерских росли купыри и лопухи, теперь одеревеневшие от старости. На всем пространстве двора лежали изувеченные неимоверной работой паровозы. Дикие горы железа, однако, не походили на природу, а говорили о погибшем техническом искусстве. Тонкая арматура, точные части ведущего механизма указывали на напряжение и энергию, трепетавшие когда-то в этих верных машинах. Эшелоны царской войны, железнодорожную гражданскую войну, степную скачку срочных продовольственных маршрутов — все видели и вынесли паровозы, а теперь залегли в смертном обмороке в деревенские травы, неуместные рядом с машиной.

— А на что тебе доски? — спросил Зворычный Иконникова.

— Гроб сделать, сын помер... — ответил Иконников.

— Большой сын?

— Семнадцать лет!

— Что с ним?

— От тифа!

Иконников отвернулся и худой старой рукой закрыл лицо. Этого никогда Зворычный не видел, и ему стало стыдно, жалко и неловко. Вот — человек всю жизнь мучился, работал и молчал, а теперь жалостно и беззащитно закрыл свое лицо.

— Кормил-кормил, растил-растил, питал-питал! — шептал про себя Иконников, почти не плача.

...Зворычный вышел из цеха и пошел в контору.

Контора была далеко — около электрической силовой станции. Зворычный прошел всю дорогу без всякого сознания, только шевеля ногами.

— Скоро пресс наладишь? — спросил его комиссар мастерских.

— Завтра к вечеру попробуем! — равнодушно доложил Зворычный.

— Как, слесаря не волнуются? — поинтересовался комиссар.

— Ничего. Двое с обеда ушли — кровь из носа пошла от слабости. Надо какие-нибудь завтраки, что ль, наладить, а то дома у каждого детишки — им все отдает, а сам голодный падает на работе!..

— Ни черта нету, Зворычный!.. Вчера я был в ревкоме — красноармейцам паек урезали... Я сам знаю, что надо хоть что-нибудь сделать!

Комиссар мрачно и утомленно засмотрелся в мутное, загаженное окно и ничего там не увидел.

— Сегодня ячейка, Афонин! Ты знаешь? — сказал Зворычный комиссару.

— Знаю! — ответил комиссар.— Ты в электрическом цехе не был?

— Нет! А что там?

— Вчера большой генератор ребята пробовали пускать — обмотку сожгли. А два месяца, черти, латали!

— Ничего, где-нибудь замыкание. Это оборудуют скоро! — решил Зворычный.— У нас вот ни угля, ни нефти нет, ты вот что скажи!

— Да, это хреновина большая! — неопределенно высказался комиссар и не сдержался — улыбнулся: наверно, на что-то надеялся, или так просто — от своего сильного нрава.

Вошел Иконников.

— Я те шелевки заберу!

— Бери, бери! — сказал ему Зворычный.

— Зачем ты доски-то раздаешь, голова? — недовольно спросил Афонин.

— Брось ты, он на гроб взял, сын умер!

— А ну, я не знал! — смутился Афонин.— Тогда надо бы помочь человеку еще чем-нибудь!

— А чем? — спросил Зворычный.— Ну, чем помочь?

Брехать только! Хлеба ему дать, так нам самим пайки в урез дают, даже меньше против числа едоков! Ты же сам знаешь.

После разговора Зворычный пошел прямо домой. Уже темнело, и носились по пустырям грачи, подъедая там кое-что. По старой привычке Зворычному хотелось есть. Он знал, что дома есть горячая картошка, а про революционное беспокойство — можно подумать потом.

Вытирая об дерюжку сапоги в сенцах, Зворычный услышал, что кто-то посторонний бурчит в комнате с его женой.

Зворычный подумал, что теперь горшка картошки не хватит, и вошел в комнату. Там сидел Пухов и похохатывал от своих рассказов жене Зворычного.

— Здорово, хозяин! — сказал Пухов первым.

— Здравствуй, Фома Егорыч! Ты откуда явился?

— С Каспийского моря, пришел к тебе курятины поесть! Ты любил петухов, я тоже теперь во вкус вошел!

— У нас тут пост, Фома Егорыч, кормимся спрохвала и не сдобно!..

— Губерния голодная! — заключил Пухов.— Почва есть, а хлеба нету,— значит, дураки живут!

— Жена, ставь ему пареную картошку! — сказал Зворычный.— А то он не утихнет!

Пухов разулся, развесил на печку сушить портянки, выгреб солому и крошки из волос и совсем водворился. Поев картошки и закусив шкурками, он воскрес духом.

— Зворычный! — заговорил Пухов.— Почему ты вооруженная сила? — и показал на винтовку у лежанки.

— Да я тут в отряде особого назначения состою,— пояснил Зворычный и вздохнул, потому что думал о другом.

— Какого значения? — спросил Пухов.— Хлеб у мужиков ходишь, что ль, отнимать?

— Особого назначения! На случай внезапных контрреволюционных выступлений противника! — внушительно пояснил Зворычный это темное дело.

— Ты кто же такой теперь? — до всего дознавался Пухов.

— Да так, революции помаленьку сочувствую!

— Как же ты сочувствуешь ей: хлеб, что ль, лишний получаешь или мануфактуру берешь? — догадывался Пухов.

Тут Зворычный сразу раздражился и осерчал. Пухов подумал, что теперь ему ужинать не дадут. Жена Зворычного скребла чего-то кочережкой в печке и тоже была женщина злая, скупая и до всего досужая.

Зворычный начал выпукло объяснять Пухову свое положение.

— Знаем мы эти мелкобуржуазные сплетни! Неужели ты не видишь, что революция — факт твердой воли — налицо!..

Пухов якобы слушал и почтительно глядел в рот Зворычному, но про себя думал, что он дурак.

А Зворычный перегрелся от возбуждения и подходил к цели мировой революции.

— Я сам теперь член партии и секретарь ячейки мастерских! Понял ты меня? — закончил Зворычный и пошел воду пить.

— Стало быть, ты теперь властишку имеешь? — высказался Пухов.

— Ну, при чем тут власть! — еще не напившись, обернулся Зворычный.— Как ты ничего не понимаешь? Коммунизм — не власть, а святая обязанность.

На этом Пухов смирился, чтобы не злить хозяев и не потерять пристанища.

Вечером Зворычный ушел на ячейку, а Пухов лег полежать на сундуке. Керосиновая лампа горела и тихо пищала. Пухов слушал писк и не мог догадаться — отчего это такое. Он хотел есть, а попросить боялся и покуривал натощак.

Пухов помнил, что у Зворычного должен быть мальчишка — раньше был.

— Мальчугана-то отправили, что ль, куда иль у родни ночует? — между прочим поинтересовался Пухов у хозяйки.

Та закачала головой и закрыла глаза фартуком — в знак своего горя.

Пухов примолк и задумался, хотя знал, что горе бабы неразумно.

«Оттого Петька и в партию залез,— сообразил Пухов.— Мальчонка умер — горе небольшое, а для родителя тоска. Деться ему некуда, баба у него — отрава, он и полез!»

Когда все забылось, хозяйка послала его дров поколоть. Пухов пошел и долго возился с суковатыми поленьями. Когда управился, он почувствовал слабость во

всем корпусе и подумал: как он стал маломощен от недоедания. На дворе дул такой же усердный ветер, что и в старое время. Никаких революционных событий для него, стервеца, не существовало. Но Пухов был уверен, что и ветер со временем укротят посредством науки и техники.

В одиннадцать часов возвратился Зворычный. Все попили тыквенного чаю без сахара, съели по две картофелины и собирались укладываться спать.

Пухов остался на ночь на сундуке, а Зворычный с женой полезли на печь. Пухов этому удивился: в былое время он не любил спать с женой — духота, теснота, клопы жрут, а этот с осени на печь влез.

Однако дело его было постороннее, и он спросил Зворычного, когда все утихло:

— Петя! Ты не спишь?

— Нет, а что?

— Мне бы занятие надо! Что ж я у тебя нахлебником буду жить!

— Ладно, это устроим — завтра поговорим! — сказал сверху Зворычный и зевнул так, что кожа на лице полопалась.

«Зазнаваться начал, серый черт: в партию записался!» — подумал Пухов на сон грядущий и, слабея ото сна, открыл рот.

На другой день Пухова приняли слесарем на гидравлический пресс — он снова очутился за машиной, на родном месте. Двое слесарей были старые знакомые, обоим им порознь Пухов рассказал свою историю, как раз то, что с ним не случилось, а что было — осталось неизвестным, и сам Пухов забывать начал.

— Ты бы теперь вождем стал, чего ж ты работаешь? — говорили слесаря Пухову.

— Вождей и так много, а паровозов нету! В дармоедах я состоять не буду! — сознательно ответил Пухов.

— Все равно, паровоз соберешь, а его из пушки рсшибут! —сомневался в полезности труда один слесарь.

— Ну и пускай, все ж таки упор снаряду будет! — утверждал Пухов.

— Лучше в землю пусть стреляют: земля мягче и дешевле! — стоял на своем слесарь.— Зачем же зря технический продукт портить?

— А чтоб всему круговорот был! — разъяснял Пухов несведущему.— Паек берешь — паровоз даешь, паровоз

в расход — бери другой паек и все сначала делай! А так бы харчам некуда деваться было!

Пожил Пухов у Зворычного еще с неделю, а потом переехал на самостоятельную квартиру.

Очутившись дома, он обрадовался, но скоро заскучал и стал ежедневно ходить в гости к Зворычному.

— Что ты? — спрашивал его Зворычный.

— Скучно там, не квартира, а полоса отчуждения! — ответил ему Пухов и что-нибудь рассказывал про Черное море, чтобы не задаром чай пить.

— Был у нас Шариков — чепуха человек, но матрос. Угля у меня не хватило, я и вернись из-под Крыма. А в Крыму тогда белые сидели, а чтоб они не убежали, их англичане сторожили на громадных боевых кораблях... Прибыл я в Новороссийск благополучно и даю сигналы, чтоб еду на лодке доставили — есть захотел. Хорошо, а только ерундово как-то. В городе стреляют день и ночь — не от опасности, а от хамства. Я все сижу, а есть охота, даже воображения в голове нету. Вдруг подплывает Шариков. «Ты зачем, говорит, безвременно прибыл?» Я ему: «Проголодался, говорю, и уголь весь погорел». Он мужик сытый! — как хватил меня, так во всем облачении и сбросил в море. «Плыви,— кричит,— десантом на Врангеля — после расскажешь». Я сначала испугался, а потом обтерпелся в воде и поплыл с отдышкой. К ночи я добился до Крыма. Вылез на сушь противника и лег в кусты. А потом укрылся песком и заснул. Под утро меня пробрало, и я окоченел. А днем отогрелся на солнышке и поплыл обратно — на Новороссийск. Тут я форменно спешил, потому что есть захотел хуже вчерашнего...

— Доплыл? — спросил Зворычный.

— Уцелел! — закончил Пухов.— По морю плыть легко, лишь бы бури не оказалось, тогда жутко...

— А Шариков тебе что? — узнавал Зворычный.

— Шариков говорит: «Молодец! Я тебя к Красному герою представлю! Видал,— спрашивает,— противника?» А я ему: «Нет там никакого противника — в Симферополе ревком, зря я там на песке сидел».— «Не может,— говорит,— быть!» — «Ну, вот — опять же не может быть: плыви тогда сам на сверку!» А извещения тогда шли тихо — телеграфной проволоки не хватало, матерьял ржавый. И верно, через день весь Крым Советская власть взяла. Я так и знал, оказывается. Вот тогда Шариков и назначил меня начальником горных недр...

— А Красного героя ты получил? — удивился Зворычный.

— Получил, конечно. Ты слушай дальше. За самоотречение, вездесущность и предвидение — так и было отштамповано на медали. Но скоро на пшено пришлось ее сменять в Тихорецкой.

После чая Пухову никак не хотелось уходить. Но Зворычный начинал дремать, вздыхать — Пухов совестился и прощался, с порога договаривал последний рассказ.

Ночью, бредя на покой, Пухов оглядывал город свежими глазами и думал: какая масса имущества! Будто город он видел первый раз в жизни. Каждый новый день ему казался утром небывалым, и он разглядывал его как умное и редкое изобретение. К вечеру же он уставал на работе, сердце его дурнело и жизнь для него протухала.

Приходя от Зворычного, Пухов печку топить ленился и кутался сразу во все свои одежды. Дом был населен неплотно: жила где-то еще одна семья, а между нею и комнатой Пухова стояли пустые помещения. Если Пухову не спалось, он ставил лампу на табуретку у койки и принимался читать какую-нибудь агитпропаганду. Ею удружил его Зворычный.

Когда Пухов ничего не понимал, он думал, что писал дурак или бывший дьячок, и от отсутствия интереса сейчас же засыпал.

Снов он видеть не мог, потому что как только начинало ему что-нибудь сниться, он сейчас же догадывался об обмане и громко говорил: «Да ведь это же сон, дьяволы!» — и просыпался. А потом долго не мог заснуть, проклиная пережитки идеализма, который Пухов знал благодаря чтению.

Раз шли они с Зворычным после гудка с работы. Город потухал на медленной тьме, и дальние церковные колокола тихо причитали над погибающим миром.

Пухов чувствовал свою телесную нечистоту, думал о тоске, живущей на его квартире, и шел, препинаясь, тяжелыми ногами. Зворычный махнул рукой на дома и смачно сказал:

— Общность! Теперь идешь по городу как по своему двору.

— Знаю,— не согласился Пухов,— твое — мое — богатство! Было у хозяина, а теперь ничье!

— Чудак ты! — посмеялся Зворычный.— Общее — значит твое, но не хищнически, а благоразумно. Стоит дом — живи в нем и храни в целом, а не жги дверей по буржуазному самодурству. Революция, брат,— забота!

— Какая там забота, когда все общее, а по-моему — чужое! Буржуй ближе крови дом свой чувствовал, а мы что?

— Буржуй потому и чувствовал, потому и жадно берег, что награбил: знал, что самому не сделать! А мы делаем и дома, и машины — кровью, можно сказать, лепим,— вот у нас-то и будет кровно бережливое отношение: мы знаем, чего это стоит! Но мы не скупимся над имуществом — другое сможем сделать. А буржуй весь трясся над своим хламом!

— Шарик у тебя работает, вижу! — непохоже на себя заявил Пухов.— Не то ты жрать разучился! Помнишь, как ты лопал на снегоочистителе?

— При чем тут жрать? — обиделся Зворычный.— Понятно, мозг любит плотную пищу, без нее тоже не задумаешься!

Здесь они расстались и скрылись друг от друга. Подходя к своему дому, Пухов вспомнил, что жилище называется очагом.

— Очаг, черт: ни бабы, ни костра!

7

На сладкой и влажной заре, когда Пухову тепла на койке не хватало, треснуло стекло в оконной раме. Гулко закатился над городом орудийный залп.

В голове Пухова это беспокойство пошло сонным воспоминанием о южной новороссийской войне. Но он сейчас же разоблачил свою фантазию: «Ты же сон, дьявол!» — и открыл глаза. Залп повторился так, что дом заерзал на почве. «Будет тебе бухтеть-то!» — не соглашался с действительностью Пухов и стал зажигать лампу для проверки законов природы. Лампа зажглась, но сейчас же потухла от третьего залпа — снаряд, наверно, разорвался на огороде.

Пухов одевался.

«Какой скот забрел с пушками по такой грязи?» — и не догадывался.

На улице Пухову показалось дымно и жарко. Явственно и близко рубцевал воздух пулемет. Пухов любил его: похож на машину и требует охлаждения.

В здание губпродкома ударила картечь, и оттуда понесло гарью.

— У них нет снарядов, раз по городу картечью бьют,— сообразил Пухов: он знал, что сюда нужна граната.

Было безлюдно, тревожно и ничего не известно.

Вдруг на монастырской колокольне тихо зазвонили. Пухов вздрогнул и остановился, чутко слушая этот звон с перерывами.

Монастырь стоял на бугре и господствовал над городом и степями за речной долиной. В уличный просвет Пухов заметил раннее утро над тихим далеким лугом, заволоченным туманным газом.

От монастыря до мастерских лежала верста. Пухов покрыл ее срочным шагом, не обращая внимания на свирепеющий бой, к которому можно скоро привыкнуть. В мастерских он не нашел никого. На вокзальных путях стоял броневой поезд и бил в направлении утренней зари, где был мост.

В проходной стоял комиссар Афонин и еще два человека. Афонин курил, а другие пробовали затворы винтовок и устанавливали их в ряд.

— Пухов, винтовку хочешь? — спросил Афонин.

— А то нет!

— Бери любую!

Пухов взял и освидетельствовал исправность механизма.

— А масла нет? Туго затвор ходит!

— Нет, нету, какое тебе масло тут? — отказал Афонин.

— Эх, вы, воители! Давай патроны!

Получив патроны, Пухов спросил ручную гранату. Невозможно, говорит, без нее: это бой сухопутный; когда я на Черном море бился, и то там гранаты давали.

Ему дали гранату.

— Зачем она тебе, их и так у нас мало! — заявил Афонин.

— Без нее нельзя. Матросы всегда этого ежика пущают, когда деться некуда!

— Ну, вали, вали!

— Куда идти-то?

— К мосту, за рощу,— там наша цепь.

Нагруженный Пухов побрел по путям. Проходя мимо бронепоезда, он заметил там матросов.

Пухов залез на подножку и постучал в блиндированную дверцу. Дверца туго пошла по патентованному устройству, и в скважину просунулся матрос.

— Тебе чего, сыч?

— Шарикова тут нету?

— Нету.

— Распахни-ка мне ход, я приказ тебе дам.

— Ну, сыпь скорей.

В металлическом вагоне парилась тесная духота и веял промежуточный сквозняк. Замки трехдюймовых орудий воняли салом, но кругом было технически хорошо. Сидевший в башне за пулеметом матрос постреливал короткой частотой куда-то в поле, за кирпичные сараи, и пробовал рукою хоботок пулемета: не перегревается ли?

К Пухову подошел большой главный матрос.

— Ты что, братишка? Говори чаще.

— Вдарь-ка, друг, по монастырской колокольне. Там у них наблюдатель.

— Ладно, Федька! По колокольне: прицел сто десять, трубка девяносто — на снос!

Матрос взял бинокль и стал проверять действие снаряда.

Пухов ушел успокоенный. Идя по песчаному балласту железной дороги, он разговаривал в воздух. В синей лощине, закрытой укромным кустарником, шел бой. За железнодорожным мостом спешно работала артиллерия, сокрушая шрапнелью лощину. За мостом, наверное, стоял бронепоезд противника.

Тяжелая артиллерия — шестидюймовки — издалека била по городу.

Город от нее давно и покорно горел.

Растопыренные умершие травы росли по откосу насыпи, но они тоже вздрагивали, когда недалекий бронепоезд из-за моста метал снаряд.

На вокзале работал бронепоезд красных, за мостом — белых, в пяти верстах друг от друга. Снаряды журчали в воздухе над головою Пухова, и он на них поглядывал. Одни летели за мост, другие обратно. Но вплотную не встречались.

В кустарнике лощины лежали рабочие — живые и мертвые. Живых было меньше, но они стреляли на ту сторону реки сдельно: за себя и за мертвых.

Пухов тоже прилег и пригляделся. Видны были то-

варные вагоны, маленький дом полустанка и какой-то железный брак на путях. Мастеровых от белых отделяла речка и долина, всего полторы версты.

«В чего же мы стреляем? — соображал Пухов.— Пули из страха переводим!»

Сосед его, помощник машиниста Кваков, перестал стрелять и посмотрел на Пухова.

— Что же ты? — спросил его Пухов и выстрелил в шевельнувшийся предмет у станционного домика.

— Живот заболел: часа два бузую с сырой земли.

— А в кого мы стреляем?

— В белых, не знаешь, что ль?

— В каких белых? А где же Красная Армия?

— Она на том конце города кавалерию сдерживает. Это генерал Любославский наскочил, у него конницы — тьма.

— А чего ж мы раньше ничего не знали?

— Как не знали? Это, брат, конница — сегодня она у нас, а завтра в Орле будет.

— Чудно! — сказал Пухов с досадой.— Лежим, стреляем, аж пузо болит, а ни в кого не попадаем. Ихний броневик давно прицел нашел и крошит нас помаленьку.

— Что же будешь делать-то: надо отбиваться! — ответил Кваков.

— Чушь какая: смерть не защита! — окончательно выяснил Пухов и перестал стрелять.

Шрапнель визжала низко и, останавливаясь на лету, со злобой рвала себя на куски. Эти куски вонзались в головы и в тела рабочих, и они, повернувшись с живота навзничь, замирали навсегда. Смерть действовала с таким спокойствием, что вера в научное воскресение мертвых, казалось, не имела ошибки. Тогда выходило, что люди умерли не навсегда, а лишь на долгое, глухое время.

Пухову это надоело. Он не верил, что если умрешь, то жизнь возвратится с процентами. А если и чувствовал что-нибудь такое, то знал, что нынче надо победить как раз рабочим, потому что они делают паровозы и другие научные предметы, а буржуи их только изнашивают.

Стрельба рабочих глохла и редела; над рекою стоял чад сгоревших снарядов. Кваков сел, не обращая внимания на войну, и собирал махорочную пыль по карманам.

Пухов выжидал, пока он ее соберет, чтобы тоже попросить на цигарку.

— Ни санитаров, ни докторов у нас нет, ни лекарства — липовое хозяйство! — сказал Кваков, глядя на одного раненого, шевелившегося в бреду.

Раненый хотел подползти к Квакову и открывал глаза, но, не осилив с тяжестью век, снова закрывал их.

Кваков погладил его голову по редким волосам:

— Тебе чего, друг?

Раненый тихо гудел странным, отвыкшим голосом, собираясь что-то сказать.

— Ну, чего? — говорил Кваков и сам мучился.

Раненый дополз до него и поднял грузную, мокрую голову, с которой капал крупный пот. Кваков приник к нему.

— Забей мне гвоздь в ухо поскорей...— сказал раненый и свалился от напряжения.

Кваков потер ему ухо и лег близко рядом, как бы защищая его от мучения и от новых ран.

Осколки шрапнели влеплялись в землю в сажени от Пухова и бросали ему в лицо гравий и рваную почву.

Сзади неожиданно подошел Афонин и тоже прилег.

— Ты тут, Пухов? На ихнем бронепоезде снарядов нету, скоро пойдем в атаку на станцию.

— Будя дурака валять, кто это узнавал, что снарядов у них нет? Чего наш-то бронепоезд плохо бьет — ведь знает прицел, давно бы их сшибить можно...

Афонин не успел ответить и куда-то побежал, пригибаясь на открытых местах.

Через минуту весь отряд железнодорожников менял позицию: пробежал через овраг на молочную ферму и там залег за сараями.

Пухов снова увидел Афонина. Он стоял за каменным амбаром и договаривался о чем-то с двумя слесарями, державшими по буханке хлеба.

Пухов подошел к Афонину, чтобы сказать о необходимости пищи, но по дороге он обдумал другое. Из-за амбара были видны линия, мост и броневик белых. Линия шла с крутым уклоном из Похаринска па полустанок, где стоял белый бронепоезд.

Пухов подождал, пока кончит Афонин разговаривать со слесарями, и тогда разъяснил ему, что пора подумать, пора что-нибудь умственно схитрить, раз прямой силой белых не прогнать.

— Видишь, какой уклон из города на полустанок?

— Ну, вижу! — сказал Афонин.

— Ага, вижу! Давно бы тебе надо его увидеть! — осерчал Пухов.— А где Зворычный?

— Тут. На что он тебе?

В городе загудел ураганный артиллерийский огонь, и послышался сплошной, долгий крик большой массы людей.

— Что это? — обернулся туда Афонин.— Белые, что ль, ворвались? Должно, наших гонят.

Пухов прислушался. Голоса смолкли, а снаряды попрежнему бурлили воздух над городом и, падая, крушили тяжелое, колкое вещество зданий.

Через пять минут Пухов и Зворычный ушли в город — на вокзал.

— А есть там груженый балласт? — спрашивал Зворычный.

— Есть, у литейного цеха десять платформ стоит! — говорил Пухов.

— Но ведь паровозов нет, куда ж мы идем? — опять сомневался Зворычный.

— Да мы на руках их выкатим, голова! Потом заправим на главный путь, раскатим —и бросим. А за пять верст они сами разбегутся так, что от белого броневика одни шматки останутся!

— А рабочие где? Вдвоем на руках не выкатим!

— А мы матросов с нашего бронепоезда попросим. Мы по одному вагону будем выкатывать, а потом сцепим и бросим под уклон всем составом.

— Едва ли с броневика матросов дадут,— никак не соглашался Зворычный.— Броневик на два фронта бьет: и по кавалерии, и за мост...

— Дадут, там ходкие ребята! — уверял Пухов.

Афонин жалел, что согласился с Пуховым. Он думал, что Пухов просто сбежал из отряда и выдумал про балласт — никаких платформ с песком Афонин в мастерских не видал.

К обеду бой утих. Броневик белых изредка постреливал по речной долине, ища красных. Наш бронепоезд совсем молчал.

«Там матросня,— думал и Афонин,— наморочит им голову этот Пухов».

Однако он не отрывался глазами от линии и сказал мастеровым о замысле Пухова.

— Ну как, десять груженых платформ сшибут белый броневик или нет? — спрашивал Афонин.

— Если скорости наберут, то сшибут, ясно! — говорил машинист Варежкин, водивший когда-то царский поезд.

Он же первый в половине второго расслышал бег колес на линии и крикнул Афонину:

— Гляди туда!

Афонин выбежал за амбар и присел на корточки, озирая весь путь. Из выемки с ветром и лихою игрою колес вылетел состав без паровоза и в момент вскочил на затрепетавший под такою скоростью мост.

Афонин забыл дышать и от какого-то восторга нечаянно взмок глазами. Состав скрылся на мгновение в гуще вагонов полустанка, и сейчас же там поднялось облако песчаной пыли. Потом раздался резкий, краткий разлом стали, закончившийся раздраженным треском.

— Есть! — сказал сразу успокоившийся Афонин и побежал впереди всего отряда на полустанок.

По песку и раскопанным грядкам картошек бежать было очень тяжело. Надо иметь большое очарование в сердце, чтобы так трудиться.

По мосту отряд пошел своим шагом — каждый считал белый бронепоезд разбитым и бессильным.

Отряд обошел пакгауз и тихо выбрался на чистую середину путей. На четвертом пути стоял чистый целый бронепоезд, а на главном — крошево фуража, песка и дребедень размятых, порванных вагонов.

Отряд бросился на бронепоезд, зачумленный последним страхом, превратившимся в безысходное геройство. Но железнодорожников начал резать пулемет, заработавший с молчка. И каждый лег на рельсы, на путевой балласт или на ржавый болт, некогда оторвавшийся с поезда на ходу. Ни у кого не успела замереть кровь, разогнанная напряженным сердцем, и тело долго тлело теплотой после смерти. Жизнь была не умерщвлена, а оторвана, как сброс с горы.

У Афонина три пули защемились сердцем, но он лежал живым и сознающим. Он видел синий воздух и тонкий поток пуль в нем. За каждой пулей он мог следить отдельно — с такой остротой и бдительностью он подразумевал совершающееся.

«Ведь я умираю — мои все умерли давно!» — поду-

мал Афонин и пожелал отрезать себе голову от разрушенного пулями сердца — для дальнейшего сознания.

Мир тихо, как синий корабль, отходил от глаз Афонина: отнялось небо, исчез бронепоезд, потух светлый воздух, остался только рельс у головы. Сознание все больше сосредоточилось в точке, но точка сияла спрессованной ясностью. Чем больше сжималось сознание, тем ослепительней оно проницало в последние мгновенные явления. Наконец, сознание начало видеть только свои тающие края, подбираясь все более к узкому месту, и обратилось в свою противоположность.

В побелевших открытых глазах Афонина ходили тени текущего грязного воздуха — глаза, как куски прозрачной горной породы, отражали осиротевший одним человеком мир.

Рядом с Афониным успокоился Кваков, взмокнув кровью, как заржавленный.

На это место с бронепоезда сошел белый офицер, Леонид Маевский. Он был молод и умен, до войны писал стихи и изучал историю религий. Он остановился у тела Афонина. Тот лежал огромным, грязным и сильным человеком.

Маевскому надоела война, он не верил в человеческое общество — и его тянуло к библиотекам.

«Неужели они правы? — спросил он себя и мертвых.— Нет, никто не прав: человечеству осталось одно одиночество. Века мы мучаем друг друга,— значит, надо разойтись и кончить историю».

До конца своего последнего дня Маевский не понял, что гораздо легче кончить себя, чем историю.

Поздно вечером бронепоезд матросов вскочил на полустанок и начал громить белых в упор. Беспамятная, неистовая сила матросов почти вся полегла трупами — поперек мертвого отряда железнодорожников, но из белых совсем никто не ушел. Маевский застрелился в поезде, и отчаяние его было так велико, что он умер раньше своего выстрела.

Ночью два поезда стояли рядом, наполненные спящими и мертвыми людьми. Усталость живых была больше чувства опасности, и ни один часовой не стоял на затихшем полустанке.

Утром два броневых поезда пошли в город и помогли сбить и расстрелять белую кавалерию, двое суток рвавшуюся на город и еле сдерживаемую слабыми отрядами молодых красноармейцев.

8

Пухов прошелся по городу. Пожары потухли, кое-какое недвижимое имущество погибло, но люди остались полностью.

Оглядев по-хозяйски город, вечером он сказал Зворычному:

— Война нам убыточна, пора ее кончить!

Зворычный чувствовал себя помощником убийцы и молча сдерживал свой характер против Пухова. А Пухов знал себя за умного человека и говорил, что бронепоезд никогда не ставят на четвертый путь, а всегда на главный — это белые правил движения не знали.

— Все ж таки мы им дров наломали и жуть нагнали!

— Иди ты к черту! — ценил Пухова Зворычный.— У тебя всегда голова свербит без учета фактов — тебя бы к стенке надо!

— Опять же — к стенке! Тебе говорят, что война — это ум, а не драка. Я Врангеля шпокал, англичан не боялся, а вы от конных наездников целый город перепугали!

— Каких наездников? — спрашивал злой и непокойный Зворычный.— Кавалерия — это тебе наездники?

— Никакой кавалерии и не было! А просто — верховые бандиты! Выдумали какого-то генерала Любославского,— а это атаман из Тамбовской губернии. А бронепоезд они захватили в Балашове, вот и вся музыка. Их и было-то человек пятьсот...

— А откуда же белые офицеры у них?

— Вот тебе раз, отчубучил! Так они ж теперь везде шляются — новую войну ищут! Что я их не знаю, что ль? Это — люди идейные, вроде коммунистов.

— Значит, по-твоему, на нас налетела банда?

— Ну да, банда! А ты думал — целая армия? Армию на юге прочно угомонили.

— А артиллерия у них откуда? — не верил Пухову Зворычный.

— Чудак человек! Давай мне мандат с печатью — я тебе по деревням в неделю сто пушек наберу.

Дома Пухов не ел и не пил — нечего было — и томился одним размышлением. Природу хватал мороз, и она сдавалась на зиму.

Когда начали работать мастерские, Пухова не хотели брать на работу: ты — сукин сын, говорят, иди куда-нибудь в другое место! Пухов доказывал, что его несчастный десант против белых — дело ума, а не подлости, и пользовался пока что горячим завтраком в мастерских.

Потом ячейка решила, что Пухов — не предатель, а просто придурковатый мужик, и поставила его на прежнее место. Но с Пухова взяли подписку — пройти вечерние курсы политграмоты. Пухов подписался, хотя не верил в организацию мысли. Он так и сказал на ячейке: человек — сволочь, ты его хочешь от бывшего бога отучить, а он тебе Собор Революции построит!

— Ты своего добьешься, Пухов! Тебя где-нибудь шпокнут! — серьезно сказал ему секретарь ячейки.

— Ничего не шпокнут! — ответил Пухов.— Я всю тактику жизни чувствую.

Зимовал он один — и много горя хлебнул: не столько от работы, сколько от домоводства. К Зворычному Пухов ходить совсем перестал: глупый человек, схватился за революцию, как за бога, аж слюни текут от усердия веры! А вся революция — простота: перекрошил белых — делай разнообразные вещи.

А Зворычный мудрит: паровозное колесо согласовывал с Карлом Марксом, а сам сох от вечернего учения и комиссарства — и забыл, как делается это колесо. Но Пухов втайне подумывал, что нельзя жить зря и бестолково, как было раньше. Теперь наступила умственная жизнь, чтобы ничто ее не замусоривало. Теперь без вреда себе уцелеть трудно, зато человек стал нужен; а если сорвешься с общего такта — выпишут в издержки революции как путевой балласт.

Но, ворочаясь головой на подушке, Пухов чувствовал свое бушующее сердце и не знал, где этому сердцу место в уме. Сквозь зиму Пухов жил медленно, как лез в скважину. Работа в цехе отягощала его — не тяжестью, а унынием. Материалов не хватало, электрическая станция работала с перебоями — и были длинные мертвые простои.

Нашел Пухов одного друга себе — Афанасия Перевощикова, бригадира из сборочного цеха, но тот женился, занялся брачным делом, и Пухов остался опять один. Тогда он и понял, что женатый человек, то есть состоящий в браке, для друга и для общества — человек бракованный.

— Афанас, ты теперь не цельный человек, а бракованный! — говорил Пухов с сожалением.

— Э, Фома, и ты со щербиной: торец стоит и то не один, а рядышком с другим!

Но Пухов уже привык к своей комнате, ему казалось, что стены и вещи тоскуют по нем, когда он на работе.

Когда зима начала подогреваться, Пухов вспомнил про Шарикова: душевный парень — не то сделал он подводные лодки, не то нет?

Два вечера Пухов писал ему письмо. Написал про все — про песчаный десант, разбивший белый бронепоезд с одного удара, про Коммунистический Собор, назло всему народу построенный летом на Базарной площади, про свою скуку вдали от морской жизни и про все другое. Написал он также, что подводные лодки в Царицыне делать не взялись — мастера забыли, с чего их начинать, и не было кровельного железа. Теперь же Пухов решил выехать в Баку, как только получит от Шарикова мандат по почте. В Баку много стоячих машин по нефтяному делу, которые должны двинуться, так как в России есть дизели, а на море моторы, зря пропадающие без работы. Сверх того, морское занятие серьезней сухопутного, а морские десанты искуснее песчаных. У Пухова три раза стреляла рука, пока он карякал буквы: с самого новороссийского десанта ничего писаного не видел — отвык от чистописания.

«До чего ж письмо — тонкое дело!» — думал Пухов на передышке и писал, что в мозг попадало.

На конверте он обозначил:

«Адресату морскому матросу Шарикову. В Баку — на Каспийскую флотилию».

Целую ночь он отдыхал от творчества, а утром пошел на почту сдавать письмо.

— Брось в ящик! — сказал ему чиновник. — У тебя простое письмо.

— Из ящиков писем не вынимают, я никогда не видел! Отправь из рук! — попросил Пухов.

— Как так не вынимают? — обиделся чиновник. — Ты по улице ходишь не вовремя, вот и не видишь!

Тогда Пухов просунул письмо в ящик и осмотрел его устройство.

— Не вынают, дьяволы, — ржавь кругом!

На политграмоту Пухов не ходил, хотя и подписал ячейкину бумажку.

— Что ж ты не ходишь, товарищ? Приглашать тебя надо? — строго спросил его однажды Мокров, новый секретарь ячейки. (Зворычного сменили за помощь Пухову в песчаных платформах.)

— Чего мне ходить? Я из книг все узнаю! — разъяснял Пухов и думал о далеком Баку.

Через месяц пришел ответ от Шарикова.

«Ехай скорее,— писал Шариков,— на нефтяных приисках делов много, а мозговитых людей мало. Сволочь живет всюду, а не хватает прилежности убрать ее внутрь Советской России. Все ждут англичан,— что они нам шкворень выдернут. Пускай дергают, мы тогда на передке поедем. А мандата тебе выслать не могу — их секретарь составляет, у него и печать, а я его арестовал. Но ты ехай — харчи будут».

Прочитав текст письма, Пухов изучил штемпеля: действительно Баку,— и лег спать, осчастливленный другом. Уволили Пухова охотно и быстро, тем более что он для рабочих смутный человек. Не враг, но какой-то ветер, дующий мимо паруса революции.

9

Не все так хорошо доезжают до Баку, но Пухов доехал: он попал на порожнюю цистерну, гонимую из Москвы прямым и скорым сообщением в Баку.

Виды природы Пухова не удивили: каждый год случается одно и то же, а чувство уже деревенеет от усталой старости и не видит остроты разнообразия. Как почтовый чиновник, он не принимал от природы писем в личные руки, а складывал их в темный ящик обросшего забвением сердца, который редко отворяют. А раньше вся природа была для него срочным известием.

За Ростовом летали ласточки — любимые птицы молодого Пухова, а теперь он думал: видел я вас, чертей, если бы иное что летало, а то старые птицы!

Так он и доехал до самого конца.

— Явился? — поднял глаза от служебных бумаг Шариков.

— Вот он! — обозначил себя Пухов и начал разговаривать по существу.

В тот год советский нефтяной промысел собирал к себе старых мастеровых, заблудившихся в темноте далеких родин и на проселках революции.

Каждый день приезжали буровые мастера, тартальщики, машинисты и прочий похожий друг на друга народ. Несмотря на долгий голод, народ был свежий и окрепший, будто насыщенный прочной пищей.

Шариков теперь ведал нефтью — комиссар по вербовке рабочей силы. Вербовал он эту силу разумно и доверчиво. Приходил в канцелярию простой, сильный человек и обращался:

— Десять лет в Сураханах тарталил, теперь опять на свою работу хочу!

— А где ты был в революционное время? — допрашивал Шариков.

— Как где? Здесь делать нечего было!..

— А где ты ряжку налопал? Дезертиром в пещере жил, а баба тебе творог носила.

— Что ты, товарищ! Я — красный партизан, здоровье на воздухе нажил!

Шариков в него всматривался. Тот стоял и смущался.

— Ну, нá тебе талон — на вторую буровую, там спросишь Подшивалова, он все знает.

Пухов обсиживался в канцелярии и наблюдал. Его удивляло, отчего так много забот с этой нефтью, раз ее люди сами не делают, а берут готовой из грунта.

— Где насос, где черпак — вот и все дело! — рассказывал он Шарикову.— А ты тут целую подоплеку придумал!

— А как же иначе, чудак? Промысел — это, брат, надлежащее мероприятие,— ответил Шариков не своей речью.

«И этот, должно, на курсах обтесался,— подумал Пухов.— Не своим умом живет: скоро все на свете организовывать начнет. Беда».

Шариков поставил Пухова машинистом на нефтяной двигатель — перекачивать нефть из скважины в нефтехранилище. Для Пухова это было самое милое дело: день и ночь вращается машина — умная, как живая, неустанная и верная, как сердце. Среди работы Пухов выходил иногда из помещения и созерцал лихое южное солнце, сварившее когда-то нефть в недрах земли.

— Вари так и дальше! — сообщал вверх Пухов и слушал танцующую музыку своей напряженной машины.

Квартиры Пухов не имел, а спал на инструментальном ящике в машинном сарае. Шум машины ему совсем не мешал, когда ночью работал сменный машинист. Все равно на душе было тепло — от удобств душевного покоя

не приобретешь; хорошие же мысли приходят не в уюте, а от пересечки с людьми и событиями — и так дальше. Поэтому Пухов не нуждался в услугах для своей личности.

— Я человек облегченного типа! — объяснял он тем, которые хотели его женить и водворить в брачную усадьбу.

Иногда приезжал на автомобиле Шариков и глядел на буровые вышки, как на корабли. Кто из рабочих чего просил, он сейчас же давал.

— Товарищ Шариков, выпиши клок мануфактуры — баба приехала, оборвалась в деревне!

— На́, черт! Если спекульнешь — на волю пущу! Пролетариат — честный предмет.— И выписывал бумажку, стараясь так знаменито и фигурно расписаться, чтобы потом читатель его фамилии сказал: товарищ Шариков — это интеллигентный человек!

Шли недели, пищи давали достаточно, и Пухов отъедался. Жалел он об одном, что немного постарел, нет чего-то нечаянного в душе, что бывало раньше.

Кругом шла, в сущности, хорошая, легкая жизнь, поэтому Пухов ее не замечал и не беспокоился. Кто такой Шариков? Свой же друг. Чья нефть в земле и скважины? Наши, мы их сделали. Что такое природа? Добро для бедных людей. И так дальше. Больше не было тревоги и удручения от имущества и начальства.

Как-то приехал Шариков и говорил сразу Пухову, как будто всю дорогу думал об этом:

— Пухов, хочешь коммунистом сделаться?

— А что такое коммунист?

— Сволочь ты! Коммунист — это умный, научный человек, а буржуй — исторический дурак!

— Тогда не хочу.

— Почему не хочешь?

— Я — природный дурак! — объявил Пухов, потому что он знал особые ненарочные способы очаровывать и привлекать к себе людей и всегда производил ответ без всякого размышления.

— Вот гад! — засмеялся Шариков и поехал начальствовать дальше.

Со дня прибытия в Баку Пухову стало навсегда хорошо. Вставал он рано, осматривал зарю, вышки, слушал гудок парохода и думал кое о чем. Иногда он вспоминал свою умершую от преждевременного износа жену и немного грустил, но напрасно.

Однажды он шел из Баку на промысел. Он заночевал у Шарикова. К тому брат из плена вернулся, и было угощение. Ночь только что кончилась. Несмотря на бесконечное пространство, в мире было уютно в этот ранний чистый час, и Пухов шагал, наливаясь какой-то прелестью. Гулко и долго гудел дальний нефтеперегонный завод, распуская ночную смену.

Весь свет переживал утро, и каждый человек знал про это происшествие, кто явно торжествуя, кто бурча от смутного сновидения.

Нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснялось в заросшей жизнью душе Пухова. Революция — как раз лучшая судьба для людей, верней ничего не придумаешь. Это было трудно, резко и сразу легко, как нарождение.

Во второй раз — после молодости — Пухов снова увидел роскошь жизни и неистовство смелой природы, неимоверной в тишине и в действии.

Пухов шел с удовольствием, чувствуя, как и давно, родственность всех тел к своему телу. Он постепенно догадывался о самом важном и мучительном. Он даже остановился, опустив глаза,— нечаянное в душе возвратилось к нему. Отчаянная природа перешла в людей и в смелость революции. Вот где таилось для него сомнение.

Душевная чужбина оставила Пухова на том месте, где он стоял, и он узнал теплоту родины, будто вернулся к детской матери от ненужной жены. Он тронулся по своей линии к буровой скважине, легко превозмогая опустевшее счастливое тело.

Пухов сам не знал — не то он таял, не то рождался.

Свет и теплота утра напрягались над миром и постепенно превращались в силу человека.

В машинном сарае Пухова встретил машинист, ожидавший смены. Он слегка подремывал и каждую минуту терял себя в дебрях сна и возвращался оттуда.

Газ двигателя Пухов вобрал в себя как благоухание, чувствуя свою жизнь во всю глубину — до сокровенного пульса.

— Хорошее утро! — сказал он машинисту.

Тот потянулся, вышел наружу и равнодушно освидетельствовал:

— Революционное вполне.

1927—1928

РАССКАЗЫ



О ЛАМПОЧКЕ ИЛЬИЧА

1

Моя фамилия Дерьменко. Идет она от барского самоуправства: будто бы предки мои в давнее время с голоду ели однажды барские тухлые харчи — дерьмо, оттуда и пошло Дерьменко.

Наше село Рогачевка от города шестьдесят верст; расположение имеет вкось по реке Тамлыку, что втекает в другую речку Усмань.

По преданию говорят, что Тамлык, иначе сказать Тимурлык, по-татарски значит маленький сын Тимура. А Тимур, как исторически известно, был предводитель татар, кои в старые времена здесь скакали по степям и пользовались их сладкими травами для своих коней.

А Усмань у татар значит красавица. И вот будто бы Тимур влюбился раз в степную красавицу гречанского роду, родил от нее сына Тимурлыка и ускакал бить балканцев. Гречанка от горя иссохла и умерла вместе с сыном-ребенком; вернувшийся Тимур так затосковал по своей скопчавшейся любимой семье, что велел войску своему и пленным горстями насыпать два памятных кургана, а сам Тимур носил и сыпал землю мечом.

И до сей поры у нас есть два жутких холма — один побольше, другой поменьше. Уже давно стерлась тоска в сердце Тимура, а курганы все стоят, и их не стерли ни ветер, ни вода.

Вот что значит сердце человека!

Когда я гляжу на эти курганы, у меня начинается тоска,— и я чувствую в себе добросовестность.

* * *

Вот на этом знаменитом месте стоит наша Рогачевка — небогатое село.

От помещика Снегирева остался у нас сад в пятнадцать десятин — хороший сад, и дерева нестарые. А как стало им пользоваться общество, вижу — гибнет сад: ни окопки, ни обмазки, никакого хозяйственного ухажерства,— плод еще зеленый, а уж ребятишки все вдрызг обломали, оборвали и поносом изошли.

А зимой зайцы кору лущат,— еще год, другой — и усохнет сад, и пропадут чудеса его плодородия.

Думал я сильно, и враз схватила меня догадка:

— Надобно крепкую, мудрую артель — и взять у общества сад. А мужики подходящие есть.

И еще было у меня мечтание: построить у нас на Рогачевке электростанцию, и чтобы при ней была мельница с просорушкой и обойкой. Это было бы очень способно для крестьян. У нас стоят семь ветрянок — все у кулаков; берут по четыре фунта с пуда, да еще когда ветер, а в летнее время ветры жидкие,— иной раз с голоду насидишься, хоть и есть зерно. Да и электрический свет даст селу интересное увлечение.

Сам я проходил в красноармейцах курсы электротехники сильных токов, а брат мой тоже любитель этих делов и знаток своему разуму. А до службы в войске я пять лет трубил линейным монтером на городской электрической станции, оттуда у меня и пошел интерес ко всяким механизмам и таинственности, с той же поры скучно мне на деревне и напрасной кажется бедность ее.

Собрал я артель, вышел на сходе и говорю мужикам:

— От барского сада нету нам прибытка, кроме как ребятишки по картузу зелени нарвут. А сад ведь, граждане, гибнет — то ведомо всем. Отдайте нам сад,— говорю.— Только пять лет мы вам ничего платить не будем, а зато сад приведем в показательный порядок и электрическую станцию вам построим с линией и вводами на сто дворов, а дальше сами тяните (я уже подсчитал про себя, сколько даст сад и сколько стоит станция). При станции же оборудуем мельницу с камнем на девять четвертей, просорушку и обойку для пеклеванной муки. И все это добро передадим, кому общество укажет, а лучше кредитному товариществу — на правильное пользование. А по изжитии пяти годов и сад вам в целости представим либо аренду будем должее держать,— это,— говорю,— как вам угодно будет.

А меня влекла не только полезность дела и свое пропитание, но и интерес к жизни — советское строительство.

Тут пошел гам и обсуждение предложения.

— Брось,— говорят,— Ефимыч, не твоего ума это дело. Погорим от твоего электричества...

— Фролка, а каково твое обеспечение, где залоги возьмешь? Аль обчество дуриком отдаст тебе сад?

— Набрался газу в городе, умней всех стал!..

— Не трожь напрасно: Фрол — городской парень, он и ране был по разуму ходовитый...

— Жрал сто лет дерьмо, на яблошные харчи хочешь...

— Знаем мы этих изобретателев — землю липистричеством мазать хотят, дожжу пущать...

— Оно любопытно, только ни хрена не выйдет: тут иностранец нужон...

Вышел здесь председатель сельсовета, мужик здравый и в зрелых летах:

— Тиш-ша! Пулеметы, гуси-лебеди! Девки, брось зерна грызть! Кузьма, отставь от себя брехню и агитацию... Граждане, садом нам не владать все едино, не к рукам он нам, а Фролка на глазах будет,— ежели што, враз водворим на его усадебное место... Рыска я не вижу, а посулы Фролкины — не обида...

Обломались к вечеру мужики — сдали нашей артели сад на пять лет. Все буквально в протоколе отметили, и расписались мы всей артелью казенным почерком с фигурами. Один из артели нашей, Прошка Кузнецов, сумел лебедя вывести. Даже председатель сельсовета, который видел сзади, как Прошка старался, сказал ему:

— Да будет тебе, Прокофий, мудрить на официальной бумаге, ты не шуточное дело делаешь и собрание задерживаешь...

2

Осенью было дело. Грузно нам пришлось зимовать: харчей мало, артельщики — люди без избытку, одежи нет, тот же Прошка зимой и летом ходил в железных калошах, которые сам сделал,— в холодное время у него, говорят, пот на ногах мерз. Однако с весны до самых плодов не посидели — суетливое дело сад.

Прошла завязь, а потом плод, еще хуже стало — лезет вся деревня к нам. Сколько тут скандалов, сраму было, день и ночь не очнешься. Да ведь не ребятишки донимали: сурьезные мужики ломились за яблоком.

Захватишь и говоришь:

— Да ты бы попросил, Фома, я бы тебе дарма насыпал.

— Да я и не лез,— говорит,— я бадик сломить зашел. Нужон твой сад, хозяин нашелся! Выгоним скоро обратно: обчество говорит, урожай хорош,— Фролку долой с нашего имущества!

А раз захватили милиционера и секретаря Совета с двумя битыми мешками: что тут делать будешь? Хотел я усовестить — куда тебе!

— Мы,— говорит,— не себе, а детдому.

— Так чего же, спрашиваю, нам сперва не заявили, предписания не дали — ведь мы организация.

— Молчи,— отвечают,— мы знаем, что делаем, не суйся в административные мероприятия!

Тогда Прошка (который и захватил их), слова не говоря, хрясь ладонью милиционеру в ухо, ляп железной калошей секретарю в спину. И так и далее. Однако дело это прошло молчком: вреда эти власти нам впоследствии не сделали.

Подговорились мы с одним городским армянином сбывать ему фрукт, и стали водиться у нас деньги.

Вышел сезон — подсчитали, свели в срезек баланец, ан три тысячи с лишком чистого дохода.

И хлебом мы занаслись на целый год, и прикупились кое-чем для себя и для сада, а три тысячи остатку.

Сильный был фрукт, да еще червь попортил.

* * *

Надобно договор до дела доводить. Поехали мы с братом и Прошкой в город — двигатель покупать. Походили, поспросили,— дорого.

— Зато машины,— говорят,— на букву ять.

— Нет,— отвечаем,— дорого. И при чем тут твоя царская буква?

— Букву не лай,— говорит сиделец,— она довоенного качества!

Наконец довел нас до дела один гражданин из Дома крестьянина. Пришли мы с ним к одному частнику: видим, мельница на дворе стучит. Входим — идет шведская машина. Отсечка — мягкость и чистота, газ — без дыма, тянет восьмерики плавно, бесшумно, шутя, вся блестит и влечет, как кровная лошадь. Танец, а не работа, шут ее дери! Я понимаю это, я сам электромеханик.

Долго мы вращались около двигателя.

— Сколько машина стоит,— спрашиваем,— со всей гарнитурой — чохом (как раз и постав мельничный тут же, рушка, обойка, бочки для нефти и весь инструмент).

— Пять тысяч,— говорит нам хозяин.

Дней пять мы ходили — испытывали постав, разбирали машину и торговались.

Сошлись на трех с половиной тысячах. Ведь машина сорок сил, да причиндалу сколько.

А денег у нас три тысячи двести. Поговорили с хозяином — согласился обождать триста рублей.

Тогда мы вошли во владение машиной и мельницей, пошли в сельскохозяйственный банк и заложили все благоприобретенное за две с половиной тысячи. На эти деньги мы окончательно расплатились за двигатель и купили в тресте: динамо, два маленьких электромотора для молотьбы, приборы, щиты, провода, лампы и прочее.

И начали мы возить имущество в Рогачевку. Сопровождал Прошка — ездил и ужасал встречных мужиков.

— Прокоп Палыч, нюжли ж взаправду светить и молотить оно будет?.. А я так думаю, не двинется оно — все же мертвый минерал...

— А ты пойди — тронь,— отвечал Прошка, показывая на какой-нибудь изолятор на возу.— Тронь, Матвей, пальцем! Да не бойся — тебе приятно станет...

— Да ну тебя к шуту — изувечит еще...

— Ага, а говоришь, мертвый минерал: это энергетик, тайная живность...

Кредитное товарищество дало нам амбар под станцию — туда и свезли все. Начали мы орудовать с братом и Прошкой. Привезли цемент и начали класть фундаменты под двигатель и динамо.

Утром поедим в саду печеных яблок с молоком — и до вечера на электростроительство. От народу в амбаре работать было нельзя: каждый указывает и советует, но и помогали иногда.

Собрался раз в кредитном сход о налоге, исчерпали повестку дня, я вышел и говорю:

— Трудно, граждане, втроем станцию — завет Ильича и основу социализма — строить. Нужна ваша помощь. Свезите нам из лесничества столбы, ошкурите их и вкопайте вдоль по улице, как мы укажем. Затем я полагаю, что бесплатно следует провести электричество только безлошадным и неимущим, по списку комитета взаимопомощи, а остальным по десять рублей с хаты.

Мне говорят:

— Правильно, Фрол Ефимыч,— устроим! Видим твои старания, от забот борода облупилась!..

Тогда дело пошло спорее: мы с братом установку делаем, а мужики под руководством Прошки столбы вкапывают, линию тянут и вводы в хаты втыкают по особому списку, а богатых проходят мимо: если хочешь светусилы, вноси десять рублей.

Прошка стоит на столбу и верховодит:

— Кузька, глянь, как столб твой стоит,— переставь вкрутую, это тебе не бадик!

— Егорка, давай голую магистраль, сними валенки, чего ноги паришь!

— Петруха, неси харчей из дома, скажи: Прошка требует.

— Эх вы, жлоборатория, да разве так тянут провод — это вожжи, где же тут напряжение пойдет? Его ветер сдует. Тяни втугачку, сопля, жми до пупка — технически трудись!

Вечером мужики наблюдают:

— До чего ж ходовит Прошка — огнем горит: глянь, с версту уже протянули. Ты скажи, и не обидчив! И сам смеется — и все ребята грохочут...

Когда у Прошки затекали руки и ноги, он слезал со столба и выплясывал из себя тут же всю усталость. Тогда все бросали работу и сбегались к нему. Прошка, поплясав и поорав, сразу смолкал и уставлялся своими белыми глазами на толпу:

— По местам, электромеханики, аль инженера не видали?

Довольные электромеханики расходились на работу.

По вечерам мы задумчиво отдыхали. Машины уже собраны и блестят, по соломенному селу ходит влажный осенний ветер, а Прокофий греет ужин.

* * *

Наконец настал день 5 ноября. Мы сделали деревянную звезду с лампами, через улицу протянули гирляндой тридцать ламп, а самая улица освещалась десятью фонарями на версту.

Кроме того, на площади против станции поставили две молотилки с электромоторами и подвезли хлеба к ним.

Ночью втихомолку мы попробовали станцию: впрягли в двигатель все — и динамо, и постав, и рушку, и обойку. Двигатель пошел мерно и без натуги. Улица засияла огнями, звезда в разноцветных фонарях светила с крыши дома кредитного товарищества на десять верст через село в степь, в ста хатах тоже загорелись лампы,— мужики в смятенье проснулись, заплакали дети, бабы их начали кутать и выносить на улицу, но в ту осеннюю ночь на улице тоже горел электрический свет.

По селу началась горячка. Народ бежал к станции, радуясь и тревожась, угрожая и удивляясь. Всех охватило смутное чувство, и сон в селе пропал.

А предприятие наше было на полном ходу и жутко гудело таинственной силой.

Прошка стоял у распределительного щита и следил за приборами, мы с братом мотались от двигателя к мельнице, от мельницы к молотилкам, устраняя неполадки, слушая ход и дыхание механизмов.

Над селом плыло великое зарево, за околицей гремели чьи-то убегающие телеги по заквоклой обмерзшей земле.

Был третий час ночи.

Тогда я крикнул человеку на щит:

— Прокофий, запри нефть, включай реостат, вырубай село, кредитное и улицу!

И Прошка ответил:

— Есть, механик,— вырубай ток!

Свет погас всюду и сразу все ослепли от вновь нагрянувшей страшной ночи.

Полуодетый народ стоял в полном молчании: он ошалел и поник.

— Прокофий, переведи ремень на холостой шкив, пусти двигатель, затем прекрати нефть, открой все краны и продуй машину!

— Есть, продуй машину! — ответил Прошка. Он, должно быть, матросом был: очень уж ловок и тактичен. Машина пошла ходко, а затем засвистела дикими голосами во все открытые отверстия.

— Прокофий, заулючь установку, конец работе.

— Есть, заулючь механизмы, работу прекратить!

Стало торжественно, и мы пошли к себе в сад отдыхать.

Но мы не уснули, а разволновались и просидели до света в разговорах по механике.

3

Наступил день открытия станции. Наладить праздник взялась сельская ячейка большевиков. К тому же открытие совпало с днем Октябрьской революции.

Наше дело малое: мы вновь проверили машины.

Ячейка вела дело лихо: разослала всем соседним селам и городу особое трогательное приглашение.

Было сухо — народу съехалось, как на обношение мо-

щей в старое время. Приехала вся большая власть и простые крестьяне.

В зале кредитного товарищества назначено было торжественное заседание. Прошка ввернул туда пять ламп по шестьсот свечей, чтобы свет бил до слепоты.

Уже завечерело, мы стоим на станции наготове и греем двигатель паяльной лампой. Вдруг приходит за мной предуика товарищ Кирсанов.

— Пожалуйте,— говорит,— Фрол Ефимыч, в залу.

— Сейчас,— говорю, а сам задержался.

— Прокофий,— обращаюсь,— Семен (это мой брат), глядите, ежели што — стыд и срам: кувалдой запущу! Я скоро вернусь. Пускай машину — вруби одно кредитное, я выключатель там выключил,— как увидишь нагрузку на амперметре — глаз не своди! — так моментально включай все и пускай на полный ход предприятие целиком. Ты, Семен, следи за молотилками, мельницей и всем прочим, поставь надежных мужиков.

Прихожу в зал кредитного: чувствуется торжественность, тишина, а народу, как ржи в мешке. За красным столом — власть и два наших мужика, а сбоку оркестр.

Прохожу сквозь ущелье стульев и иду прямо в президиум: мне машет оттуда предуика. Сажусь. Начинается вечер его речью. На столе горит пока что керосиновая лампа — для пущего противоречия!

Умно говорил предуика:

— Лампа Ильича сейчас,— говорит,— вспыхнет и будет светить советскому селу века как вечная память о великом вожде. Мотор,— говорит,— есть смычка города с деревней: чем больше металла в деревне, тем больше в ней социализма. Наконец,— указывает на меня,— строитель электрификации Фрол Ефимыч есть тоже смычка: глядите, он родился крестьянином, работал в городе и принес оттуда в вашу деревню новую волю и новое знание... Объявляю Рогачевскую сельскую электрическую станцию имени Ильича открытой!

Я еле успел подбежать к выключателю и дал свет. Свет упал в темную залу как ливень: три тысячи свечей пожертвовал сюда Прошка. Все зажмурились и нагнулись — как будто лилась горячая вода.

Оркестр заиграл «Интернационал», все встали и закричали что попало.

Я подошел к окну. Пятиконечная звезда, уличные фонари, лента через дорогу, хаты — все сияло.

Народ бросился глядеть наружу.

Дальше говорил предсельсовета, потом секретарь укома, а затем вышел председатель нашего кредитного товарищества:

— Товарищи! Что мы здесь обнаружили? Мы обнаружили лампу так называемого Ильича, т. е. обожаемого товарища Ленина. Он, как известно здесь всем, учил, что керосиновая лампа зажигает пожары, делает духоту в избе и вредит здоровью, а нам нужна физкультура... Что мы видим? Мы видим лампу Ильича, но не видим тут дорогого Ильича, не видим великого мудреца, который повел на вечную смычку двух апогеев революции — рабочего и крестьянина... И я говорю: смерть империализму и интервенции, смерть всякому псу, какой посмеет переступить наши великие рубежи... Пусть явится в эту залу Чемберлен либо Лой-Жорж, он увидит, что значит завет Ильича, и он зарыдает от своего хамства... И я говорю: помни завет вечного Ленина, носи его умное лицо в своем несчастном сердце...

Тут председатель кредитного заплакал, сел и вынул кисет.

Еще говорил, всем на удивление, наш мужик, Федор Фадеев:

— Граждане, сказано в писании: вначале бе слово. А кто его слыхал, и еще чуднее, кто его сказал? Нет, граждане, сначала был свет, потому что терлись друг о друга куски голой земли и высекалось пламя... Граждане, ведь мы слышали сейчас задушевные слова наших вождей и видим, что действительно электричество есть чистота и доброе дело...

Поговорив еще с час, Федор сбился, и сел, и весь вечер не мог очнуться от своей речи.

Остальную ночь я пробыл на станции. На дворе в драку молотили хлеб и дивились маленькой напористой машине — электромотору.

Всю ночь зарево пропускало над собой тучи, и темная долина Тамлыка была впервые освещена от сотворения мира.

4

Так прошел счастливый год. Станция везла уже не сто, а триста дворов. Мельница не управлялась молоть хлеб, и кооперация, которая владела всем предприятием, здоро-

во наживалась. Ветряки заглохли — весь помол отобрала мельница на станции: она брала дешевле, от налогов была свободна и работала без задержки, а кооперативный приказчик был обходительный человек и приучил мужиков.

А мне не раз уже говорил председатель кредитного, что мельники с ветряков собираются сжечь станцию, но я думал, что они не посмеют.

В сельсовете подсчитали, что одна наша мельница, не считая пользы от освещения, молотьбы, рушки и обойки, сберегла мужикам за год шесть тысяч пудов хлеба — это то, что мужик переплатил бы мельникам-кулакам, если бы не было нашей мельницы. Да еще заработок весь пошел не кулаку, а кооперации,— это тоже прибыток.

Оказывается, действительно в правление кредитного приходили два сельских мужика и говорили, что один мельник, владелец самого большого ветряка, подвыпивши, обещал сжечь все паровое заведение в августе — перед обработкой нового урожая. Я посоветовал кредитному застраховать предприятие, повесить в нем огнетушители и нанять ночного сторожа, а на кулака донести власти. Не знаю, сделало ли это кредитное товарищество.

Только раз, когда я спал,— дело было в августе, работы в саду много, за день уморишься здорово — будит меня Прошка:

— Ефимыч, вставай, в Рогачевке полыхает что-то свечой, должно, станция, хаты так не горят — это нефть...

От сада до села была верста. Добежали мы до станции, видим — уже нет постройки, все машины в огне и по двигателю зелеными струями текут расплавленные медные части.

Теперь стоит в Рогачевке линия, висят фонари на улицах, а лампочки в хатах засижены мухами до потускнения стекла.

Прошка ездит на тракторе, а я думаю опять уйти в город и поступить там на электростанцию линейным монтажистом.

Брат осел в деревне окончательно и разводит кур плимутроков.

Хотя на что нужны куры кровному электромеханику?

ЖЕНА МАШИНИСТА

Он возвратился домой к своей жене, серьезный и печальный. Он был в поездке, в пурге и на морозе почти сутки, но усталости не чувствовал, потому что всю жизнь привык работать.

Жена ничего сначала не спросила у мужа; она подала ему таз с теплой водой для умывания и полотенце, а потом вынула из печки горячие щи и поставила самовар.

За ужином они сидели молча. Муж медленно ел щи и отогревался, но на лицо по-прежнему был угрюмым.

— Ты что это, Петр Савельич? — тихо спросила жена.— Иль случилось что с ним, боль и поломка какая?

— У него палец греется...— сказал Петр Савельич.

— Который палец? — в тревоге спросила жена.— В позапрошлую зиму тоже грелся — тот или другой какой?

— Другой,— ответил Петр Савельич.— На третьем колесе у левой машины. Всю поездку мучился, боялся, что в кривошипе получилась слабина и палец проворачивается на ходу. Мало ли что может быть!

— А может, Петр Савельич, у тебя там на дышле либо в шатуне масло сорное! — сказала жена.— Ты бы заставил помощника профильтровать масло иль сам бы попробовал. Я тебе в другой раз чистую тряпочку дам. А этак-то куда ж оно годится...

Петр Савельич положил деревянную ложку на хлеб и вытер усы большой старой рабочей рукой.

— Плохое масло я, Анна Гавриловна, не допущу. Плохое я сам лучше с кашей съем, а в машину всегда даю масло чистое и обильное, зря говорить нечего!

— А палец-то ведь греется! — упрекнула Анна Гавриловна.— Глядишь, он погреется-погреется, а потом и отвалится, вот и станет машина калекой!

— Пока я жив буду, пока я механик, у меня ничего не отвалится,— ни в ходу, ни в покое.

— Да ну уж — ничего у тебя не отвалится! — осерчала Анна Гавриловна.— Спасибо, что тормозами вовремя состав ухватил, а то бы сколько оставил сирот — ведь пассажирский вел, двадцать седьмой номер-бис... Ешь уж щи, доедай начисто, а то прокиснут...

Петр Савельич вздохнул и доел щи.

— Колеса с паровозных осей не соскакивают,— сказал затем механик.— Это заблуждение. У Ивана Матве-

евича бандаж на ходу ослаб. А бандаж, Анна Гавриловна, это не целое колесо, отнюдь нет, Иван Матвеевич тут ни при чем: машина вышла из капитального ремонта, и бандаж в ремонте насадили недостаточно.

— А у тебя бы он тоже соскочил? — попытала Анна Гавриловна.

Петр Савельич подумал и решил:

— У меня нет, у меня едва ли! Я бы учуял дефект.

— Ну и вот, а я про что же говорю! — довольно подтвердила Анна Гавриловна.

— Что — вот? — удивился Петр Савельич.— Мне шестьдесят два года осенью сравнялось, а тебе пятьдесят четыре, а ты мне «вот» говоришь... Стели мне постель, я хоть спать и не буду, а так полежу.

Анна Гавриловна начала стелить кровать мужу и себе.

— Уснешь,— говорила она, взбивая подушки, чтобы они стали пышными и покойными для сна.— Чего тебе не спать: должно, все тело затомилось на такой работе-то. Шутка сказать, а ведь ты у меня, Петр Савельич, механик! Ляжешь вот тут и уснешь. Перина у нас мягкая, одеяло теплое, в комнате тихо,— чего тебе нужно-то!

— Ничего мне не нужно, Анна Гавриловна,— кротко сказал механик.— Я думаю, что палец в машине болит... А сейчас ночь, темно, мой напарник тяжеловесный состав ведет, думает ли он чего или просто глядит вперед, как сыч!

Анна Гавриловна постелила кровать и тоже загоревала было, но скоро отошла от горя.

— А ты не вдавайся в тоску, Петр Савельич, может быть, ничего и не случится. Он, палец тот, сначала погреется, а потом приработается — и греться перестанет: железо тоже свыкается друг с другом — терпит...

— Да какое там железо тебе! — негодующе выразился Петр Савельич.— Тридцать лет с механиком живешь, а все малограмотная, как кочегар в банной котельной...

Анна Гавриловна здесь промолчала; она понимала, когда надо слушать своего мужа и когда наставлять его.

Они легли спать и лежали молча. Петр Савельич слушал — не усиливается ли ветер на дворе, не начинается ли снова пурга, которая недавно улеглась, но в мире, пока что, было мирно и спокойно. Медленно шли стенные часы над кроватью, грустный сумрак ночи протекал за окном навстречу далекому утру, и стояла тишина времени.

Семья Петра Савельича была небольшая: она состояла из него самого, его жены и паровоза серии «Э», на котором работал Петр Савельевич. Детей у них долго не было: родился давно один сын, но он жил недолго и умер от детской болезни, а больше ребят не было. И теперь даже младенческий образ сына уже стушеван был в памяти родителей: время, как мрак, покрыло его и удалило в свое забвение...

Петр Савельич прислушался. Ночь шла тихо, но где-то в сенях или во дворе осторожно треснула древесина, сжимаемая морозом. Снаружи, наверное, сейчас холод сгущал ночную изморозь и видимость ухудшалась,— интересно, но трудно было в эту пору вести машину с тяжеловесным составом на тендерном крюке. У напарника Петра Савельича помощником работал молодой человек, просто юноша по имени Кондрат. Сколько ему могло быть лет? Лет, должно быть, девятнадцать — двадцать. Столько же, пожалуй, что и сыну Петра Савельича и Анны Гавриловны, если бы он жил на свете.

Петр Савельич привстал на постели: тревожное предчувствие еще прежде ясной мысли обеспокоило его сердце. Он укрыл жену одеялом, чтоб она не проснулась, сошел с кровати и начал одеваться. Но Анна Гавриловна проснулась, как только Петр Савельич чуть пошевелился: она привыкла следить за мужем и тихо думала о нем все дни и ночи, чутко ощущая еще слышный запах машины от его волос и одежды, когда муж был дома, и воображая его про себя, когда он находился в поездке.

— Куда тебя домовой несет? — спросила Анна Гавриловна.— Метель утихла, палец в машине притерпелся,— чего тебе там за всех стараться? Там без тебя есть народ!

— Народ там есть, Анна Гавриловна, а меня там нет,— с терпением сказал Петр Савельич.— А без меня народ неполный!

— Да то как же! — рассердилась Анна Гавриловна.— Без тебя ведь весь свет пустой! А завтра, что ж, ты не спавши, значит, в рейс поедешь? Ну что ж, поезжай не спавши,— может, в хвост другому составу наедешь либо весь паровоз на куски изувечишь,— тебя в тюрьму посадят, а я с тоски помру... Вот оно сразу все и кончится!

— Будет тебе свои нервы портить,— произнес Петр Савельич.— Там помощником нынче Кондрат поехал, малый молодой, просто еще юноша, и скоро им в обратный конец ехать...

— Ну и что тебе Кондрат, малый молодой? — спросила Анна Гавриловна.

— А то,— сказал Петр Савельич, снарядившись в дорогу,— а то, что им в обратный конец четыре затяжных подъема надо одолеть. Там нужно силу тяги держать точно по котлу, чтоб сколько ты ни ехал, сколько ни тянул, а у тебя все в котле и давление пара не падало, и уровень воды особо не понижался,— вот как надо котел содержать, понятно тебе стало?

— А чего ж тут и понимать-то? — сказала Анна Гавриловна.— Машина должна идти неугомонно, а пар упустишь, то она запыхается и станет...

— Ну вот, вроде верно, только неправильно: чем ей пыхать-то? — ответил Петр Савельич.— А Кондрат котел по тяге не удержит. Машину он любит, но знает в ней далеко не все. Да одну машину — это знать мало. Надо видеть всю целую природу — и погоду, и что у тебя на рельсах: мороз или жарко, и подъемы надо знать наизусть, и машина как себя чувствует сегодня...

— Пусть уж они без тебя там знают! — сообщила Анна Гавриловна.— Только нагрелся, а уж вылез! Окоченеешь наружи!

— Я у котла согреюсь,— пообещал механик.— Скоро рабочий поезд пойдет, я на нем и встречу свою машину на четвертом разъезде: там подъем такой; что станешь врастяжку и состав порвешь...

— Ты хоть еды-то возьми с собой, шут непокойный! — попросила жена.

— Я в буфете на вокзале пожую,— ответил Петр Савельич.— Ты спи себе в тепле и покое.

— С вами уснешь! — сказала Анна Гавриловна.— Вы даете покой, старые черти...

Но Петр Савельич уже гремел щеколдой в сенях, уходя в зимнюю ночь; он не обижался на жену.

Возвратился домой Петр Савельич не скоро — к вечеру следующего дня. Он пришел вместе с Кондратом, молодым стесняющимся человеком, помощником машиниста.

Анна Гавриловна только поглядела своими знающими и чувствующими глазами на пришедших, но ничего не сказала и молча стала собирать им еду на стол.

— Мойтесь, чумазые трудящиеся! — пригласила она затем.— Вам бы и есть-то давать не надо: по вас вижу — поломали вы машину... Всё тяжеловесы они возят и но-

сятся как бешеные, аж рельсы воют. Возили бы потише, полегче, и паровозы бы у вас здоровые были, как упитанные, толстые дети! А то ишь — большой клапан придумали!

Петр Савельич и Кондрат оставили речь женщины без ответа. Им нечего было отвечать человеку, чуждому механике. Они помылись и сели за стол, угрюмые и безмолвные. Кондрат ел робко и мало, чувствуя себя в гостях. Петр же Савельич, наоборот, кушал достаточно хорошо и обильно.

— Ешь больше! — говорил он Кондрату.— От пищи горе скорее пройдет, в пище есть своя добрая душа, и когда съешь ее, она в нас очутится...

— Я ем, Петр Савельич,— произнес Кондрат.

— Ешь! — приглашал механик.— Потом спать ляжешь!.. Анна Гавриловна, постели сыну постель!

Анна Гавриловна вначале обомлела и не могла даже ничего высказать разумного, но потом опомнилась.

— Который сын? — спросила она.

— Кондрат,— указал Петр Савельич.— Мы бездетные, а он без отца, без матери живет. Вот мы и квиты будем, он наш будет, а мы его — и все!.. Стели ему постель на диване и помалкивай!

Анна Гавриловна стала стелить постель Кондрату, но она не помалкивала, а шептала слова про себя: «Паровоз сломал, теперь малого в сыновья привел, ему только и дела, старому, что заботу мне выдумывать!»

Петр Савельич расслышал эти размышления жены, но смолчал.

— А паровоз наш где? — спросила Анна Гавриловна.

Старый механик покряхтел в тягостном чувстве.

— Машина в ремонт пошла! — ответил машинист.— Болящий палец ей выврнули, в топке связи потекли, и песку в песочнице не оказалось... Весь состав стал врастяжку на подъеме, его начали рвать вперед эти двое, Кондрат и его механик, и у них вышло происшествие, а тяги не получилось...

— Вот тебе раз! — воскликнула Анна Гавриловна.— Вот так сын Кондрат!

— Как же ты пальца-то не услыхал! — угрожающе сказал Кондрату Петр Савельич.— Ведь он стонал и кричал перед тем, как ему провернуться в гнезде!

— Форсировка большая была,— ответил Кондрат.— Гулко было, ничего не слыхать...

— Ах так! — произнес Петр Савельич.— Ну ладно, будешь сыном, я тебя научу. А так вы нам все машины покалечите!

Анна Гавриловна поняла своего мужа. Она отвернула одеяло, положенное на диване для Кондрата, и подстелила туда пододеяльник, а подушку сбила в руках для мягкости: пусть Кондрат спит удобно и нежно, если надо его считать сыном, а сердце затем само привыкнет его любить.

Когда Кондрат улегся и засопел в глубоком сне, Петр Савельич и Анна Гавриловна долго стояли над спящим Кондратом, рассматривая его юное, утомленное и доверчивое лицо, открытый рот и закрытые, запавшие глаза.

— Ты паровоз любишь,— произнес старый машинист,— и меня иногда вдобавок, надо и его любить.

Старая жена машиниста молчала.

— Когда я увидел, что машина у них совсем изуродовалась и заболела,— говорил и советовался с женой Петр Савельич,— я поругал машиниста, а Кондрату хотел уши нарвать, но потом передумал: пусть, думаю, живет, я его усыновлю и воспитаю, чтоб из него большой механик вышел...

Затем, вспомнив кое-что, старый машинист добавил:

— Ну вот что, поговорили — хватит. Ты поставь сейчас тесто, а завтра утром оладьев для Кондрата испечешь. Его надо хорошо питать!

— А я хотела бы блинцов напечь, Петр Савельич,— возразила жена.

Тут уж механик не стал спорить со своей женой.

1940

ТРЕТИЙ СЫН

В областном городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики шесть телеграмм однообразного содержания: «Мать умерла приезжай отец».

Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось ему, тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу,— может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой.

И вот теперь она медленно работает, путает деньги, теряет память и внимание; даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье.

После отправления телеграмм старый отец вернулся домой; он сел на табуретку около длинного стола, у холодных ног своей покойной жены, курил, шептал грустные слова, следил за одинокой жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке, иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым менялась погода в природе: то падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега; то шел дождь; то светило позднее солнце, нетеплое, как звезда,— и старик ждал сыновей.

Первый, старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные пять сыновей собрались в течение двух следующих суток.

Один из них, третий по старшинству, приехал вместе с дочкой, шестилетней девочкой, никогда не видавшей своего деда.

Мать ждала на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения; давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими,— пока не умерла.

Громадные мужчины — в возрасте от двадцати до сорока лет — безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их

было шесть человек, седьмым был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами.

Сыновья молча плакали редкими, задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один раньше всех, а теперь с тайным волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. Двое из них были моряками — командирами кораблей, один — московским артистом, один, у кого была дочка,— физиком, коммунистом, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро, и седьмой отец, бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда — через тысячи верст — находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильней от этого сознания и смелее делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп, она больше никого не могла любить и лежала как равнодушная чужая старуха.

Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе,— весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание.

Умирая, старуха наказала мужу-старику, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома, а уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыновей и чтоб они могли идти за ее гробом. Старуха не столько верила в бога, сколько хотела, чтоб муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв, при свете восковых свечей над ее посмертным лицом; она

не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец привел под вечер одного человека — тоже старичка, одетого обыкновенно, по-штатскому, розового от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре; в ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу, епитрахиль и маленькое кадило на цепочке. Он быстро уставил и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и с ходу, без предупреждения, забормотал чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги; им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно, в затылок друг другу, стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, пел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился,— это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении.

Окончив скорую панихиду, поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командирскую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег, и поп, не задерживаясь, пробрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянувших на него, и боязливо скрылся за дверью. В сущности же, он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог; он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь враз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений,— для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски, но ему не дали оттуда ответа.

Вечером отец постелил шесть постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровати рядом с собой, где сорок лет спала покойная старуха. Кровать стояла в той же большой комнате, где находился гроб, а сы-

новья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а потом притворил дверь и ушел спать рядом с внучкой, всюду потушив свет. Внучка уже спала, одна на широкой кровати, укрывшись в одеяло с головой.

Старик постоял над ней в ночном сумраке; выпавший снег на улице собирал скудный рассеянный свет неба и освещал тьму в комнате через окна. Старик подошел к открытому гробу, поцеловал руки, лоб и губы жены и сказал ей: «Отдыхай теперь». Он осторожно лег рядом с внучкой и закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло. Он задремал и вдруг снова проснулся. Из-под двери комнаты, где спали сыновья, проникал свет, там опять зажгли электричество, и оттуда раздавался смех и шумный разговор.

Девочка от шума начала ворочаться, может быть, она тоже не спала, только боялась высунуть голову из-под одеяла — от страха перед ночью и мертвой старухой.

Старший сын с увлечением, с восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических пропеллерах, и голос его звучал сыто и мощно, чувствовались его здоровые, вовремя отремонтированные зубы и красная глубокая гортань. Братья-моряки рассказывали случаи в иностранных портах и затем хохотали, что отец покрыл их сейчас старыми одеялами, которыми они накрывались еще в детстве и отрочестве. К этим одеялам сверху и снизу были пришиты белые полоски бязи с надписями «голова», «ноги», чтобы стелить одеяло правильно и грязным, потным краем, где были ноги, не покрывать лица. Затем один моряк схватился с артистом, и они начали возиться по полу, как в детстве, когда они жили все вместе. Младший же сын подзадоривал их, обещая принять их обоих на одну свою левую руку. Видимо, все братья любили друг друга и радовались своему свиданию. Уже много лет они не съезжались все вместе и в будущем неизвестно, когда еще съедутся. Может быть, только на похороны отца? Развозившись, два брата опрокинули стул, тогда они на минуту притихли, но, вспомнив, видимо, что мать мертвая, ничего не слышит, они продолжали свое дело. Вскоре старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь вполголоса: он ведь знает хорошие московские песни. Но артист сказал, что ему трудно начать ни с того, ни с сего, ни под слово. «Ну, закройте меня чем-нибудь»,— попросил московский артист. Ему накры-

ли чем-то лицо, и он запел из-под прикрытия, чтоб не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежавшего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали — так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала:

— Дедушка! А дедушка! Ты спишь?

— Нет, я не сплю, я ничего,— сказал старик и робко покашлял.

Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу; оно было мокрое.

— Ты что плачешь? — шепотом спросил старик.

— Мне бабушку жалко,— сказала внучка.— Все живут, смеются, а она одна умерла.

Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно, она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо и спросила:

— А почему ты тоже плачешь? Я перестала.

Дед погладил ей головку и шепотом ответил:

— Так... Я не плачу, у меня пот идет.

Девочка сидела на кровати около изголовья старика.

— Ты по старухе скучаешь? — говорила она.— Лучше не плачь: ты старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать.

— Я не буду,— тихо ответил старик.

В другой шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то сказал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука: он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил всех своих братьев, и они перестали даже разговаривать.

Вскоре оттуда открылась дверь и вышел третий сын, одетый как днем. Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому.

Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания.

Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону, по столу, и упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука,— закричала только его дочь.

Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке, тайком разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней; если б она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не вытерпела жить долго.

Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать, а старик взял внучку на руки и пошел им вслед; он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже.

1936

В ПРЕКРАСНОМ И ЯРОСТНОМ МИРЕ

(Машинист Мальцев)

1

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а вместо Драбанова я был определен работать в бригаду Мальцева; до того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС», единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на нее, и особая, растроганная радость пробуждалась во мне, столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно; ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и хотя я и огорчался молчаливо, все же привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения

за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу,— даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станется после нас, куда он полетел?

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени, и нас посредством задержек обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливал меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Мальцев всегда за мной снова осматривал и смазывал какую-либо рабочую трущуюся часть, точно не считал мою работой действительной.

— Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил,— сказал я ему однажды, когда он стал испытывать эту деталь после меня.

— А я сам хочу,— улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев по-

нимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда,— лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать это, чтобы мы поняли.

И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно. Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав — и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

2

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и пятого июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда...

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколько возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к трем часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился и солнце сияло с торжественной силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол-атмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный, мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров и ниже не сдавал,— наоборот, на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку в

помощь стоккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс па полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могла идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас, сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза, видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед, в смутный, душный мрак — в щель света, создаваемого лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед, как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу — и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца; я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева — он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

— Что это было? — спросил я у кочегара.

— Молния,— сказал он.— Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

Мальцев расслышал наши слова.

— Какая молния? — спросил он громко.

— Сейчас была,— произнес кочегар.

— Я не видел,— сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

— Не видел? — удивился кочегар.— Я думал, котел взорвало, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

— А гром где? — спросил я.

— Гром мы проехали,— объяснил кочегар.— Гром всегда после бьет. Пока он ударил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слыхали — они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно покоились смирные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину,— на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверное, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест, и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед — на путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горела на весу электрическая лампа, освещая машущий дышловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давало расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди, во тьме, близко или далеко — нельзя было

установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать!

— Александр Васильевич! — крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву, он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми, покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

— Мальцев! — закричал я.— Мы петарды давим! — И потянул руки к управлению.

— Прочь! — воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад.

Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, строгавшие рельсы.

— Мальцев! — сказал я.— Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем.

— Не надо! Пусть сломаем! — ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз тендером в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета; ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

— Костя! — позвал меня Александр Васильевич.

Я подошел к нему.

— Костя! Что там впереди нас?

Я объяснил ему.

— Костя... Дальше ты поведешь машину. Я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы еще не дошли до того дома на заросшей травою улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

— Нельзя,— ответил я.— Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами.

— Теперь я вижу, ступай домой... Я вижу все — вот жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

— У нее голова покрытая или безо всего? — спросил я.

— Без,— ответил Мальцев.— Кто слепой — ты или я?

— Ну, раз видишь, то смотри,— решил я и отошел от Мальцева.

3

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал,— что Мальцев не виноват.

— Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии,— сказал я следователю.— Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены... Я не знаю, как это нужно сказать точно.

— Я вас понимаю,— произнес следователь,— вы говорите точно. Это все возможно, но недостоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

— А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

— Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву,— рассуждал следователь.— Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

— Молнии Мальцев увидеть не мог,— сказал я.

Следователь удивленно слушал меня.

— Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно — от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствие разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света.

— Интересно! — улыбнулся следователь.— Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым.

Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

— Видит,— подтвердил я.

— Был ли он слепым,— продолжал следователь,— когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

— Был,— подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

— Почему же он не передал управления паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав?

— Не знаю,— сказал я.

— Вот видите,— говорил следователь.— Взрослый, сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?

— Но ведь он и сам бы погиб! — говорю я.

— Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть.

— Не было,— сказал я.

Следователь стал равнодушен; он уже заскучал от меня, как от глупца.

— Вы все знаете, кроме главного,— в медленном размышлении сказал он.— Вы можете идти.

От следователя я пошел на квартиру Мальцева.

— Александр Васильевич,— сказал я ему,— почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?

— А я видел,— ответил он.— Зачем ты нужен мне был?

— Что вы видели?

— Все: линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины — я все видел...

Я озадачился.

— А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения, вы шли прямо в хвост другому составу...

Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне как самому себе:

— Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его, а я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал... Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их: я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал.

Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю,— о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича.

— А я ему говорил,— ответил Мальцев.

— А он что?

— Это, говорит, ваше воображение было; может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение — было оно или нет — я проверить не могу, оно было лишь у вас в голове, это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло,— это действие.

— Он прав,— сказал я.

— Прав, я сам знаю,— согласился машинист.— И я тоже прав. Что же теперь будет?

Я не знал, что ответить ему.

4

Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом — осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему и сигнал переделывался на зеленый, старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа — я скучал по Мальцеву.

Зимою я был в областном городе и посетил своего брата — студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них в университете есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, еще не ясное для меня самого.

Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических разрядов. В случае если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком.

Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории.

Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева.

Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами; я терял надежду.

— Вы подвели своего друга,— сказал затем следователь.

— А что? Приговор остается прежний?

— Нет, мы освободили Мальцева. Приказ уже дан,— может быть, Мальцев уже дома.

— Благодарю вас.— Я встал на ноги перед следователем.

— А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет: Мальцев опять слепой...

Я сел на стул в усталости, во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить.

— Эксперты без предупреждения, в темноте, провели Мальцева под установкой Тесла,— говорил мне следователь.— Включен был ток, произошла молния, и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света — это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой.

Следователь попил воды и добавил:

— Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении... Вы его товарищ, помогите ему.

— Может быть, к нему опять вернется зрение,— высказал я надежду,— как было тогда, после паровоза...

Следователь подумал.

— Едва ли. Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту.

И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате.

— Это я виноват... Зачем я послушался вас и, как глупец, настоял на экспертизе! Я рисковал человеком, а он не вынес риска.

— Вы не виноваты, вы ничем не рисковали,— утешил я следователя. —Что лучше — свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?

— Я не знал, что мне придется доказать невиновность человека посредством его несчастья,— сказал следователь.— Это слишком дорогая цена.

— Вы не волнуйтесь, товарищ следователь. Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю.

— Я вас тоже,— сознался следователь.— Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя...

— Спасибо, но я занят, я помощник машиниста на курьерском паровозе.

Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил — в том, что они губили именно Мальцева, а не меня, скажем. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни гибельных обстоятельств, и эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе,— я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать.

5

На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии «СУ», работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими, слепыми глазами, и жадно дышал запахом гари и смазочного масла, и внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался.

Проходило лето, я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича — не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время; жил он в достатке — ему определили пенсию, жена его работала, детей у них не было,— но тоска, безжизненная участь снедала Александра Васильевича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек.

— Прочь! — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова.

Но я тоже был сердитый человек, и когда, по обычаю, он однажды велел мне уходить прочь, я сказал ему:

— Завтра в десять тридцать я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину.

Мальцев согласился:

— Ладно. Я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь, дай реверс подержать — я крутить его не буду.

— Крутить ты его не будешь! — подтвердил я.— Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля, а больше сроду не возьму на паровоз.

Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной.

На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину.

Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста, положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством.

В обратный конец мы ехали таким же способом: Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись возле него, и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что

мне было достаточно легкого нажима на его руку — и он с точностью ощущал мое требование.

Прежний совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь.

На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника.

Мы уже были на подходе к Толубееву, наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать ход и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе; я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием...

— Закрой пар! — сказал мне Мальцев.

Я промолчал, волнуясь всем сердцем.

Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.

— Я вижу желтый свет,— сказал он и повел рукоятку тормоза на себя.

— А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет? — сказал я Мальцеву.

Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ.

— Веди машину до конца, Александр Васильевич, ты видишь теперь весь свет!

Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь. Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.

1941

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ

1

Родители ее умерли от тифа в гражданскую войну в одну ночь. Ольге тогда было четырнадцать лет от роду, и она осталась одна, без родных и без помощи, в маленьком поселке при железнодорожной станции, где отец ее работал составителем поездов. После того как отца и мать помогли похоронить соседи и знакомые, девочка жила еще несколько дней в пустой, выморочной квартире из кухни и комнаты. Ольга вымыла полы в кухне и комнате, прибралась и села на табурет, не зная, что ей делать дальше и как теперь жить. Соседка-бабушка принесла девочке кулеш в чашке, чтобы сирота, бывшая худой и не по летам маленького роста, поела что-нибудь, и Ольга скушала все без остатка. А когда бабушка ушла, Оля начала стирать белье: рубашку матери и подштанники отца — что от них сохранилось из белья и верхней одежды. Вечером Ольга легла спать на койку, где спали всегда отец с матерью, когда они были живые и больные. Наутро она встала, умылась, прибрала постель, подмела комнату и сказала: «Опять надо жить!» — так часто говорила ее мать. Затем Ольга пошла в кухню и стала там хлопотать, точно она, подобно умершей матери, стряпала обед; стряпать было нечего, не было никаких продуктов, но Ольга все же поставила пустой горшок на загнетку печки, взяла чаплю, оперлась на нее и, вздохнув, пригорюнилась около печи, как делала мать. Потом она перетерла и поставила в ящик стола всю посуду, посмотрела на часы, подтянула гирю к циферблату и подумала: «Не то отец вовремя придет с дежурства, не то запоздает? Если будет формироваться маршрут, то опоздает»,— так обычно думала мать Ольги, называя своего мужа отцом. Теперь девочка-сирота тоже думала и поступала подобно матери, и ей от этого было легче жить одной. Когда она делала вместо матери все дела по хозяйству, когда она повторяла ее слова, вздыхала от нужды и тихо томилась на кухне, девочка воображала себе, что мать ее еще жива в ней немного, она чувствовала ее вместе с собою.

Вечером Ольга зажгла лампу, в ней был на дне керосин, налитый когда-то отцом, и поставила огонь на подоконник. Так же делала и ее мать, когда ожидала отца

в темное время. Отец, подходя к дому, еще издали кашлял на улице и сморкался, чтобы жена и дочь слышали, что идет отец. Но теперь на улице было постоянно тихо, народ разошелся по сельским хлебным местам либо лежал в своих жилищах, слабый и болезненный, а в некоторых дворах вовсе вымер. Ольга все же дотемна ожидала отца или кого-нибудь, кто бы пришел к ней, но никто не вспомнил о сироте — ни бабушка-соседка, ни другие люди, потому что у них были своя боль и своя забота. Тогда она легла в кровать родителей и уснула одна.

Девочка пожила дома еще два дня, переночевала, а потом ушла на станцию. Далеко, в губернском городе на Волге, жила ее тетя; она приезжала два года тому назад гостить к матери и была в воображении Ольги богатой и доброй. Тетка была сестрой матери, она даже походила на нее лицом, и девочка хотела сейчас поскорее уехать к ней, чтобы жить около тетки и не скучать по матери. Болея перед смертью, мать говорила, что если Ольге суждено жить, то пусть она едет к тетке, чтобы не оставаться одной на свете; сестра матери и накормит сироту, и обошьет, и отдаст в учение. Теперь дочь вспомнила мать и послушалась ее.

На вокзале было пустынно; война с буржуями отошла в южную сторону. На железнодорожном пути против вокзальной платформы стоял один небольшой старый паровоз и два пустых товарных вагона. Из будки паровоза на девочку глядел помощник машиниста; он помнил ее отца и мать и знал, что они скончались, поэтому позвал сироту на машину. Девочка влезла по трапу на паровоз; механик развязал красный платок с пищей и вынул оттуда четыре печеные картошки; затем он погрел их на котле, посыпал солью и дал Ольге две картошки, а две съел сам. Ольге захотелось, чтобы механик взял ее к себе домой, она бы стала у него жить и привыкла бы к нему. Но паровозный механик ничего не сказал девочке доброго, он только покормил ее и спрятал обратно свой пустой красный платок. Он сам был многодетный человек и не мог решить, сможет ли он прокормить лишний рот.

Ольга просидела на паровозе до вечерних сумерек, пока не подъехал к вокзалу длинный поезд с вагонами-теплушками, в которых находились красноармейцы.

— Я теперь пойду, мне к тетке ехать надо,— сказала Ольга механику.— Мне мать велела, когда она еще живая была.

— Раз надо, тогда езжай,— сказал ей механик.

Ольга сошла с паровоза и направилась к красноармейскому поезду. Все вагоны были открыты настежь, и почти все красноармейцы вышли наружу; некоторые из них ходили по вокзальной платформе и смотрели, что находится вокруг них — водонапорная башня, дома около станции и далее простые хлебные поля. Четыре красноармейца несли суп в цинковых ведрах из станционной кухни; Ольга близко подошла к тем ведрам с супом и поглядела в них: оттуда пахло вкусным мясом и укропом, но это было для красноармейцев, потому что они ехали на войну и им надо быть сильными, а Ольге кушать этот суп не полагалось.

Около одного вагона стоял задумчивый красноармеец; он не спешил идти обедать и отдыхал от дороги и от войны.

— Дядя, можно я тоже с вами поеду? — попросилась Ольга.— Меня родная тетка ждет...

— А она где отсюда проживает? — спросил красноармеец.— Далече?

Ольга назвала город, и красноармеец согласился, что это далеко, пешком не дойдешь, а с поездом завтра к утру, пожалуй, поспеешь туда.

В это время к вагону подошли два красноармейца с ведром супа, а позади них еще несколько красноармейцев несли в руках хлеб, махорку, кашу в кастрюле, мыло, спички и прочее довольствие.

— Вот тут девочка доехать до тетки просится,— сказал красноармеец своим подошедшим товарищам.— Надо бы взять ее, что ли...

— А чего нет — пускай едет! — сказал красноармеец, прибывший с двумя хлебами под мышками.— В невесты она не годится — мала, а в сестры — как раз...

Ольгу подсадили в вагон, дали ей ложку и большой ломоть хлеба, и она села среди красноармейцев, чтобы есть общий суп из цинкового чистого ведра. Вскоре один красноармеец заметил, что ей неловко есть, сидя на полу, и он велел ей встать на колени — тогда она будет доставать ложкой погуще со дна, будет видеть, где плавает жир и где находится говядина.

После ужина поезд тронулся. Красноармейцы уложили Ольгу на верхнее помостье, потому что там было теплее и тише, а сверху укрыли ее двумя шинелями, чтобы она не продрогла от ночной или утренней прохлады.

2

Поздно утром красноармейцы разбудили Ольгу. Поезд стоял на большой станции; незнакомые паровозы чужими голосами гудели вдалеке, и солнце светило не с той стороны, с какой оно светило в поселке, где жила Ольга. Красноармейцы подарили Ольге половину печеного хлеба и ломоть сала и опустили ее из вагона под руки на землю.

— Тут твоя тетка живет,— сказали они.— Ступай к ней, учись и вырастай большая, в твое время хорошо будет жить.

— А я не знаю, где тетка живет,— произнесла Ольга снизу; она стояла теперь одна, в бедной юбчонке, босая и с хлебом под мышкой.

— Сыщешь,— ответил задумчивый красноармеец.— Люди укажут.

Но Ольга не уходила; ей хотелось остаться с красноармейцами в вагоне и ехать с ними, куда они едут. Она уже привыкла к ним немного, и ей хотелось каждый день есть суп с говядиной.

— Ну, иди помаленьку,— поторопили ее из вагона.

— А вы сказали, мне хорошо будет, а когда? — спросила она, боясь уходить к тетке, неизвестно куда.

— Потерпи,— ответил ей прежний, задумчивый красноармеец.— Нам сейчас заботы много: белых надо покончить.

— Я потерплю,— согласилась Ольга.— А теперь до свиданья, я к тетке пошла.

Тетку она отыскала лишь к самому вечеру. Она спрашивала всех встречных, у кого лица были добрее, но никто не знал, где живет Татьяна Васильевна Благих. Хлеб у Ольги отобрал один прохожий человек, который попросил откусить один раз, но взял весь хлеб и ушел в сторону, сказав девочке, что хлебом спекулировать теперь воспрещается. Ольга съела поскорее все сало, которое дали ей красноармейцы, чтобы его никто больше не отнял, и вошла в один двор — попросить напиться. Пожилая женщина вынесла ей кружку воды и сказала, что больше подать нечего.

— А я и не побираюсь, я к тетке приехала,— сказала Ольга.

— А кто ж твоя тетка-то? — с подозрением спросила дворовая женщина.

Ольга подробно назвала свою тетку; тогда женщина почему-то вздохнула и указала девочке, куда надо идти: направо за угол, и там будет третий дом по левой стороне с некрашеными ставнями, там и живут Благих, муж и жена, а детей у них нету.

— Нету? — спросила Ольга.

— Нету,— подтвердила женщина,— у этих людей дети рожаться не любят.

Ольга нашла небольшой деревянный дом с некрашеными ставнями, вошла во двор, заросший дикой травой, и постучала в запертые сени. Оттуда послышался недовольный, тихий голос, затем шаги, и дверь отворилась — она была закрыта на засов и щеколду, как на ночь. Босая, простоволосая тетка Татьяна Васильевна вышла к Ольге и осмотрела всю девочку. Ольга увидела перед собой тетку; она думала, что тетка была веселой и доброй, какой Ольга запомнила ее в детстве, когда Татьяна Васильевна жила в гостях у отца и матери, а теперь тетка глядела на девочку равнодушными глазами и не обрадовалась, что к ней приехала круглая сирота.

— Ты что сюда явилась? — спросила тетка.

— Мне мать велела,— произнесла Ольга.— Она ведь теперь умерла вместе с отцом, а я одна живу... Тетя, их больше нету!

Татьяна Васильевна подняла конец фартука и вытерла глаза.

— Наша родня вся недолговечная,— сказала она.— Я ведь тоже только на вид здоровая, а сама не жилица... И-их, нет — не жилица!

Ольга с удивлением смотрела на тетку,— теперь она казалась ей доброй, потому что грустила об умершей сестре и о самой себе.

— Живешь-живешь, и погоревать некогда,— вздохнула Татьяна Васильевна.— Ты ступай покуда посиди на улице,— указала она племяннице,— а то я сейчас полы только вымыла, уборку сделала, пустить тебя некуда...

— А я на дворе побуду, тут трава у вас растет,— сказала Ольга.

Но Татьяна Васильевна рассердилась:

— Нечего тебе на дворе тут делать! Здесь у нас куры ходят, они и так не несутся, а ты пугать их будешь — сидеть. А траву мы косим на корм кроликам, ходить по ней нельзя... Ступай по тропинке за ворота!

Ольга вышла на улицу; посредине ее лежали сложен-

ные в штабель старые, ржавые рельсы, между ними уже много раз вырастала и умирала трава, и теперь она снова росла. Девочка села на эти рельсы,— они находились как раз против окон того дома, где жила тетка,— и стала ожидать, когда высохнут полы в комнатах у тетки, и тогда ее позовут и накормят.

Но прошли уже все прохожие, проехали крестьяне на телегах в свои деревни, и ломовые возчики, возившие пшено в мешках со станции, перестали ездить,— наступил вечер, и стало темно. У Ольги озябли голые ноги, она их поджала ближе к себе и задремала, сидя на стынущем рельсе. Затем, открыв глаза, она увидела, что в окнах у тетки теперь горел свет, а на всей улице была страшная тихая ночь детства, населенная еле видимыми, неизвестными существами, от которых все люди спрятались домой и заперли двери на железо. Ольга побежала поскорее к тетке; калитка была закрыта, тогда девочка постучала в освещенное окно. Изнутри комнаты отдернули занавеску, и оттуда на Ольгу поглядело большое лицо пожилого человека, обросшего густой черной бородой; он быстро проглотил что-то, словно испугавшись, что к нему пришли отымать пищу, и внимательно всмотрелся во тьму своими глазами, такими маленькими, что они казались кроткими, как бывает у животных. Позади этого человека был виден стол с ужином, и Татьяна Васильевна сейчас поспешно убирала хлеб и посуду со стола.

Ольга отошла от окна. Вскоре отворилась калитка, и оттуда выглянула тетка.

— Ты что стучишь? — спросила она.— А мы уж думали, ты давно ушла...

— Я уморилась ждать, когда вы позовете,— сказала Ольга.— Я боюсь одна на улице...

— Ну иди уж,— позвала тетка.

В кухне и горнице у тетки было чисто, прибрано и покойно, и пахло хорошо, как у богатых. «Здесь я жить не буду,— подумала Ольга.— Тут нельзя: скажут — ты испачкаешь все». Муж Татьяны Васильевны, который смотрел на Ольгу через окно, опять ел за столом свой ужин.

— От своих детей бог избавил, зато нам их родня подсыпает,— вздохнула Татьяна Васильевна.— Вот тебе, Аркаша, племянница моя, она теперь круглая сирота, пои, корми ее, одевай и обувай!..

— Изволь радоваться! — равнодушно, точно про себя, сказал муж Татьяны Васильевны.— Ну, дай ей поесть,

и пускай она сегодня переночует... А то отвечать еще за нее придется!

— А чего ж я ей постелю-то! — воскликнула тетка.— У нас ведь нет ничего лишнего-то: ни белья, ни одеяла, ни наволочки чистой!

— Я так буду спать — на жестком, а накроюсь своим платьем,— согласилась Ольга.

— Пусть ночует,— указал жене дядя, Аркадий Михайлович.— А ты нынче не зверствуй, а то тебе Советская власть покажет!

Татьяна Васильевна сначала озадачилась, а потом пришла в озлобление:

— Чем же это она мне покажет-то?.. Советская-то власть, она думает, что люди — это ангелы-товарищи, а они возьмут нарожают детей, а сами помрут,— вот пусть она их и кормит, власть-то Советская!..

— Прокормит,— уверенно сказал муж тетки, жуя кашу с маслом из ложки.

— «Прокормит»! — передразнила Татьяна Васильевна своего мужа.— Кто их прокормит, если у них родители рожают без удержу! Уж я-то знаю, как трудно оборачиваться Советской власти, уж я-то ей сочувствую!..

— Меня кормить не надо, я спать хочу,— сказала Ольга; она села на сундук и отвернулась лицом от чашки с кашей, которая стояла на столе перед хозяином.

Муж тетки вытер свою ложку, положил ее около чашки и сказал сироте:

— Садись доедай — тут осталось.

Ольга села к столу и начала понемногу есть пшенную кашу, подгребая ее со дна чашки.

— Ну вот, а говорила, что тебя кормить не надо, ты спать хочешь,— произнесла тетка и поскорее положила на сундук подушку без наволочки, чтоб девочка ложилась спать.

— Я немножко,— ответила Ольга; она еще раз взяла половину ложки каши, затем начисто облизала ложку и аккуратно положила ее на стол.— Больше не буду,— сообщила она.

— Уже наелась? — добрым голосом спросила Татьяна Васильевна.

— Нет, я расхотела,— сказала Ольга.

— Ну, ложись теперь спать, отдыхай,— пригласила ее тетка на сундук.— А то мы свет сейчас потушим: чего зря керосину гореть!

Ольга улеглась на сундук, тихо сжалась всем телом, чтобы чувствовать себя теплее, и уснула на твердом дереве, как на мягкой постели, потому что у нее не было сейчас другого места на свете.

3

Утром дядя и тетка проснулись рано; дядя был железнодорожным машинистом и уезжал в очередную поездку на товарном поезде. Татьяна Васильевна собрала мужу сытные харчи в дорогу — кусок сала, хлеб, стакан пшена для горячей похлебки, четыре вареных яйца,— и машинист надел теплый пиджак и шапку, чтобы не остудить голову на ветру.

— Так как же нам теперь жить-то? — шепотом спросила Татьяна Васильевна у мужа.

— А что? — сказал Аркадий Михайлович.

— Да видишь вон,— указала тетка на Ольгу,— лежит наше новое сокровище-то!

— Она — твоя родня,— ответил ей муж,— делай сама с нею, что хочешь, а мне чтоб покой дома был.

После ухода мужа тетка села против спящей племянницы, подперла щеку рукой, пригорюнилась и тихо зашептала:

— Приехала, развалилась — у дяди с тетей ведь добра много: накормят, обуют, оденут и с приданым замуж отдадут!.. Принимайте, дескать, меня в подарок,— вот я, босая, в одной юбчонке, голодная, немытая, сирота несчастная... Может, бог даст, вы скоро подохнете, дядя с тетей, так я тут хозяйкой и останусь: что вы горбом да трудом добыли, я враз в оборот пущу!.. Ну уж, милая, пускай черти кромешные тебя к себе заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю, и куском моим ты подавишься!.. Мужик целый день на работе, на ветру, на холоде, я с утра до ночи не присяду, а тут, на тебе, приехала на все готовое: любите, питайте меня... Ольга, чего ты все спишь-то? — вдруг громко позвала Татьяна Васильевна.— Ишь уморилась, подумаешь,— вставать давно пора! Мне из-за тебя ни за чего приниматься нельзя!..

Ольга лежала неподвижно, обратившись лицом к стене; она свернулась в маленькое тело, прижав колени почти к подбородку, сложив руки на животе и склонив голову, чтобы дышать себе на грудь и согревать ее; изношенное

серое платье покрывало ее, но это платье уже было не по ней — она из него выросла, и его хватало лишь потому, что Ольга лежала тесно сжавшись; днем же почти до колен были обнажены худые ноги подростка, и руки покрывались обшлагами рукавов только до локтей.

— Ишь ты, разнежилась как! — раздражалась близ нее тетка.

— Я не сплю,— сказала Ольга.

— А что же ты лежишь тогда, мне ведь горницу убирать пора!

— Я вас слушала,— отвечала девочка.

Тетка осерчала:

— Ты еще путем не выросла, а уж видать, что — ехидна!

Ольга встала и оправила на себе платье. Помолчав, Татьяна Васильевна сказала ей:

— Пойди умойся, потом я самовар поставлю. Небось кушать хочешь!

Ольга ничего не ответила; она не знала, что нужно сейчас думать и как ей быть.

За чаем тетка дала Ольге немного черных сухарей и половину вареного яйца, а другую половину съела сама. Поев, что ей дали, Ольга собрала со скатерти еще крошки от сухарей и высыпала их себе в рот.

— Иль ты не сыта еще? — спросила тетка.— Тебя теперь и не прокормишь!.. Уйдешь из дому, а ты начнешь по шкафам крошки собирать да по горшкам лазить... А мне сейчас как раз на базар надо идти, как же я тебя одну-то во всем доме оставлю?

— Я сейчас пойду, я у вас не останусь,— ответила ей Ольга.

Тетка довольно улыбнулась.

— Что ж, иди,— значит, тебе есть куда идти... А когда соскучишься, в гости будешь к нам приходить. Так-то будет лучше.

— Когда соскучусь, тогда приду,— пообещала Ольга, и она ушла.

На улице было утро, с неба светило теплое солнце; скоро будет уже осень, но она еще не наступила, только листья на деревьях стали старыми. Ольга пошла мимо домов по чужому большому городу, но смотрела она на все незнакомые места и предметы без желания, потому что она чувствовала сейчас горе от своей тетки, и это горе в ней превратилось не в обиду или ожесточение, а

в равнодушие; ей стало теперь неинтересно видеть что-либо новое, точно вся жизнь перед ней вдруг омертвела. Она двигалась вперед вместе с разными прохожими людьми и, что видела вокруг, тотчас забывала. На одном желтом доме висели объявления и плакаты, люди стояли и читали их. Ольга тоже прочитала, что там было написано. Там писалось о том, куда требуются рабочие и на какой разряд оплаты по семиразрядной тарифной сетке; затем объявлялось, что в университет принимаются слушатели с предоставлением стипендии и общежития. Ольга пошла в университет,— она хотела жить в общежитии и учиться; она уже четыре зимы ходила в школу, когда жила при родителях.

В канцелярии университета никого не было, все ушли в столовую, но сидел на стуле один сторож-старик и ел хлебную тюрю из жестяной кружки, выбирая оттуда пальцами моченые кусочки хлеба. Он сказал Ольге, что ее по малолетству и несознательности сейчас в университет не примут, пусть она сначала поучится добру в низшей школе.

— Я хочу жить в общежитии,— проговорила Ольга.

— Чего хорошего! — ответил ей старик.— Живи с родными, там тебе милее будет.

— Дедушка, дай мне тюрю доесть,— попросила Ольга.— У тебя ее немножко осталось, ты ей все равно не наешься, а мочёнки ты уже все повытащил...

Старик отдал свою кружку сироте.

— Похлебай: ты еще маленькая, тебе хватит,— может, наешься... А ты чья сама-то будешь?

Ольга начала есть тюрю и ответила:

— Я ничья, я сама себе своя.

— Ишь ты, сама себе своя какая! — произнес старик.— А тюрю мою зачем ешь? Харчилась бы сама своим добром, жила бы в чистом поле...

Ольга отдала кружку обратно старику:

— Доедай сам, тут еще осталось... Меня в люди не принимают!

4

Служащие канцелярии, пришедшие из столовой, приняли в Ольге участие. Заведующий написал письмо на курсы подготовки младших железнодорожных агентов с просьбой принять осиротевшую дочь рабочего на эти кур-

сы и обеспечить ее всем необходимым для жизни. Сторож-старик проводил вечером Ольгу по адресу, и комендант курсов пока что отвел для Ольги место в общежитии — койку и шкаф — рядом с другой такой же койкой в маленькой выбеленной комнате; далее по коридору было еще много комнат, где жили учащиеся.

На завтрашний день с утра, когда придет заведующий курсами, комендант велел Ольге оформить свое поступление посредством заполнения анкеты.

Несколько дней Ольга привыкала к подругам по общежитию и к своей новой жизни, а потом почувствовала, что ей здесь хорошо. Утром и вечером она училась в подготовительном классе, который находился при курсах, а среди дня был перерыв на обед и на отдых. Узнав, что Ольга нуждается и не может платить в столовой за пищу, заведующий велел выдать новой учащейся стипендию за полмесяца вперед, а также башмаки, белье, нитки, две пары чулок, куртку и прочее, что полагалось по норме.

Тревога и грусть перед жизнью, вызванные в Ольге смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без нее и она никому не нужна, теперь в ней прекратились. Ольга понимала, что она теперь дорога и любима, потому что ей давали одежду, деньги и пропитание, точно родители ее воскресли и она опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся Советская власть считают ее необходимой для себя, и без нее им будет хуже. И Ольга училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце, лишь иногда оно томилось в ней неутешимым воспоминанием об отце и матери, и девочка хотела, чтобы ее снова любил кто-нибудь — отдельный человек, подобно отцу или матери, а не все люди, которые сейчас ее кормят и учат, но которых она хорошо не знает.

Просыпаясь по ночам, Ольга забывала, что она лежит в общежитии, ей казалось, что рядом с нею спят в сумраке на своей старой кровати мать и отец, что слышатся свистки маневрового паровоза со станции и брешут собаки вдалеке, охраняя добро своих хозяев, сложенное в дворовых закутках. Но глаза ее понемногу привыкли к сумраку, и девочка видела спящую подругу-соседку, пятнадцатилетнюю Лизу. Подруга всегда спала кротко, тихо дыша спокойным телом; ей, может быть, снилось ее девичье предчувствие — будущая счастливая жизнь; из-за толстых стен большого здания слышался долгий городской

гул, всегда как будто удаляющийся, но возникающий вновь из ночного труда и движения людей.

В классе Ольга сидела рядом с Лизой, которая тоже была наполовину сиротой: ее отца убили на империалистической войне, а мать, нестарая женщина, вышла замуж за заведующего столовой и, не заботясь более о своей дочери, предалась шумной, сытой жизни и какой-то общественной деятельности. Но перед Лизой открылись другие близкие люди; утратив мать, она нашла подруг в общежитии, узнала, кто такой Ленин, что такое революция,— и печаль нужды и сиротства оставила ее сердце, которое дотоле было бедным и несчастным, потому что оно чувствовало жизнь лишь как необходимость терпеть голод и тоску вдвоем с матерью, в одиночестве своей комнаты, около печки-лежанки, где они спали и изредка готовили пищу, когда доставали пшена и щепок. Затем мать ушла к мужу и забывала приносить дочери хлеб...

Подруги, общежитие, обучение науке, кружки самодеятельности, питание всем готовым в столовой — это было не то, что домашнее уныние и непрерывная забота о хлебе, утомляющая детскую душу.

Ольга вначале не понимала, за что ее здесь кормят и позволяют жить в чистоте и тепле, почему здесь не нужно вдобавок к ученью работать, а нужно только думать, учиться, слушать музыку, когда играют по вечерам в клубе на гармони, и читать книги, описывающие всю жизнь. И Ольга боялась, что ее прогонят из школы и общежития, потому что ее пока ведь не за что любить, кормить и доверчиво тратить на нее добро бедного народа. И хотя она не пугалась нужды и ночлега в неприютных местах, но ей было жалко лишиться этой счастливой и веселой жизни в общежитии, чувства свободы и сознания своего значения, которое она приобретала из книг и от учителей на курсах; ей уже не хотелось теперь жить как прежде, со спрятанным, тихим сердцем,— она хотела им чувствовать все, что ей раньше было незнакомо.

На вечере в честь годовщины Октябрьской революции Ольга впервые в жизни долго слушала музыку на рояле, привезенном из Дворца труда, и она заплакала, оттого что это было хорошо, оттого что жизнь не может быть скучна и обыкновенна, она должна быть волшебной,— похожей на истинное предчувствие ее, которое существует в детском или юношеском сердце. Ольга спросила у Лизы, которая была рядом с ней на стуле:

— Лиза, нас не прогонят отсюда домой? У меня ведь дома больше нет! Кто это все делает для нас?

— Это Ленин,— сказала Лиза.— Он нас никогда не тронет!

— А почему? — спросила Ольга.

Лиза удивилась:

— Почему?.. А потому, что он нас тоже любит, мы будущие люди, мы будем коммунизмом... Без нас всем станет плохо.

Ольга задумалась, она не поняла Лизу:

— А как же он будет — коммунизм? Надо ведь стараться!

— Ленин знает, как будет все! — легко ответила Лиза.

Ольга посмотрела на портрет Ленина: «Он уже старый,— подумала она,— как мой отец: мы много хлеба едим и одежду скоро носим, а вчера на курсы пять возов дров привезли,— нам надо скорее учиться и вырастать, чтоб самим работать». Она была мала ростом и несильная в теле, и сама это знала. «Как бы не помереть,— еще озаботилась она.— Недавно тиф и грипп ходили, а то на нас Ленин потратит последнее, а мы вдруг помрем от болезни, и ничего не сделаем, и даже его никогда не увидим».

Ночью, укрывшись в одеяло с головой, Ольга начала думать о своей и всеобщей жизни; она представила Ленина как живого, главного отца для себя и для всех бедных, хороших людей, и от этой мысли она почувствовала ясное, верное счастье в своем сердце, как будто вся смутная земля стала освещенной и чистой перед нею, и жалкий страх ее утратить хлеб и жилище прошел, потому что разве Ленин может ее обидеть или оставить опять одну, без надежды и без родства на свете?.. Ольга любила правильное устройство мира, чтобы все было в нем уместно и понятно,— так было ей лучше думать о нем и счастливее жить.

5

Ослабленным и худым учащимся в столовой давали обыкновенно добавок к обеду, если они его просили,— по второй тарелке супу или каши. В первое время ученья Ольга тоже часто брала себе добавок, чтобы сытнее наедаться, но теперь она перестала требовать добавка и с неудовольствием смотрела на Лизу, которая всегда съе-

дала двойную порцию второго блюда. Ольга жалела общую пищу республики, чтобы осталось больше хлеба для красноармейцев и рабочих — для всех, кто сейчас нужнее, чем она.

Но через несколько месяцев, к весне, их столовой вдруг вовсе перестали выдавать продукты, а всем учащимся курсантам задержали выдачу стипендий. После оказалось, что в этом деле были повинны белые офицеры, служившие в губпродкоме и финотделе, и те, кто им доверил советскую службу.

Лиза, не поев всего два дня, на третий день заплакала, а Ольга не стала плакать. Ольга с утра пошла на третий этаж дома, где жили разные вольные жильцы, и попросила у хозяек работы по домашнему хозяйству,— уроки в этот день она пропустила. Но хозяйки из экономии всюду управлялись сами, и лишь в одной квартире полная женщина, Полина Эдуардовна, велела Ольге вымыть полы, потому что ей самой было трудно нагибаться от излишней полноты тела. За эту работу Ольга получила фунт хлеба, два куска сахару и ещё немного денег.

Вернувшись в общежитие, Ольга подождала Лизу, когда окончатся дневные уроки, и разделила с ней пополам хлеб и сахар. Лиза скушала свою долю, но не наелась и опять стала печальной от голода.

— Скажи мне, какие были сегодня уроки? — спросила у нее Ольга.

— Сегодня были неинтересные уроки! — ответила Лиза.

Ольга нахмурилась.

— Ты учись теперь за себя и за меня, пока нам стипендию не отдадут,— сказала она.— А я буду тебя кормить и у тебя уроки записывать, а по вечерам стану их готовить...

Лиза спросила:

— А что ты будешь делать?

— Полы пойду у людей помою, за детьми посмотрю,— делов везде много,— грустно сказала Ольга.— А ты учись, я тебя одна прокормлю.

— Я есть хочу,— произнесла Лиза.— Я не наелась твоим хлебом и куском сахару.

— Я тебе сейчас еще хлеба принесу,— пообещала Ольга и ушла из комнаты.

Она отправилась к тетке, но побоялась пойти к ней сразу и села на рельсы, лежавшие на улице против окон теткиного дома. Старые рельсы, неизвестно чьи, находи-

лись на прежнем месте, и Ольга с улыбкой встречи и знакомства погладила их рукой. Она сидела долго и видела, что тетка два раза глядела на нее в окно, но тем более ей трудно было пойти в дом родных, хотя Ольга уже давно озябла на зимнем холоде.

Вечером Татьяна Васильевна вышла за калитку и позвала племянницу:

— Иди уж, чего сидишь!.. Потрескай моего кулешу...

Ольга вошла в дом и съела кулеш из жестяной чашки, которую подала ей тетка: Аркадия Михайловича дома не было, но Татьяна Васильевна торопила, чтоб Ольга ела скорее, потому что тетке надо было уходить, и она из-за спешки даже забыла дать сироте хлеба, из-за которого Ольга и пришла к тетке, с тем чтобы нести хлеб Лизе.

Накормив племянницу кулешом без хлеба, Татьяна Васильевна неожиданно сказала:

— Посиди еще, мне рано уходить,— и вдруг вытерла фартуком глаза, где не было слез или их было очень мало.

Затем тетка рассказала Ольге, что ей сейчас надо идти в железнодорожную столовую: муж ее, Аркадий Михайлович, теперь всегда, как сменится, то умывается прямо из паровоза и потом идет в столовую, где он спознался, на старости лет, с одной официанткой-подавалкой, Маруськой Вихревой, и ей надо пойти туда, чтобы дознаться про эту измену...

— Тетя,— обратилась Ольга,— дайте мне кусочек хлеба побольше.

Тетка молча поглядела на сироту и еще некоторое время подумала.

— Ну да бери уж,— произнесла тетка в раздражении от гибели всей своей жизни.— Все одно, жить теперь мне — не судьба... Горькая моя головушка!

Татьяна Васильевна заплакала и запричитала по самой себе, затем по мужу и по своему опустевшему дому, а Ольга самостоятельно открыла шкаф, где хранились продукты, и взяла оттуда ковригу печеного хлеба. Тетка глядела на нее, но ничего не говорила, только когда Ольга разрезала ковригу пополам и половину хлеба взяла себе на руки, Татьяна Васильевна вскрикнула и еще сильнее заплакала.

— Вот моей и жизни конец! — тихо сказала она.— Кого мне теперь кормить, кого питать, кого в доме ожидать!..

Ольга пообещала вскоре еще навестить родную тетку и попрощалась с нею: она спешила.

— Приходи хоть ты-то ко мне! — попросила ее Татьяна Васильевна.— Уж ты видишь, какая я стала,— совсем на человека не похожа...

В общежитии Ольга застала Лизу; она вернулась с вечерних занятий, не досидев одного урока. Ольга отдала ей хлеб и велела есть, а сама начала заниматься далее по пройденным сегодня предметам, чтобы не отстать. Лиза жевала хлеб и говорила подруге, что сегодня было в классе, но она сама плохо усвоила уроки и не могла объяснить, что такое периодическое число.

— Надо стараться,— сказала ей Ольга.— Чего ты уроки не досиживаешь? А когда сидишь — о чем думаешь? Эх ты, горькая твоя головушка!

— Тебе какое дело! — обиделась Лиза.— Чего мы завтра будем есть? — вздохнула она.

— Что сегодня, то и завтра,— ответила Ольга.— Я достану. Не надо было говорить, что мы будущие люди, когда ты ото всего умереть боишься и периодического числа не запомнила... Это прошедшие, буржуазные люди такие были — вздыхали и боялись, а сами жили по сорок и пятьдесят лет... Нам надо остаться целыми, нас Ленин любит!

Лиза перестала есть хлеб и сказала:

— Я больше не буду, давай уроки вместе делать, у меня в животе щипало, есть хотелось...

— Что у тебя, кроме живота, ничего нету, что ли? — рассердилась Ольга.— У тебя сознание должно где-нибудь быть?

Подруги сели делать уроки к общему столику, и долго еще светил свет на две их задумчивые, склонившиеся головы, в которых работал сейчас их человеческий разум, питаемый кровью из сердца. Но вскоре они нечаянно задремали и, встрепенувшись, на мгновение улыбнулись и легли на свои кровати в безмолвном детском сне.

Наутро Ольга снова пошла работать по людям, чтобы кормить себя и Лизу, а Лиза должна учиться пока одна за них обеих.

Ольге пришлось наняться приходящей нянькой к одному человеку, рано потерявшему жену,— другой домашней работницы нигде не было. Ребенку было всего полтора года, звали его Юшкой, и Ольга должна находиться с ним в комнате по девять и десять часов в день, пока

отец Юшки не возвратится под вечер с завода; за эту работу Ольга должна получать с хозяина стол и зарплату по тарифу работников Нарпита.

Ольга полюбила Юшку; это был мальчик с большой головой, темноволосый, с серыми чистыми глазами, внимательно и добродушно наблюдавший все явления и происшествия в комнате; он обычно не плакал и терпел без раздражения и обиды свои младенческие невзгоды. Ольгу привлекла в ребенке одна его особенность: взяв сначала, он отдавал обратно ей все, что она ему дарила, и прибавлял к тому еще что-нибудь лишнее, что у него бывало под руками — в люльке или на полу, где он играл и ползал. Если Ольга давала ему старую погремушку, то мальчик дарил ей в ответ деревянную бочку, которой он играл до того, и поровил еще отдать и соску с пузырьком или прочую обиходную для него вещь. Когда Ольга кормила Юшку кашей, он ел с охотой в том случае, если нянька тоже ест с ним — одну ложку себе в рот, а другую ему, и так по очереди, иначе ребенок есть не хотел.

Ровно месяц прожила Ольга в няньках, нося каждый вечер пищу Лизе из своей доли, а потом нужда в работе миновала: курсантам выплатили полностью всю задолженность по стипендии, и в столовую начали возить продукты. Но Ольга уже не могла оставить Юшку одного, без помощи; почти ежедневно она видела его, навещая ребенка в обеденный перерыв между уроками или вечером, после занятий.

У Юшки уже была другая нянька, старуха, но Юшка признавал Ольгу выше, любимей старухи и всегда тянулся к ней.

Отец Юшки, тридцатилетний механик-дизелист, молча глядел на Ольгу, когда она нянчила и ласкала ребенка при нем, и шептал про себя: «Как жаль, как жаль!» Ему было жалко, что Ольга никогда не сможет быть для Юшки приемной матерью, и он, отвернувшись от сына и Ольги, глядел в окно и видел, что оно становится мутным, потому что у него застилались глаза несдержанными слезами.

Ольге не понравилась новая нянька-старуха: она могла теперь доверить Юшку лишь с большой разборчивостью; поэтому Ольга отыскала детские ясли и уговорила отца устроить туда Юшку. Отец вначале колебался,— он не верил, что государственные няньки, члены проф-

союзов, получающие зарплату по тарифной сетке, могут заменить детям матерей, но Ольга возразила ему тем, что она тоже государственная, советская нянька и тоже получала у него зарплату по тарифу. Отец тогда подумал и согласился носить Юшку в детские ясли.

6

Через три года по окончании курсов Ольгу и Лизу направили на железнодорожную линию на практику. Перед отъездом Ольга попрощалась с Юшкой и заплакала над ним. Подросший мальчик уже давно привык называть Ольгу мамой; он обнял ее и долго не отпускал от себя, пока им не пришло время расстаться...

Ольге в ту пору стало семнадцать лет, а Лизе восемнадцать. Их отправили как подруг вместе, чтобы они не скучали и лучше работали.

Им назначили проходить практику на маленькой станции Серьга, невдалеке от города, где они учились. Здесь они должны были работать конторщиками, весовщиками, подменять дежурного по станции и даже научиться управлять маневровым паровозом.

Стояло лето, жилого поселка вблизи станции не было, поэтому начальник станции поселил курсанток в оборудованный для перевозки войск товарный вагон, поданный в дальний тупик.

Сначала подруги захотели пройти практику на станционном паровозе, с чем согласился начальник станции, и они целые долгие летние дни дежурили на старом паровозе серии «ОВ». Машинист, пожилой человек, ушел в отпуск, его заменял теперь помощник Иван Подметко, молчаливый парень тридцати с лишним лет, а Ольга и Лиза вдвоем служили ему помощниками. Подметко стал учить девушек машине своим способом — как не надо на ней работать.

— Видишь, паровоз у меня сейчас не стронется с места, а пар я открою,— говорит Подметко. Он открывал регулятор, но машина не шла.

Ольге и Лизе нужно было догадываться, отчего это происходило.

— Отсечка мала, поверни реверс! — догадывалась Ольга.

— Ну, верно,— ухмылялся Подметко.— А вот если я сейчас разгоню машину вперед, а потом как шарахну ре-

версом назад, а регулятор оставлю на всем открытии,— предлагал Подметко,— то что у меня тогда получится?

— Если ты продувных кранов не откроешь, крышки цилиндров порвешь, либо поршневой шток согнешь, либо дышла искалечишь,— сообщала ему Ольга.

— Всякой дурочке понятно,— соглашался Подметко.— А котел вы можете сжечь? Я вас научу... Ну, это после, а сейчас ступайте всю машину оботрите, чтоб блестела, и сами потом умойтесь,— что вы чумазые, как чумички, сидите на паровозе, грязь ведь это лишнее трение и смерть!.. Смотрите на меня — и думайте!

После трех месяцев работы на паровозе Лиза стала работать в конторе у начальника станции — изучать искусство движения поездов по графику, а Ольга была направлена в пакгауз — в помощники к весовщику; она хотела в точности знать дело грузовых операций, главную работу железных дорог.

Поздней осенью практические занятия обеих курсанток кончились: они должны были теперь возвратиться обратно на курсы, сдать экзамены и получить назначение на постоянную, обыкновенную службу. Едва ли их назначат вместе, и подругам предстояла разлука. Они часто сидели по вечерам в своем жилом вагоне, свесив ноги наружу, и говорили о великой жизни, которая их ожидает впереди. Перед ними была смутная степь, холодеющая в ночи — большая, грустная, но добрая и волшебная, как будущее время, ожидающее юность. У подруг заходилось сердце от предчувствия и воображения, и они обнимали друг друга, полные доверчивости.

Незадолго до отъезда навсегда со станции Серьга Ольга однажды проснулась на утренней заре. Лиза крепко спала рядом с нею, укутавшись с головой в серое железнодорожное одеяло, взятое из спального вагона. В воинской теплушке было привычно тепло и тихо, подруги ее успели обжить за длинное лето. И это их темное, тихое жилище начал заполнять далекий, тревожный, рвущийся вихрем скорости и ветра гудок паровоза. Тогда Ольга сообразила, отчего она проснулась: паровоз, наверно, кричал еще раньше, во время ее сна. Она сразу вскочила с места и побудила Лизу:

— Вставай... У него тормоза не держат!

Ольга схватила свою одежду с табуретки и оделась. Паровоз опять запел, приближаясь издалека. Ольга прислушалась к словам машины.

«Нет,— задумалась она.— Он говорит о том, что у него состав оборван...»

Она раскатила дверь, выпрыгнула из вагона и побежала к станции; Лизу ей ожидать уже было некогда, пусть она спит одна на заре и не раскрывает на себе одеяло.

Против вокзального здания на третьем пути стоял одинокий паровоз; он был единственным на станции, и больше ничего не было вокруг него; кроме здания вокзала, и степь тоже была сейчас светлой и пустой. Из паровоза глядели в направлении приближающегося поезда два человека — пожилой машинист и его помощник Иван Подметко; они ожидали, что случится, когда оборван состав поездного маршрута; по правилу все поездные маршруты миновали станцию Серьгу с ходу, без остановки, как и все пассажирские поезда, кроме почтовых.

В минувшую ночь на станции дежурил сам начальник станции. Он стоял сейчас на платформе и, сняв фуражку, вслушивался в сигналы приближающегося поезда, идущего с затяжного уклона.

Ольга подбежала к нему.

— Вы слышите — у него состав оборван!

— Я слышу,— недовольно ответил начальник станции, и вдруг он опечалился и рассерчал, как пожилой, уставший человек.— Ну отчего все эти происшествия обязательно случаются в мое дежурство? Неужели мне покоя не полагается?..

Ольга ему не ответила; она глядела в сторону набегающей катастрофы; оробевший начальник станции поглядел туда же.

Вдали, на прямой, был виден путь, поднимаясь от станции в крутой и долгий подъем, и оттуда, с затяжного уклона, шел грудью вперед паровоз — с открытым полным паром, на всей отсечке.

Тот паровоз время от времени тревожно пел, то сигналя об обрыве, то прося сквозного прохода.

Начальник станции внимательно посмотрел на Ольгу.

— Ведь это же воинский состав оборван!.. Надо скорее принимать какое-либо решение!

Ольга попросила его:

— Командуйте!

— Сейчас,— в тревоге и поспешности сказал начальник,— сейчас мысль ко мне придет!

— Долго,— возразила Ольга.— Не надо, я сама знаю...

Она сошла с платформы вниз, перебежала пути, достигла маневрового паровоза и ухватилась за поручень трапа, ведущего в кабину машины. Затем она обернулась к начальнику станции:

— Предупредите соседнюю станцию, дайте сквозной проход! — и вбежала на тихо сипящий, мирный паровоз.

Выходной семафор со станции был закрыт. Начальник станции взглянул на него и исчез с платформы вокзала.

— Сифон! — сразу сказала Ольга, войдя на паровоз.— Что же вы тут смотрите сидите?

Иван Подметко молча повернул кран сифона, открыл дверцу в топку и начал кидать туда уголь полной лопатой. Пламя не поспевало высасываться тягой вон в атмосферу и забивалось длинными красно-черными языками внутрь паровозной будки через открытую шуровку.

— Поедешь со мной? — спросила Ольга у пожилого, спокойного машиниста, хозяина машины.

Механик ответил не враз: он подумал, потрогал гущу волос на подбородке и произнес:

— Уклон велик: расшибемся... Ведь и за Серьгой продолжается уклон к Волге,— тут только на станции одна маленькая площадка. А у меня семейство большое...

Выходной семафор открыл начальник станции. Паровоз воинского поезда пропел совсем близко. Ольга сказала механику:

— Ну, нам надо ехать — ты сходи, береги своих детей!

Подметко по-прежнему поспешно загружал топку.

— А ты? — спросила его Ольга.

— Мне можно,— ответил Подметко.— Давай! Я бездетный!

На платформу вокзала вышел начальник станции; он держал в вытянутой руке развернутый желтый флаг: осторожная езда по усмотрению. А тяжелый поезд уже гремел вблизи стальными колесами, и паровоз снова забыл о катастрофе.

Машинист станционного паровоза молча сошел на землю и помаленьку направился вдоль пути, якобы по текущему делу, касающемуся обслуживания машины.

Начальник станции был скрыт от Ольги набежавшим составом. Сначала промчался паровоз, за ним с воем и скрежетом, с лихою игрою рессор прошло немного вагонов, у которых были настежь открыты двери. «А где же Лиза? — подумала Ольга.— Неужели она спит и не

слышит?» Через открытые двери вагонов на мгновение было видно красноармейцев; они силою молодых рук сдерживали бьющихся лошадей, испугавшихся скорости и раскачки вагонов, и лошади вышибали копытами доски из стен вагонов, так что видна была древесина на срезах досок.

Паровоз с вагонами прошел, и на платформе остался лежать жезл, сброшенный с паровоза. Начальник станции поднял жезл, вынул из него записку и прочел: «Оборвано двадцать — тридцать вагонов. Ухожу от хвоста. Дайте проход и предупреждение вперед. Механик А. Благих».

Начальник станции с этой запиской прыгнул с платформы, перебежал рельсы и отдал записку Ольге.

Ольга взяла записку, прочла ее и поглядела туда, откуда прибыл паровоз с головной частью поезда.

Оттуда, с горизонта, без паровоза — надвигался и сразу вырастал несущийся хвост поезда. Сейчас была видна лишь передняя, лобовая часть вагона — тупая, слепая стенка, увеличивающаяся на глазах от скорости.

Ольга, не найдя в себе места, куда спрятать записку начальника станции, взяла ее в рот, повернула несколько раз штурвал реверса вперед до отказа и двинула регулятор на открытие пара; паровоз тронулся.

Ольга взяла ручку регулятора на себя, потом от себя, покачала его и поставила его на всю дугу. Паровоз бросился вперед, пар стал бить в трубу в ускоренной, задыхающейся отсечке.

Маневровый станционный паровоз уже ушел со станции, но начальник, на всякий случай, поднял сигнал остановки — красный диск — и свободную руку ладонью к поезду. С вихрем и музыкой свободной скорости появился перед ним хвост поезда в двадцать — тридцать вагонов; большая часть вагонов была открытыми платформами. На этих платформах стояли легкие орудия, кухни и лежало, покрытое брезентами, разное воинское имущество. Красноармейцы спокойно сидели на тех платформах и пели свои песни. Лишь командир их, держась за стойку одного тормозного вагона, молча глядел вперед, и тормоза под этим вагоном, как нечаянно заметил начальник станции, были зажаты намертвую, но им, одним вагоном, удержать состав, несущийся под уклон, было невозможно.

Начальник станции сейчас же ушел в дежурную комнату — сообщить в отделение службы эксплуатации о назревающем происшествии.

Паровоз, который вела Ольга, сильно раскачало от скорости, но она не убавляла открытия пара и отсечки. Время от времени она глядела на водомерное стекло, на манометр и назад, где ее нагонял свободный оборванный состав, разгоняющийся под уклон. Иван Подметко беспрерывно загружал топку углем, чтобы держать хорошее давление в котле и уходить вперед. Но, оглянувшись назад, он начинал сомневаться: оборванный хвост поезда их быстро нагонял.

— Не удержим состава, расшибемся,— сказал он.— Придется погибать.

— Прыгай! — посоветовала ему Ольга.

— А ты? — спросил Подметко.

— Я останусь одна,— ответила Ольга.

Подметко распахнул дверцу топки и снова начал швырять туда лопаты с углем.

— Я буду тоже с тобой,— сказал он.— Справимся.

Машина Ольги шла уже на предельной скорости; колесные дышла были почти незаметны от поспешности своего движения. Ольга одна видела сейчас положение своей машины. Слепой состав шел скорее, чем ее паровоз, и настигал убегающую машину почти в упор.

— Иван! — крикнула она.— Шуруй скорее топку. Ты завалил пламя углем,— что же ты со мной делаешь?

Подметко взял кочергу и засунул ее в бушующий огонь. Однако расстояние между паровозом и слепым составом все более сокращалось. «Неужели? — думала Ольга.— Неужели я сейчас умру? Не хочется!»

Вдруг она услышала красноармейскую песню, которую пели на открытых платформах нагоняющего ее бешеного поезда. «Не буду я умирать!» — решила она. Она высунулась из окна паровозной кабины далеко наружу и увидела, что ей будет сейчас трудно: вагоны с разгона собьют ее легкий паровоз под откос.

Она обернулась к Ивану Подметко:

— Уходи! Нас расшибет сейчас!

Иван еще немного подумал вдобавок.

— Надо воду выбить — шибче поедем.— И он дернул штангу крана продувки цилиндров, а потом схватился за поручни трапа и исчез вниз: должно быть, прыгнул в песок балласта, чтобы спасти свою жизнь.

Ольга заметила, что Подметко ушел, и прошептала: «Боже мой!» — как говорила когда-то ее покойная мать. Далее она не успела ничего подумать. Она почувствовала

удар в машину, и паровоз ее прыгнул вперед как живой и сознательный. Ольга обернулась через окно назад: «Что случилось?» — и тут же ощутила второй, громящий, тупой удар. «Ну же, бедная! — с испугом вслух сказала она сама себе.— Пусть песни поют без тебя! — И Ольга закрыла регулятор, пустила песок под колеса, дала реверс назад, обратно открыла регулятором пар на полный ход и повела кран паровозного тормоза на все его открытие. Машина ее на мгновение стала вмертвую, уперлась на месте,— Ольга сейчас же опустила воздушный тормоз, а затем сама, всею машиной, надавила задним ходом на ударивший в нее состав, но инерция задних, напирающих вагонов еще не погасла — и они своей мертвой силой разгона вглухую вдвинули тендер паровоза в его кабину, где находился одинокий механик. Ольга поняла, что происходит, и свернулась в комок на своем месте машиниста: «Это теткин муж, сволочь Благих, Аркадий Михайлович, это он оборвал состав! У меня записка в зубах была — где я ее потеряла? Где Лиза, неужели все спит?»

Ольгу сжало в машине. Она почувствовала как, ей стало душно, как всю ее — без остатка, вместе с одеждой — вдавливает чужая сила в железное тело горячего котла.

Маневровый паровоз даже не сошел с рельсов, в машину только вдвинулся тендер — на котел, но зато весь оборванный состав уцелел, если не считать сцепных приборов одного переднего вагона, ударившего в паровоз. Теперь весь поезд мирно стоял на высокой насыпи, среди чистого поля, освещенного безветренным утренним солнцем. Красноармейцы и командир сначала вышли на траву и подошли к паровозу. В паровозе лежала во сне или в смерти незнакомая, одинокая женщина. Тогда командир и его помощник, разобрав крышу над будкой паровоза, освободили женщину из машины и опустили ее оттуда на руки красноармейцев.

После того командир отошел в сторону и громко сказал:

— Четверо остаются здесь! Остальные — бегом, назад к станции. Первые четверо несут раненую, затем передают ее с рук на руки новым четверым людям, а те — следующим! Все.

Через полчаса Ольга была доставлена на руках красноармейцев обратно на станцию Серьгу. С нею же прибыл командир эшелона, не оставлявший ее в пути. Он

соединился по железнодорожному телеграфу с командованием военного округа и доложил происшествие: у механика ранена голова и грудь; все красноармейцы невредимы, имущество цело; в случае дальнейшего развития свободной скорости оборванный состав неминуемо сошел бы с рельсов на закруглении перед волжским мостом или на самом мосту; либо же состав был бы сокрушен на станции, расположенной по ту сторону реки, за мостом, куда поезд должен был ворваться. Из военного округа сообщили, что оттуда высылают через одну минуту санитарный автомобиль «Скорой помощи» с двумя врачами и всеми принадлежностями для лечения; автомобиль пойдет по шоссе напрямую и достигнет станции назначения скорее, чем экстренный паровоз.

Командир склонился к Ольге, лежавшей на диване в телеграфной комнате:

— Кого вы хотите увидеть? Мы сейчас вызовем. Может быть, родственников или друзей?

— Юшку,— сказала Ольга.— А больше никого не надо: пусть за меня все люди на свете живут...

— Хорошо,— ответил командир и дал знак телеграфисту приготовиться к передаче.— А это кто — Юшка?

— Ребенок,— произнесла Ольга.

Командир удивился молодости матери и ничего не сказал.

Она долго и терпеливо болела, но умереть не могла,— Ольга выздоровела, стала жить и живет до сих пор.

1938

ФРО

Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание, провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.

— Посторонитесь, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам.

Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящика — оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.

За вокзалом находился новый железнодорожный город; по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев, вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания.

Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно — он казался поэтому несуществующим.

Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света: за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства; она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек приедет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены воланами (такую прическу носили когдато в девятнадцатом веке), серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью,— она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души, томилась и произрастала вторая, милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела,— сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.

Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец — паровозный машинист, в двух других помещалась она с мужем, который теперь

уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то — жена его точно не знала.

По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжко бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девятитысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если, с его точки зрения, на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: «Воды перекачал! Открой кран, стервец! Продуй!», «Песок береги: станешь на подъеме? Чего ты сыплешь его сдуру?», «Подтяни фланцы, не теряй пара! Что у тебя, машина или баня?» При неправильном составе поезда, когда легкие, пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть задавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника. «Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения.

В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером, худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения. Но недавно, когда устаревший механик по обычаю орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.

— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь.— Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать.

Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбиралея сборный, легковесный маршрут либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.

— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию.

Фрося вынула горшок из духового шкапа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненные чувства. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа; позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья, и в отдалении находились фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, во-

одушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы вместо игрушки и касался земли доверчивыми голыми ногами.

Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам, женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору — долгий день остывал в ночь. Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои кроткие мирные звуки — о том, что все благополучно и они не спят и видят.

Отец спросил у Фроси, не пойдет лп она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.

— Нет,— сказала Фрося,— я не пойду. Я по мужу буду скучать.

— По Федьке? — произнес механик.— Он явится: пройдет один год — и он тут будет... Скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду — твоя покойница мать и то скучала: мещанка была!

— А я вот не мещанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося.— Нет, наверно, я тоже мещанка...

Отец успокоил ее:

— Ну, какая ты мещанка! Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были...

— Папа, ступай в свою комнату,— сказала Фрося.— Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна.

— Ужинать сейчас пора! — согласился отец.— А то кабы из депо вызывальщик не пришел: может, заболел кто-либо, запьянствовал или в семействе драма-шутка, мало ли что... Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится, зеленые сигналы ему горят, па сорок километров вперед ему дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает — все как полагается...

Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.

— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь: она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.

— Ну, на дерьмо сошла! — тихо сказал отец и удалился прочь.

Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: «Ах, ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!», «Ту-ту-ту-ту — паровоз, ру-ру-ру-ру — самолет, пыр-пыр-пыр-пыр — ледокол... Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори «ту-ту-ру-ру», шевелился каждый гроб, больше пластики, культуры, производство — наша цель!..»

Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась ради радости вслед за затейниками.

Фрося прошла мимо: дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока, шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но пока она шла, поезд постоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что!

Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать, им никто не нравится.

Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.

— Вы не знаете, — спросила она его, — что курьерский поезд номер второй, он благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что, на станцию ничего не сообщали о нем?

— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет, — сказал уборщик. — Сейчас поездов не ожидается,

идите в вокзал, гражданка... Постоянно тут публичность разная находится. Лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут — надо посорить пойти...

Фрося отправилась по путям, по стрелкам — в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.

Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина — нарядчик или бригадир.

— Кого потеряла здесь, красавица? — спросил он у Фроси.— Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется... Идем с нами транспорту помогать!

Фрося задумалась.

— Давай лопату! — сказала она.

— Нá тебе мою,— ответил бригадир и подал женщине инструмент.— Бабы! — сказал он прочим женщинам.— Ступайте становиться на третью яму, а я буду на первой...

Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свои топки, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми — подругами — и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал окруженный Сибирью ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения.

Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак пагрузить па платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтоб отдыхать и дышать воздухом.

Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее се-

годня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает шестьдесят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним полюбовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце, должно быть, от истомы или от страха, про свое мошенничество, а потом, видно испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одежду они вдвоем как-нибудь наживут.

Фрося сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.

— Уехал — не умер, назад возвернется! — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга.— А я там, в аресте, заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла, если б сидела, тогда и горя мало. А уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала... Вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится: думает, я преступница, важный человек. А я такая же, я доступная... А вечером ему на дежурство надо уходить, таково печально нам стало. Он берет берданку: «Пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу: у меня двенадцать копеек есть, хватит на один стакан воды, мы пополам его выпьем». А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному — пускай уж сладкой воды он один выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем. Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда, работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой — как сестру двоюродную встретила... Ну, давай платформу кончать — в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю... Фрося! — крикнула она в шлаковую яму: там работала тезка верхней Фроси.— Много там осталось?

— Не,— ответила тамошняя Фрося,— тут малость, поскребыши одни...

— Лезай сюда,— велела ей жена берданочного сторожа.— Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.

Вокруг них с шумом набирались сил паровозы для дальнего пути или, наоборот, остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание.

Пришел парядчик.

— Ну как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну, валите в контору, я сейчас приду. А там деньги получите, там видно будет: кто в клуб танцевать, кто домой — детей починать! Вам делов много!

В конторе женщины расписались. Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово «Ева», с серпом и молотом на конце, вместо еще одной Ефросиньи, у который был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.

Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый, даже в толстом, зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.

Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.

Две женщины бегом побежали до клуба. Прошел местный поезд. Полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву пригласил на тур вальса «Рио-Рита» помощник машиниста.

Фрося пошла в танце с блаженным лицом: она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.

— А бой цветов уже был? — тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.

— Только недавно кончился. Почему вы опоздали? — многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.

— Ах, как жалко! — сказала Фрося.

— Вам здесь нравится? — спросил кавалер.

— Ну конечно да! — отвечала Фрося.— Здесь так прекрасно!

Наташа Букова танцевать не умела, она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги.

В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили ситро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.

— Фрось, а Фрось! — прошептала она.— Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут ай нет?

— А какие же? Конечно, такие! — сказала Фрося.— Ну, может, немножко только лучше.

— Это бы ничего! — согласилась Наталья Букова.

После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот «Мой бэби», диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.

— Ну, как же вас зовут? — говорил кавалер среди танца ей на ухо.— Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.

— Фро! — ответила Фрося.

— Фро? Вы не русская?

— Ну конечно нет!

Диспетчер размышлял.

— Почему же нет? Ведь отец ваш русский: Евстафьев!

— Неважно,— прошептала Фрося.— Меня зовут Фро!

Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины

ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги — там, где растут у него мужественные волосы.

— Вы плачете? — испугался диспетчер.

— Немножко,— прошептала Фро.— Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.

Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей.

Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила одна миловидная женщина, и Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой тайной любви и симпатии.

На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне».

Отца не было дома. Он ушел в депо — посидеть и поговорить в красном уголке, почитать «Гудок», узнать как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.

Фрося не стала чистить зубы; она умылась еле-еле, поплескав немного водою в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармоники, потом музыка утихла, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром, потом она опять уснула, и тогда она тоже слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье, скучно, скучно ему. Не поев пищи,

Фрося ушла на занятия — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.

Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к ученью, за ее глубокое понимание предмета технической науки, но она сама не знала ясно, как это у нее получается,— во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти. Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и больше того — он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойства чувствовать величину напряжения электрического тока как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла.

С тех пор катушки, мостики Уитстона, контакторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: «Федор, там микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно». Не обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина́ и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством, а Федор может,— и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки, мог спать при шуме, ел одинаково

всякую пищу — хорошую и невкусную, никогда не болел, собирался поехать в Южный советский Китай и стать там солдатом...

На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоний. Федора не было, сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоний тока она не понимала нисколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармоники: «Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет, скучно, скучно одному».

Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: «Я глупа, я жалкая девчонка, Федя. Приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай».

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно — он так предполагал.

— Пришла? — спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку.— Тебе каши с маслом не подогреть? — спрашивал отец.— Я живо.

Дочь отказалась.

— Ну колбаски поджарю!

— Нет! — сказала Фрося.

Отец ненадолго умолкал, потом опять спрашивал, но более робко:

— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею.

Дочь молчала.

— А макароны вчерашние? Они целы, я их тебе оставил...

— Да отстань ты, наконец! — говорила Фрося.— Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали...

— Просился — не берут, говорят — стар, зрение неважное,— объяснял отец.

Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтобы она побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повод задержать около себя Фросю.

— Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? — спросил он.— Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегаю в аптеку...

У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкапа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородкой с макаронами.

В дверь постучали, Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки — все тряпки висели грязные,— он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.

Пришел вызывальщик из депо.

— Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться — поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одежду, ране недели не обернешься...

Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок — там уже лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахару. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок.

Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.

— Дочка! Закрой за мной, я в рейс поехал — недели на две. Дали паровоз серии «Ща»: он холодный, но ничего.

Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел,— и закрыла дверь квартиры.

— Играй! Отчего ты не играешь? — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой.

Но он отправился, наверное, гулять — стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал изо всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.

Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.

Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано

природой изо всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека.

Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос, он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уже двадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося принюхалась к подушке, на которой спал Федор,— она еще пахла его телом, его головой, наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.

Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике — ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать — он ведь рано встает — или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья, старое износилось и рвется, когда моешь. Отец молчит, он думает: «Обойдемся так».

Весь вечер Фрося ходила по путям станции, ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала,— шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где — ее вчера Фрося не спросила; к подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой, Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женою фруктовой воды, но постеснялась.

— Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад, казенное место,— сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки.

Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.

«Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь!» — сказала она себе.

Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принюхалась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий, земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню, и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.

На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла — все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.

Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз; он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия; теперь ему надолго хватит все вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося его не спросила ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам — как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесари попутных станций не сняли с машины деталей; где продают дешевые ягоды, а где их весною морозом побило. Фрося ему ничего не отвечала, и даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. «Фашистка она, что ль? — подумал про нее отец.— Как же я ее зачал от жены? — не помню!»

Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносцем. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев — еще не играл мальчик на губной гармонике на верхнем этаже — и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок,— Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям, и внутри кон-

вертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы: «За девяносто два рубля в месяц работаете?» — «Да,— говорила Фрося.— Это с вычетами». Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» — спросил подписчик. «Подумаю»,— ответила Фрося. «А вы не думайте! — советовал адресат.— Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, он выходит под редакцией редколлегии, там люди умные, вы видите, и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка — это что, одиночка, антиобщественница какая-то!»

Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее пытались угощать вином и закуской и ей жаловались на свою частную, текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия. Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы: он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, и ему некуда писать. Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она

упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.

Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась, ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо.

После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слышала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонике. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чая, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаза в сумраке.

Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо — он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.

В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.

— Папа!

— Ты что, дочка? — Старик спал слабо и чутко.

— Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.

— А вдруг я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец.

— Обождет, — сказала Фрося. — Ты ведь недолго будешь ходить. Только ты сам не читай телеграммы, а отдай ее там в окошко.

— Не буду, — обещал старик. — А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.

— Тебя не касается, что я писала... У тебя деньги есть?

У отца деньги были, он взял телеграмму и отправился. В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму. «Мало ли что, — решил он, — может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть».

Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток: «Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев».

«Их дело молодое!» — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.

— А я ведь видела сегодня Фросю! — сказала телеграфная служащая. — Неужели она заболела?

— Стало быть так, — объяснил машинист.

Утром Фрося велела отцу опять идти на почту — отнес-

ти ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.

Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дома.

Через двое суток пришел ответ «молнией»: «Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не хороните без меня Федор».

Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибывал транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же, на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.

Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел.

Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему побежала женщина.

— Фро! — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон.

Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.

На полдороге дочь обернулась к отцу.

— Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали, — тебе ведь скучно все время дома сидеть...

— Скучно, — согласился старик. — Сейчас пойду. Возьми у меня чемодан.

Зять глядел на старого машиниста.

— Здравствуйте, Нефед Степанович!

— Здравствуй, Федя! С приездом!

— Спасибо, Нефед Степанович...

Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.

— Милый, я всю квартиру прибрала, — говорила Фрося. — Я не умирала.

— Я догадался в поезде, что ты не умираешь, — отвечал муж. — Я верил твоей телеграмме недолго...

— А почему же ты тогда приехал? — удивилась Фрося.

— Я люблю тебя, я соскучился, — грустно сказал Федор.

Фрося опечалилась.

— Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру...

Федор поцеловал ее сбоку в лицо.

— Если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня,— сказал он.

Фрося оправилась от горя.

— Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.

— Конечно, пассивность,— улыбнулся Федор: он любил ее высокие, ученые слова.

Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он написал ей целую тетрадь умных и пустых слов: «Кто сказал «а», должен говорить «б», «Камень, положенный во главу угла», «Если это так, а это именно так» — и тому подобное. Но Фро догадалась про обман. Она спросила его: «А зачем после буквы «а» обязательно говорить «б»? А если не надо и я не хочу?»

Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверное, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра.

На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все коекак, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что есть и что пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви.

Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше.

Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты — о передаче силовой энергии без проводов посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку,— поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена,— и многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.

Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца — дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека... Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществлялась.

По вечерам Фрося выходила из дома ненадолго и закупала продовольствие для себя и мужа — у них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили не разлучаясь уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.

Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься.

— Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему! — говорил Федор и обнимал Фро.

— Послезавтра! — шепотом соглашалась Фро.

На восьмой день Федор проснулся печальным.

— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить как нужно... Тебе надо опять на курсы связи поступить.

— Завтра! — прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.

Он улыбнулся ей и смирился.

— Когда же, Фро? — спрашивал Федор на следующий день.

— Скоро, скоро,— отвечала дремлющая, кроткая Фро; руки ее держали его руки, он поцеловал ее в лоб.

Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся на дворе. Она была одна в комнате, шел, наверно, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонику, которую она совсем забыла. Гармоника играла не наверху. Фрося по-

глядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой, детской головой и играл на губной музыке.

Во всей квартире было тихо и странно. Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол.

Фрося разбудила его.

— Ты когда приехал?

— А? — воскликнул старик.— Сегодня, рано утром.

— А кто тебе дверь отворил? Федор?

— Никто,— сказал отец,— она была открыта. Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.

— А почему ты спал на вокзале? Что у тебя — места нету? — рассердилась Фрося.

— А что! Я там привык,— говорил отец.— Я думал, мешать вам буду...

— Ну уж ладно, ханжа! А где Федор? Когда он явится?

Отец затруднился.

— Он не явится,— сказал старик,— он уехал...

Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:

— Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. «Может, говорит, потом в Китай проберусь, неизвестно».

— А еще что он говорил? — спросила Фрося.

— Ничего,— ответил отец.— Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.

— Какие дела? — узнавала Фрося.

— Не знаю,— произнес старик.— Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь!

Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонике.

— Мальчик! — позвала она.— Иди ко мне в гости!

— Сейчас,— ответил гармонист.

Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.

Фро стояла среди большой комнаты, в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.

— Прощай, Федор!

Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь стоит

две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.

— Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!

В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.

1936

СКРИПКА

В город Москву шел Семен Сарториус. Он был человеком небольшого роста, с песочным широким лицом, похожим на сельскую местность. Его отцовская фамилия была не Сарториус, а Жуйборода, и мать-крестьянка выносила его когда-то в своих внутренностях рядом с теплым пережеванным ржаным хлебом. Вместо обычного сундучка и плотничьего инструмента Сарториус нес в руках футляр от скрипки, но внутри футляра, кроме холодных блинов и куска мяса, ничего не было.

Он шел пешком среди окружающей природы: времени у него впереди много — лет сорок сплошной жизни; на дворе всей страны стоит хорошая погода, июнь месяц. Сколько можно передумать мыслей, вспомнить забытое, пережить неизвестное в течение своей пустой дороги!

В Москве Сарториус явился в контору консерватории и предъявил там свою командировочную бумагу. В ней сообщалось, что направляется товарищ Семен Яковлевич Сарториус на учение; деньги за право учения, если они нужны, сельсовет будет записывать на свой кредит и одновременно не оставит в нужде самого Сарториуса, то есть станет кормить его до тех пор, пока требуется, равно и присылать деньги ему на снаряжение и текущие культурные удовольствия. Сельсовет просил отнестись к Сарториусу как к человеку дорогому для них, много решавшему игрой на скрипке трудные вопросы жизни, которые рассказать нельзя, если расскажешь, будет неубедительно. Однако скрипка его теперь похищена и находится не в руках, остался лишь футляр, а Сарториусу даны деньги на соответствующее приобретение. В случае порчи характера или убеждений Сарториуса от влияний публичной жизни просьба сообщить, чтобы средства общественного хозяйства не пошли для гибели хорошего человека.

В консерватории сказали Сарториусу, что нынче стоит лето, а прием будет осенью, поэтому придется ограничиться лишь предоставлением места в общежитии.

— Живешь-то ведь ежеминутно, когда же ждать! — сказал Сарториус.

— Ну, как угодно,— сообщил служащий.— Писать вам ордер в общежитие или как?

— Мало ли мне что угодно,— возразил недовольный Сарториус.— Ждите меня к осени, там видно будет...

Оставив консерваторию, Сарториус пошел по магазинам искать себе новую скрипку. Он их пробовал на звук и на ощущение материала, но они ему что-то не нравились, ноты звучали, но не выходили из дерева в пространство.

Бродя по городу далее, Сарториус всюду замечал счастливые, тревожные или загадочные лица, и они ему казались прекрасными. Он думал, что дело музыки есть выражение чужой, разнообразной жизни, а не одной своей — своей мало. И Сарториус выбирал среди встречных людей, кем ему стать из них, чтобы узнать чужую тайну для музыки.

Воображение другой души, неизвестного ощущения нового тела на себе не оставляло его. Он думал о мыслях в другой голове, шагал не своей походкой и жадно радовался готовым сердцем.

Одна миловидная девушка, с которой можно было бы прожить полжизни, посоветовала Сарториусу съездить на Крестовский рынок — там иногда выносят инструменты, она сама учится в музыкальном техникуме, только не по классу скрипки.

Крестовский рынок был полон торгующих нищих и тайных буржуев, в сухих страстях и в риске отчаяния добывающих свой хлеб. Нечистый воздух стоял над многолюдным собранием стоящих и бормочущих людей: иные из них предлагали скудные товары, прижимая их руками к своей груди, другие хищно приценивались к ним, щупая и удручаясь, рассчитывая на вечное приобретение. Здесь продавали старую одежду покроя девятнадцатого века, пропитанную специальным порошком, сбереженную в десятилетиях на осторожном теле; здесь были шубы, прошедшие за время революции столько рук, что меридиан земного шара мал для измерения их пути между людьми. В толпе торговали еще и такими вещами, которые навсегда потеряли свое применение, вроде капотов с каких-то чрезвычайных женщин, украшений от чаш для крещения детей, сюртуков усопших джентльменов, брелоков на брюшную цепочку...

В специальном ряду продавали оригинальные портреты в красках и художественные репродукции. На портретах изображались давно погибшие мещане и женихи с невестами из уездного окружения Москвы; каждый из них наслаждался собою, судя по лицу, и выражал удовлетворение происходящей с ним жизнью: он гордился ею,

как заслуженной медалью. Позади фигур иногда виднелась церковь в природе и росли дубы давно минувшего лета. Одна картина была велика размером и висела на двух воткнутых в землю жердинах. На картине был представлен мужик или купец, не бедный, но нечистый и босой. Он стоял на деревянном худом крыльце, рубаху его поддувал ветер, в обжитой мелкой бородке находились сор и солома, он глядел куда-то равнодушно в нелюдный свет, где бледное солнце не то вставало, не то садилось. Мужик только что очнулся от сна, а теперь вышел опростаться и сейчас снова отравится на покой — спать и не видеть снов, чтоб уж скорее прожить жизнь без памяти. Сарториус долго стоял в наблюдении этих прошлых людей.

Далее продавали скульптуры, чашки, тарелки, таганы, части от какой-то балюстрады, гирю в двенадцать старых пудов, чугунную плиту, раскопанную здесь же на месте, так что показывался лишь один ее край, а остальное было под землею; рядом сидели на корточках последние частные москательщики, уволенные разложившиеся слесаря загоняли свои домашние тиски, дровяные колуны, молотки, горсть гвоздей.

Незначительные воры ходили между нуждающимися и продающими, они хватали из рук ситец, старые валенки, булки, одну калошу и убегали в дебри бродящих тел, чтобы заработать полтинник или рубль на каждом похищении. В глубине базара иногда раздавались возгласы отчаяния, однако никто не бросался туда на помощь, и вблизи чужого бедствия люди торговали и покупали, потому что их собственное горе требовало неотложного утешения.

Один мужчина неясного вида стоял почти неподвижно, раскачиваемый лишь ближней суетой. Сарториус заметил его уже во второй раз и подошел к нему.

— Хлебные карточки,— произнес сам про себя тот неподвижный мужчина.

— Сколько стоит? — спросил Сарториус.

— Двадцать пять рублей, первая категория.

— Ну давай одну штуку,— попросил Сарториус, пожелавший истратить деньги на что-нибудь.

Торгующий осторожно вынул из бокового кармана конверт с напечатанной надписью на нем: «Полная программа Механобра». Внутри программы была заложена заборная карточка. Тот же торговец предложил Сарториусу

подыскать заодно и скрипку, но Сарториус приобрел себе скрипку позже — у человека, покупавшего червей для рыбной ловли в обмен на свой инструмент и ворчавшего на всех прохожих, как на врагов государства.

Перед покупкой Сарториус захотел попробовать скрипку, но тесные люди все время мешали ему; тогда он поднялся в будку милиционера — милиционер посторонился и дал место музыканту. С высоты этой надстройки Сарториус начал играть; его никто не слушал внизу: здесь давно привыкли ко всем человеческим фактам. Но эта случайная скрипка играла хорошо. Она была сделана из темного материала, тяжелее дерева, на вид грубовата и сама делала звук благородней и задушевней, чем мог музыкант. Сарториус сам слушал ее пение как посторонний слушатель и удивлялся, что весь громадный окружающий воздух содрогается от слабого трения смычка, а люди не обращают внимания. Он посоветовался затем на этот счет с милиционером, и тот объяснил ему:

— Чего ты хочешь — здесь бродит последний буржуазный элемент, отвели ему место в этой загородке, и он тоскует тут один.

— А отчего они не работают? — спросил Сарториус.

— Как тебе сказать! — милиционер всмотрелся в глубь толпы.— Один тебе от слова переменится, другой от наказания — те уж давно людьми живут. А иной только смерти послушается, так что ему, чтоб стать человеком, надо бы жить раза два подряд... Здесь скучное место, гражданин,— ступай теперь по своим делам, не мешай заниматься наружным наблюдением...

Сарториус, согнувшись от уныния, навсегда покинул Крестовский рынок. Этого места тоже скоро не будет, как нет девицы Анны Васильевны Стрижевой, как умер печистый и босой купец, мочившийся с крыльца в нелюдимый, обутый непогодой свет.

С тех пор Сарториус остался в Москве. Само многолюдство уже возбуждало его душевную силу, он шел среди людей, как в обольщении, и чувствовал их тело, издающее тепло.

До поздней ночи Сарториус не думал о приюте и ходил со скрипкой параллельно общему движению среди света, чистоты и тепла. Он чувствовал, что погибнуть здесь, остаться без внимания, пищи и призрения невозможно, если внутри его нет вражды к народу.

На другой вечер Сарториус вышел на бульвар, где

стоит памятник Пушкину. Он оставил футляр внизу и вошел на подножие памятника, на высоту всех его ступеней. Оттуда он сыграл, воображая себя перед всей Москвой, свое любимое сочинение о воробье, о том, как воробей полетел за простым зерном куда-то недалеко и там наелся среди многочисленных животных. Но скрипка разыгралась почти сама, скрипач осторожно последовал за ее усложняющейся мелодией — музыкальная тема расширилась, и судьба воробья переменилась. Он не долетел до ближней пищи: стихия ветра схватила его и понесла вдаль, в ужас, и воробей окоченел от скорости своего полета, но он встретил ночь — темнота скрыла от него высоту и пространство, он согрелся, уснул, сжался во сне в мелкий комок и упал вниз, в рощу, на мягкую ветку, а проснулся в тишине на заре незнакомого дня среди ликующих и неизвестных ему птиц. Музыканта заслушались прохожие, в его футляр на земле потекла почти беспрерывная плата; Сарториус застыдился и не знал, что ему делать с деньгами, точно он нищий.

Молодая метростроевка, пригорюнившись, слушала Сарториуса недалеко от него. Она была в мужской прозодежде, лишь обижавшей ее женскую натуру, умна и прелестна лицом; ясность сердца блестела в ее взгляде, следы глины и машинного масла от подземной работы не портили ее тела, а украшали как знак чести и непорочности.

Во время игры музыкант глядел на девушку-метростроевку равнодушно и без внимания, не привлекаемый никакой ее прелестью: как артист, он всегда чувствовал в своей душе еще более лучшую и мужественную прелесть, тянущую волю вперед мимо обычного наслаждения. Под конец игры из глаз Сарториуса вышли слезы: ему самому понравилась музыка, и он растрогался, но многие слушатели его улыбались, а метростроевка вовсе смеялась.

Сарториус спустился с памятника и со злобой обратился к этой метростроевке:

— Эх ты, публика! Мыслить еще не умеет, а уже смеется над чувством... Ничтожная какая!

— Это играете не вы, вы так не умеете! — ответила метростроевка.— Я знаю эту скрипку, на ней и я сумею играть.

— Не жалким таким девчонкам судить, хорошеньким на одну морду! — оценил ее Сарториус.

— Ах, вы так? — загадочно произнесла метростроевка. — Вам кажется, что вы знаменитый музыкант, значит, вы скучный дурак...

Она ушла от него по своим делам, а он пошел за нею и следовал до самого жилища, пока она не скрылась в нем. Тогда Сарториус, запомнив место жизни этой метростроевки, сел на какой-то трамвай и уехал на нем далеко за город. Там он ходил и мучился, сидел около ржаного поля, играл в безмолвии и уединении на скрипке и не умел понять способа ее устройства; почему она от его игры разыгрывается затем сама и не вполне слушается его. Он не знал физики и техники, он мог только чувствовать одни душевные страсти и тревожный, напряженный ход человеческого сердца. Удаленная Москва нежно гудела, как большая музыка; ее электрическое зарево небосклон отражал обратно на землю — и уже самый бедный свет доходил до здешней ржаной нивы, и он лежал на ее колосьях, как ранняя, неверная заря. Но была еще поздняя ночь. Сарториус с вожделением слушал дальнюю Москву, смотрел на небесную электрическую зарю и думал, что все это тайная музыка, и снова пускал в ход свою скрипку.

Метростроевская работница Лида Осипова, слушавшая игру Сарториуса у памятника Пушкину, жила на пятом этаже нового дома в двух небольших комнатах. В этом доме жили летчики, конструкторы, различные инженеры, философы, экономические теоретики и прочие профессии. Окна ее квартиры выходили поверх окрестных московских крыш, и часто бывало, что Лида, вернувшись после смены и вымывшись, ложилась на подоконник. Волосы ее свисали вниз, и она слушала, как шумит всемирный город в своей торжественной энергии. Подняв голову, Лида видела, как восходит пустая неимущая луна на погасшее небо, и чувствовала в себе согревающее течение жизни... Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало — она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие; в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтобы они светили, и думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтоб горел свет в темноте, шло чтение книг, мололась рожь моторами для утреннего хлебопечения, чтоб нагнеталась вода по трубам в теплые души танцевальных зал и происходило зачатие лучшей жизни, чтоб, наконец,

сиял огнем и блестел радостью город ее юности, мировая столица человеческого труда, ума и человечности. Лиде Осиповой хотелось пережить самой эту жизнь и наслаждаться, обеспечивать ее успех: круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везти людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, ездить на катке, прессуя новый асфальт, вешать лекарства больным на аналитических весах и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем.

Когда Лида свешивалась из своего окна в эти вечера одиночества, ей кричали снизу приветствия прохожие люди, они звали ее с собою в общий летний сумрак, ей обещали показать все аттракционы парка культуры и отдыха и купить цветов. Лида смеялась и не шла.

Позже Лида видела сверху, как начинали населяться окрестные крыши домов: через чердаки на железные кровли выходили семьи, стелили одеяла и ложились спать на воздухе, помещая детей между матерью и отцом; в ущельях же крыш, где-нибудь между пожарным лазом и трубой, уединялись женихи с невестами и до утра не закрывали глаз, находясь ниже звезд и выше многолюдства.

Дверь в свою квартиру Лида Осипова часто забывала закрывать. Однажды она застала незнакомого человека, спящего вниз лицом на полу на своей верхней одежде. Лида подождала, пока он повернется лицом, и тогда узнала в нем музыканта, игравшего около Пушкина. Сарториус пришел сюда без спроса, а скрипку спрятал в уборной. Проснувшись, он сказал, что хочет у нее пожить; здесь просторно, и ему нравится. Она промолчала и дала жильцу подушку и одеяло. Сарториус стал жить у нее; по ночам он вставал и подходил на цыпочках к спящей Лиде, чтобы укрыть ее одеялом, потому что она ворочалась, раскрывалась и прозябала.

Через несколько дней жизни в квартире Осиповой скрипач уже укреплял каблуки на стоптанных выходных туфлях Лиды, втайне чистил ее осеннее пальто от пристававшего праха и согревал чай, с радостью ожидая пробуждения хозяйки. Лида сначала ругала скрипача за подхалимство, а потом, чтобы изжить такое рабство, ввела со своим жильцом хозрасчет: стала штопать ему носки и даже брить его щетину по лицу безопасной бритвой.

Когда же Лида уходила, Сарториус тихо начинал играть на скрипке, стараясь вникнуть в ее волшебное уст-

ройство. Но скрипка была на вид обыкновенная и дешевая, однако на ее звуки отзывались оконные стекла, стены, мебель, люстры, пустой воздух — и пели вместе, как оркестр. При Лиде же Сарториус играть боялся.

Сарториус ни разу не осмелился спросить у нее про тайну своего инструмента и что означают ее насмешливые слова у памятника. Все же Сарториус понял, что истину новой музыки, поющей в любом веществе как живое чувство, он может узнать у этой черноволосой девушки, а больше некуда обратиться. И за этим он явился к ней жить и старался во всем любить ее.

Вскоре Сарториус узнал, что Лида Осипова работает техником по буровому делу, и это обнадежило его находиться при ней далее, поскольку она образованный человек.

В одну ночь, когда он ее, как обычно, укрывал во сне, он услышал ее счастливый смех, и она прошептала нежные неясные слова.

Сарториус спросил:

— А чья это скрипка, милая моя?..

Лида открыла глаза:

— А что?

— Ну, стало быть, нужно!

— Что тебе нужно? — опомнилась Лида.— Сверхсрочность какая! Завтра скажу! — И уснула дальше.

Утром она сказала Сарториусу, что сегодня вечером будет бал и пусть он идет туда вместе со скрипкой: неужели ему не надоест жить лодырем до самой осени?

— А чья это скрипка, милая моя? — спросил Сарториус.— Скажи, пожалуйста.

Лида медленно оглядела скрипача по всему его туловищу:

— Какая милая?! Это что за новость?.. Скрипка эта сделана из отходов в лаборатории моего жениха — и для него я милая, вам понятно?

— Понятно,— сказал Сарториус.— Я ведь не такой мещанин. Я человек особенный.

— Оно и видно! — произнесла Лида без внимания и без обиды.

Вечером в районном клубе комсомола собрались молодые ученые, инженеры, летчики, врачи, педагоги, артисты и знаменитые рабочие новых заводов. Никому из них не было более двадцати семи или тридцати лет, но каждый уже стал известен по всей своей Родине — в новом мире, и каждому было немного стыдно от ранней славы, и это

мешало жить и покрывало лицо излишним возбуждением. Работники клуба привели в порядок мебельное убранство в двух залах: в одном — для заседания, в другом — для беседы и угощения.

Одним из первых пришел двадцатичетырехлетний инженер Полуваров с комсомолкой Кузьминой, пианисткой, постоянно задумчивой от воображения музыки.

— Пойдем жевнем чего-нибудь! — сказал ей Полуваров.

— Жевнем,— по-женски покорно согласилась Кузьмина.

Они пошли в буфет. Там Полуваров, розовый, мощный едок, съел бутерброды с колбасой, а Кузьмина взяла себе только два пирожных, она жила для игры, а не для пищеварения.

Вскоре пришли сразу десять человек: путешественник Головач, механик Гаусман, две девушки-подруги — обе гидравлики с канала Москва — Волга, метеоролог авиаслужбы Вечкин, конструктор высотных моторов Мульдбауэр, электротехник Гунькин с женой, но за ними опять послышались люди, и еще пришли некоторые, и среди них Лида Осипова со скрипачом Сарториусом.

Позже всех в клуб явился хирург Самбикин. Он только что вернулся из клиники, где производил трепанацию черепа маленькому ребенку, и теперь пришел, подавленный скорбью устройства человеческого тела.

Московская ночь светилась в наружной тьме, поддерживаемая напряжением далеких машин. Возбужденный воздух, согретый миллионами людей, тоской, проникал в сердце Самбикина. Он поглядел на звезды, в волшебное пространство мрака и прошептал старые слова, усвоенные понаслышке: «Боже мой!»

Затем он пошел в зал, где собрались его ровесники и товарищи. Самбикин должен был сделать доклад о последних работах того института, в котором он служил. Темой его доклада являлось человеческое бессмертие.

Во втором ряду сидела молодая женщина с влекущим лицом, и рядом с ней сидел скрипач со своим инструментом. Улыбка юности и бессмысленное очарование украшали ее, но она сама этого не замечала... Самбикин и его товарищи в институте хотели добыть долгую силу жизни или, быть может, ее вечность. Самбикин нашел в области сердца слабые следы неизвестного вещества и озадачился им. Он испытал его и открыл, что вещество обладает

силой возбуждать слабеющую жизнь, как будто в момент смерти в теле человека открывается какой-то тайный шлюз и оттуда разливается по организму особая влага, бережно хранимая всю жизнь, вплоть до высшей опасности.

Бродячий луч далекого прожектора остановился случайно на огромных окнах клуба. Слышно было в наставшей паузе, как били по шпунту и выдували исходящий пар паровые копры на Москве-реке.

Лида Осипова стала беспокоиться и поворачивала голову на каждого, кто входил в зал. Несколько раз она ходила к телефону — звонить тому, кого она ожидала, но ей никто не отвечал оттуда, вероятно, испортился аппарат, и она возвращалась, не делая вида своей печали.

Затем все гости перешли в другое помещение, где был накрыт стол для общего ужина, и там возобновился спор о бессмертии, о доисторических одноглазых циклопах как о первых пролетариях, построивших Грецию и олимпийские холмы, о том, что и Зевс был только каторжником с выколотым глазом, обожествленным впоследствии умной аристократией за свой труд, образовавшим целую страну, и о других предметах. Сарториус сидел и наполнялся знаниями, как пустой мешок, в котором лишь жили где-то незаметно одни духи легких чувств.

Цветы, казавшиеся задумчивыми от своей замедленной смерти, стояли через каждые полметра, и от них исходило посмертное благоухание. Жены конструкторов и молодые женщины — инженеры, философы, бригадиры, десятники — были одеты в самый тонкий шелк республики. Лида Осипова была в синем шелковом платье, весившем всего граммов десять, и сшито оно было настолько искусно, что даже пульс кровеносных сосудов Лиды, беспокойство ее сердца обозначались на платье волнением его шелка. Все мужчины, не исключая небрежного Самбикина и обросшего метеоролога Вечкина, пришли в костюмах из превосходного материала, простых и драгоценных; одеваться плохо и грязно было бы упреком стране, которая питала и одевала присутствующих своим отборным добром.

Самбикин попросил Сарториуса сыграть что-нибудь: зачем же он не расстается со скрипкой?

Сарториус поднялся и с прозрачной, счастливой силой заиграл свою музыку — среди молодой Москвы, в ее шумную ночь, над головами умолкших людей, красивых от

природы или от воодушевления и незаконченной молодости. Весь мир вокруг него стал вдруг резким и непримиримым — одни твердые, тяжкие предметы составляли его, и грубая, жесткая мощность действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и громила со скоростью вопля какого-то своего холодного, каменного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность. Однако эта музыка, теряя всякую мелодию и переходя в скрежещущий вопль наступления, все же имела ритм обыкновенного человеческого сердца и была проста.

Но, играя, Сарториус не мог понять своего инструмента: почему скрипка играла лучше, чем он мог; почему мертвое и жалкое вещество скрипки производило из себя добавочные живые звуки, играющие не на тему, но глубже темы и искуснее руки скрипача. Рука Сарториуса лишь тревожила скрипку, а пела и вела мелодию она сама, привлекая себе на помощь скрытую гармонию окружающего пространства, и все небо служило тогда экраном для музыки, возбуждая в темном существе природы родственный ответ на волнение человеческого сердца.

Лида закрыла лицо руками и заплакала, не в силах укрыть свое горе. Оставив свои места, к ней подошли и все присутствующие. Сарториус опустил скрипку в недоумении. Всеобщая радость свидания прекратилась.

— Послушайте,— обратилась Осипова к ближним товарищам,— у вас есть у кого-нибудь машина? Мне нужно поехать...

— Сейчас будет,— сказал Самбикин.

Он вызвал по телефону автомобиль. Через десять минут Лида Осипова, Самбикин и Сарториус поехали по указанию Лиды.

В районе Каланчевской площади машина свернула в малопроезжий переулок и остановилась. Дальше двигаться было нельзя: там стояли пожарные машины, хотя огня нигде не замечалось, и только звучала однообразная нежная и грозная мелодия, неизвестно что.

В глубине переулка находилось небольшое одноэтажное здание с вывеской о том, что это завод по производству весовых гирь и новых тяжелых масс. У самых ворот того завода находилась машина «Скорой помощи». Луч прожектора с пожарного автомобиля освещал одно окно

заводского здания: за окном — внутри помещения — неподвижно сиял самостоятельный фиолетовый свет; готовые ко всему, пожарные цепью стояли против окна и не принимали мер: внутри маленького завода сейчас лежал один человек — неизвестно, живой или мертвый.

Лида Осипова с холодным сердцем рассчитала обстановку, но вдруг помимо действия ума и сердца она закричала своим высоким, наивным голосом и побежала на завод сквозь строй пожарных, которые не успели ее схватить.

Ее ожидали несколько минут, но она не вернулась. Командир пожарных приказал разобрать наружную стену здания и извлечь оттуда людей длинными приспособлениями.

Нежное, грозное пение продолжалось, распространяясь на весь переулок и восходя к электрическому зареву ночной Москвы.

Сарториус узнавал голос пространства и дикого окружающего вещества, бывшего мертвым и безмолвным всегда,— это был голос его скрипки, которая лежала у него сейчас в футляре в руках. Он поднял футляр к уху и прислушался: весь материал инструмента что-то напевал и, меняя мелодию, следовал неизвестной и трогательной теме, но внешний гул и суета людей мешали уловить мысль музыки.

— Моя скрипка, гражданин... Должно быть, теперь спасибо говорите, а сказать некому.

Сарториус увидел того самого человека, который покупал рыболовных червей на Крестовском рынке и по случаю продал ему скрипку. Он был в летах и служил, оказывается, наружным сторожем на этом гирьевом заводе, а раньше работал по деревообделочному делу и занимался ради любви к природе рыбной ловлей.

— Что это такое у вас: какой-то случай происходит? — спросил у него Сарториус.

— Пройдет... Владимир Иванович замлел в лаборатории.

— А кто он?

— Кто-кто?.. Инженер. Очнется.

— От чего очнется?

— Опять ему — от чего! — недовольно проговорил сторож.— От дела своего... Гляди теперь, и женщина замлеет там с ним.

— Какая женщина?

— Вот тебе — какая! А с тобой-то стояла кто: баба Владимира Ивановича, невеста его.

Странный, глубокий звук прекратился; волшебный свет в окне лаборатории погас. В двери проходной конторы завода показалась Лида Осипова. Она сказала пожарным:

— Ну, идите же сюда скорее, перестаньте портить здание. Теперь здесь неопасно, ток не бьет.

Пожарные вошли внутрь здания и вынесли оттуда молодого человека. Его поднесли к машине «Скорой помощи».

— Нет, я хочу домой! — сказал инженер Грубов.— Где Лида?

— Несите его сюда! — Самбикин отворил дверь своего автомобиля.— Мы поедем в институт,— сказал он шоферу.

К автомобилю поднесли утомленного человека; его тело местами было видно, и оно покрылось густой влагой пота, точно он дрался сверх сил, но лицо его было здоровое.

— Здравствуйте! — сказал Самбикин Грубову.

— Здравствуйте,— ответил больной инженер.

— Мы поедем к нам в институт, я вам помогу,— сказал Самбикин, когда Грубова усаживали в машину.

— Не хочу,— отозвался Грубов.

— Но это очень интересно: я вам волью одну штуку, какую я добыл. Очень любопытный эксперимент — советую пережить.

— Тогда поедемте! — сразу согласился Грубов.

— Обожди! — в машину всунулся ночной сторож, автор скринки Сарториуса.— Владимир Иванович, ты что там — замлел?

— Замлел, Сидор Петрыч...

— Я, знаешь, хотел к тебе войти — шибает что-то и шибает назад.

— Нельзя, Сидор Петрыч, ты умрешь.

— Нельзя — не надо... Можно, я отходы возьму — хочу еще скринки две сделать, последние уж...

— Возьми, Сидор Петрыч... Ступай спи, я тоже уморился.

Они уехали. Переулок опустел. Остались только Сидор Петрович и Сарториус.

По своей привычке жить где попало и даже чужой жизнью Сарториус остался на заводе. Его назначили чер-

норабочим, и он поселился в комнате у Сидора Петровича на заводском дворе. Сторож вскоре научил Сарториуса делать скрипки, он их делал обыкновенно и не знал никакого старинного искусства, но только темный блестящий материал для работы он брал в лаборатории Грубова; этот материал был уже негодным и неточным для инженера, его бросали прочь. Сарториус не мог все же понять — почему природное вещество играет внутри почти само по себе и умнее искусства скрипача. Сидор Петрович тоже этого не знал.

Целых два месяца томился Сарториус, ничего не узнавая, пока завод не перешел на производство новых гирь. С их производством спешили, и многим рабочим повышали квалификацию через краткие курсы. Сарториуса тоже послали учиться работать на новом деле. В заводе тогда появились небольшие электрические машины, похожие на радиоприемники. Эти машины излучали резкую, дробящую, невидимую силу, от которой обрабатываемый материал сначала грустно пел, а потом умолкал. Материалом служила глина, пластическая масса, простая земля и все, что дешево и доступно. После обработки электричеством это вещество делалось твердым и прочным, как металл.

Инженер Грубов объяснил рабочим, что мир, особенно же те его места, которые обработаны человеком, построен из слабого материала, так как все его мелкие молекулярные части выбиты огнем, трудом, машинами и другими событиями из своих родных, лучших мест и бродят теперь в тоске внутри вещества. Электрический ток высокой частоты и ультразвуковое колебание быстро возвращают молекулы в их древние места — природа делается здоровой и прочной, молекулы оживают, они начинают давать гармонический резонанс, то есть отвечают звуком, теплотою, электричеством на всякое их раздражение и даже поют сами по себе, когда раздражение уже прекратилось. И этот звук оказался понятным для человека: его сердце, когда оно несет напряжение искусства, поет почти так же, только менее точно и более неясно.

— Это оправдалось на скрипках, сделанных Сидором Петровичем, — сказал однажды Грубов на производственном совещании. — Скрипки сделаны из материала, не годного по своим качествам для весовых гирь, музыку он получил из нашего брака... Но, я думаю, нам придется

теперь сделать несколько скрипок из настоящего материала...

Сарториус проработал на гирьевом заводе до сентября месяца, но потом исчез неизвестно куда. Его влекла большая Москва, но на него действовало многолюдство как воодушевление, и чужое сердце интересней своего. Он хотел испытать свою душу во всей многообразной судьбе нового мира, а не только в качестве скрипача, не в одних узких пределах своего туловища и таланта.

Земляки искали его по осени по всей Москве, но нашли одни слабые признаки в виде справок о его проживании, а Сарториуса нигде не оказалось: он заблудился между людьми и, может быть, переменился лицом, фамилией и характером.

Во мгле утренней природы по мелкорастущему лесу шел человек с охотничьим ружьем. Охотник был немного рябой в лице, но все же красивый и еще молодой. В это время года в лесу стоял туманный дух от теплоты и сырости воздуха, от дыхания развивающихся растений, от тления погибших давних листьев. Видно было плохо, но идти одному и что-нибудь незначительно думать или, наоборот, забыться и поникнуть — было хорошо. Лес рос по склону невысокой горы; меж худых, маленьких берез лежали большие камни, почва была малоплодородна и бедна — то глина, то сырая земля,— но деревья и трава давно жили в этой земле, притерпевшись к ее бедности.

Охотник иногда останавливался, и тогда он слышал тонкий, разноречивый гул жизни мошек, мелких птиц, червей, муравьев и шорох земли, которую мучило и шевелило это население, чтобы питаться и действовать. Лес походил на многолюдный город, в котором охотник еще ни разу не был, но зато давно его воображал. Лишь однажды он проезжал Петрозаводск, и то мимо... Вопли, писк и слабое бормотание наполняли лес, может быть, означая блаженство и удовлетворение, может быть, гибель; влажные листья березы светились в тумане внутренним зеленым светом своей жизни, незаметные насекомые колебали их в тишине преющего земляного пара. Какое-то далекое небольшое животное кротко заскулило в своем укрытии; должно быть, оно дрожало там от испуга собственного существования, не смея предаться радости своего сердца перед прелестью мира, боясь воспользоваться редким и кратким случаем нечаянной жизни, потому что его могут обнаружить и съесть безмолвные хищники. Свисток паровоза, тонкий, далекий, разрываемый ветром движения, раздался в лесах и в тумане, как жалобный голос бегущего измученного человека. «Полярная стрела»! — произнес охотник.— Она далеко бежит — там в вагонах музыка играет, там умные люди едут, они розовую воду пьют из бутылки и разговор разговаривают».

Охотнику стало скучно в лесу; он сел около пня и поставил ружье к дереву как ненужное. Ему обидно было, что он не знает науки, не ездит в поездах с электричеством, не видел Москвы и только раз нюхал духи из флакона у жены начальника десятого разъезда. Ему лишь

приходится бродить в туманном лесу — среди насекомых, растений и некультурности, когда там мчатся вдаль роскошные поезда. «Хоть зверь, хоть птица — кто явится, того и убью!» — порешил охотник. Но вокруг него попрежнему шумели и жужжали одни мелкие, тщедушные существа, негодные для боя. Под охотником ползали усердные, обремененные хозяйственными тяжестями муравьи, как маленькие добропорядочные люди: гнусная тварь с кулацким характером — всю жизнь они тащат добро в свое царство, эксплуатируют всех мелких и крупных одиноких животных, с какими только сладят, не знают всемирного интереса и живут ради своего жадного, сосредоточенного благополучия. Сейчас, например, муравьи растаскивали тело старого скончавшегося червя; мало того, что они тлю доят и молоко пьют, они и чужую говядину любят. Однажды охотнику пришлось видеть, как два муравья волокли от железной дороги железную стружку. Им и железо, оказывается, нужно. Они весь мир собирают себе по крошке, чтобы получилась одна куча. Охотник потоптал ближайших муравьев и ушел с этого места, чтобы не расстраивать больше своего сердца. Он был похож на своего отца — тот на охоте тоже всегда сердился, воевал со зверями и птицами, как с лютыми врагами, тратил злобу сердца в лесу без остатка, а домой возвращался добрым, чувствительным семейным человеком. Другие люди на охоте, наоборот, ходили по траве с нежной душою, били зверя с любовью и с дрожащим наслаждением ласкали рукою цветы и деревья, а дома, среди людей, жили с раздражением, тоскуя опять по природе, где они чувствовали себя начальниками благодаря ружью.

— Охота — либо глупость, либо бедность, Сергей Семенович, — говорил ему отец (после исполнения сыну восемнадцати лет отец его начал называть по имени и отчеству). — Ты видал: сидит человек один с удочкой на озере, напижет червяка и обманывает безумное животное в воде, стервец! А другой взял ружье и пошел в чащу: никто, дескать, мне не нужен, живите себе без меня, а я один прокормлюсь, я один сам собой доволен... Ему собака — друг, а не мы с тобой...

Когда Сергей Семенович был мальчиком, отец ему показывал лица убитых зайцев и птиц — они были кроткие, и иногда даже умные, и есть их не хотелось, но потом приходилось.

Отец ел добытых животных и птиц экономно, разум-

но, приучая к тому же детей, чтобы погибший дар природы превращался в человеке в пользу, а не пропадал напрасно. Он советовал приобретать из мяса и костей убитых не одну лишь сытость, но и хорошую душу, силу сердца и размышления. Если же не можешь брать из птицы или зверя его лучшее добро, а хочешь только напитаться, тогда ешь одну траву во щах или хлебную тюрю. Отец считал, что зверь и птица — дорогие души на свете и любовь к ним — это экономическое дело.

Сергей Семенович поднял ружье. Что-то пошевелилось в небольшой ближней траве. Он прошел туда немного. Там оказался маленький заяц, еще детеныш; он сидел почти по-человечески и быстро жевал травинку, помогая себе передними лапками, потом он утерся теми же лапками и стал часто дышать чистым, здоровым воздухом; он утомился, добывая себе пропитание с малолетства: родители его, должно быть, погибли, и он живет один сиротой. Охотника заяц не замечал или не понимал его значения. Оправившись, заяц скакнул и исчез. Сергей Семенович не убил его: он слишком мал и почти бесполезен для пищи, и жалко его, потому что он еще ребенок, а уже труженик. Пускай подышит.

Вскоре Сергей Семенович вышел на поляну. Тот же мелкий, пухлый заяц-младенец рылся там лапками в земле, добывая себе какие-то корешки или оброненный прошлогодний капустный лист. Он занимался заботой о своей жизни неутомимо, потому что ему надо было расти и есть хотелось беспрерывно. Поев то, что нашлось на земле, заяц начал играть со своим хвостиком, тремя лапками с четвертой, затем с остатком мертвой древесной коры, с кусочками своих отходов и даже с пустым воздухом, ловя его передними ножками. Отыскав водяную лужу, заяц напился, осмотрелся вокруг влажными нежными глазами, потом лег в ямку, свернулся в теплоту собственного тела и задремал. Он уже перепробовал все наслаждения жизни: ел, пил, дышал, осмотрел местность, почувствовал удовольствие, поиграл и уснул.

Сергей Семенович вспомнил, как он в детстве с удивлением и осторожностью рассматривал спящих собак, кошек и кур. Они жевали ртом, произносили блаженные звуки, иногда приоткрывали ослепшие от беспамятства глаза и снова закрывали их, шевелились, кутались в тепло своего тела и стонали от сладости и покоя своего существования во сне.

Охотник подошел к маленькому зайцу, поднял его и положил себе за пазуху; заяц пискнул и не проснулся, он лишь еще больше свернулся и пригрелся к телу человека, хотя сам был парной и горячий.

На Лобской Горе, как созвездие бедных звезд, стояла деревня в четыре избушки. Одна изба топилась, из нее шел дым в воздух, а на крыше другой избы сидел человек, размером в половину самой избы, и смотрел оттуда на Онежское озеро, в далекое место. Человек на крыше был в больших годах, но бритый, с оскобленным тщательно лицом, как зажиточный или ученый. Он совмещал свое колхозное положение со службой в Академии наук в качестве гидрометеорологического пункта — для измерения воды и бури. Сейчас он глядел на озеро, наблюдая там ветер либо какие-то другие признаки и события важные для науки. Сергей Семенович тоже хотел бы иметь такую должность, но там бриться надо, писать и разговаривать, а это он плохо умел делать и стеснялся.

В той деревне избы были маленькие, небогатые и некрашеные, но зато в них уютно бывает жить, и поэтому они кажутся достаточными, даже обширными, хотя жилища небольшие. Охотник пошел в самую худую, не имеющую вида избу. Деревянная крыша той избы сопрела и поросла ветхим мхом, нижние венцы погреблись в землю, точно возвращаясь обратно в глубину своего родного места,— и оттуда, из самого нижнего тела избушки, росли уже две новые слабые ветви, которые будут могучими дубами и съедят когда-нибудь в своих корнях прах этого изжитого, истраченного ветром, дождями и человеческим родом жилища. Избушка стояла на своем пустом дворе, который был огорожен кольями, камнями с берега Онеги, сложенными внаброску, ржавыми листами кровельного железа, принесенными сюда, наверно, бурей из дальнего города, и прочим дешевым или случайным материалом. Но эта огорожа уже не держалась — камни разваливались, колья накренились, издавна изморившись и сотлев в почве. Изба и огорожа были похожи на вдовье сиротское подворье, однако там жило большое, здоровое семейство — нерадивое, должно быть, либо несогласное меж собой. Но это неверно: старший человек на дворе Семен Кириллович — отец Сергея Семеновича — работал на лесопильном заводе и надеялся вскоре построиться заново, а старую избушку оставить на съедение под корень молодого дуба. Старик держал расчет на лучший

век жизни, а прожитое время решил пожалеть и забыть.

Дома сидело в сборе все семейство. Отец налаживал в действие радио, которое он якобы получил в премию месяц приблизительно тому назад. На самом же деле он взял одноламповый радиоприемник на выплату через завком, а дома ради жены сказал, что радио дали ему в премию; хотя старик был сторожем на заводе, но он тоже хотел почета в семействе и мечтал о всенародной знатности. Однако его старуха скоро узнала всю правду, за какую честь получено радио,— разве что скроешь от старой, опытной жены.

Сергей Семенович положил зайчонка под печку и взял на руки свою десятимесячную девочку-дочку; она уже могла становиться на ножки и училась самостоятельно передвигаться; лет через шестнадцать — восемнадцать она сама будет невестой и тоже детей примется рожать, а пока пусть сейчас растет и отдыхает на родительских руках.

— Что ж одного зайца-то принес? — сказала молодая жена Сергея Семеновича.— У тебя семейство есть: надо думать ходить. Там теперь белочки есть, рябчики, тетерева живут, а ты зайчонка на игрушки принес. Пистоны только тратишь, лучше б обновку в дом купил...

Сергей Семенович приуныл в этих домашних условиях. Он воображал себе дальние курьерские поезда, свет электричества за шторами вагонных окон, радостную музыку, играющую внутри поезда, которую он слышал иногда, нажимая на противовес стрелки. Там была наука, слава, высшее образование, метрополитен, а здесь лес, животные, семейство, обычная вещь, но нужно пока терпеть и не ссориться.

— Бабы спокон веку зажиточность любят,— сказал отец Сергея Семеновича,— чтобы всего было много: и белок, и рябчиков, и материя в сундуке,— их дело такое: и детей и добро при себе держать...

И старик сразу пустил радио, чтобы слышать весь прочий посторонний мир, где происходит, как он говорил, всемирная история. Вначале старый человек мало доверял радиоаппарату: «Едва ли он научный,— думал старик,— разве можно за тысячу верст передавать пустяк в виде звука, наука не может заниматься такой шуткой, наука — дело важное, а радио — это случайность», и, кроме того, радио не могло писать, оно не оставляло доку-

ментов, поэтому не было достоверности, что картонная трубка говорит правильно». Однако не так давно этот старый человек лично съездил в Петрозаводск и там подал прошение, чтобы его допустили сказать по радио несколько звуков; его действительно допустили, а он заранее велел своей старухе неотлучно слушать его каждый вечер, когда говорят всякие сведения и новости. И старик сказал старухе из Петрозаводска: «Это я, Семен Кириллович Пучков, житель деревни Лобская Гора, старик-человек, чтоб ты не думала, что это не я,— это я, радио — это правда, сейчас я тебе покашляю — ты сразу меня узнаешь (здесь Семен Кириллович действительно покашлял раза три),— слышишь? Помнишь, когда я на тебе женился, ты вдовой тогда была, а я батраком у кулака, теперь он классовый враг,— ну кто ж тебе это говорит, как не я,— стало быть, я!..» Но в Лобской Горе Семена Кирилловича услыхать в тот день не могли: радио испортилось, в нем что-то засохло или лопнуло. Старуха его, правда, сидела у рупора без отлучки, и ей даже иногда казались какие-то звуки из трубы, а это был обман. Вернувшись из своего проверочного путешествия, Семен Кириллович не стал раздражаться, что его не слыхала его контрольная старуха: «Все равно я теперь верю,— сказал дома старик,— а кто не верит — того прочь!» «Да уж, видно, так,— согласилась старуха.— Истопи мне завтра баньку, что я слушала-слушала тебя, оглохла вся».

Радио теперь заиграло. С обмиранием сердца слушали люди в деревянной избе далекую увлекательную жизнь. Сначала говорил пожилой, затем молодой, играла музыка таинственную песню, пела степная дудка и звонил колокол.

Потом хор девичьих голосов начал песню о счастливых людях и об их интересной жизни. Девицы пели на большом расстоянии отсюда, но все равно чувствовалось, что теперь нужно жить по-хорошему, а не в нужде и мученье.

Сергей Семенович слушал радио и ласкал свою дочку: он гладил ладонью ее головку и надеялся про себя, что его дочь будет высшим ученым человеком, а он, ее отец, проживет неважно: он стрелочник с лесного разъезда. Ребенок тоже слушал пение и музыку, а жена Сергея Семеновича тут же делала хозяйственные и культурные выводы, трудясь у печной загнетки:

— Ишь люди как живут: отсюда слышно... И обновки покупают, и дома строят, и сладко едят, и в театры ходят, танцуют, поют, науки изучают, в Черном море купаются, а здесь только и видишь заботу да работу...

— И верно, что так! — согласилась старуха, мать Сергея Семеновича.— Другие мужики, поглядишь, и за то и за другое примутся, глядь — и копейка в доме лежит... Теперь ведь не старое время, работают мало. Пришел с работы — чего дома сидеть! На сплав ступай, в бараки наведайся — там и печки новые кладут, и пни копают, и на кухню всегда черный мужик нужен... А то как же жить-то! — старуха разошлась характером, изводясь всем телом посредине избы.— А наши-то как явятся, так и расселись: в гости пришли! А то возьмет ружье — и в лес пошел. А зачем пошел, какой тебе рожон по траве посреди дубьев ходить: что́ там — куры с поросятами водятся, что ль, или сукно на сучьях висит! А зайчишки, а тетерьки — тьфу, что такое: если бы вы по целому возу их привозили, а то по одному, по два: угодье какое — мне, старухе, на один жевок не хватает... Да заткни ты трубу-то свою: нечего там слушать, когда я говорю!..

Старик остановил радио и умильно стал слушать свою жену дальше; возражать ей он ленился: пускай сама по себе духом изойдет, тогда и подобреет.

Но старуха начала действовать. Она схватила зайца-ребенка, прижавшегося к рогачу под печкой, вытащила животное на свет и стала его левой рукой таскать по полу, а правой бить по заду, потом по ребрышкам, где побольней,— туда злость ее выходила слаже,— и заяц, худой и жалкий, волочился по полу, молча бедствуя, пока старуха не изошла своей темной силой. Тогда она подняла зайца в воздух и выкинула его за дверь на двор: все равно пользы от него нету, пусть не гадит в избе. Заяц спрятался в траву, поплакал там немного по-своему, а потом оправил шерсть на себе, пробрался в скважину огорожи и скрылся в лесной стране, забыв только что испытанное горе ради будущей жизни.

Жена взяла у Сергея Семеновича девочку, ее пора было кормить — она уже дремала, насмотревшись на зайца.

— Там люди вон как теперь живут — с удовольствием, а вы что?.. У, щипаные хари! — обратилась старая хозяйка к мужу и сыну.

Старик и сын попробовали немного свои лица — они и вправду были рябоватые, щипаные люди, но это, одна-

ко, сойдет им безвозмездно, любить их есть кому. Умри, скажем, Семен Кириллович, и по нему самое меньшее двое людей заплачут, жена и сын. Достаточно!

— Открывай радио! — приказала старуха Семену Кирилловичу. — Мне слухать надо, а то упустишь, гляди, такое что-нибудь, а польза мимо пройдет...

Старый хозяин включил машину; радио сказало сперва нравоучение, а дальше заиграла нежная музыка. Мать Сергея Семеновича приложила правую руку к щеке, пригорюнилась, а потом стала улыбаться. Она желала бы быть доброй постоянно, но ей нельзя было — ведь все поедят, попьют, износят, а мужики перестанут работать, и тогда семейство помрет от нужды, двор зарастет лесом, выйдет заяц из кустов и будет гадить, где жил человеческий род.

Сергей Семенович Пучков заступил дежурить в ночь. Десятый разъезд был глухое место, погрузка и выгрузка здесь небольшая. Пучков осмотрел и почистил свои стрелки, исследовал с фонарем крестовины — он всегда боялся за них; паровозы тяжко бьют, вбегая на крестовину, и в ней может произойти трещина, а крушение на стрелочном переводе всегда большая беда, потому что и по здоровой стрелке поезд проходит с резким содроганием: здесь ехать составу больно. Если бы Пучков мог стать инженером, он бы выдумал стрелочный перевод поумнее, чтоб езда была более гладкой. Он стал на колени и пополз от стрелочного пера к крестовине, ведя рукою по головке рельса, по поверхности катания; он искал на ощущение возможные выбоины, щербины или соструганные паровозным бандажом заусеницы. Время темное, фонарь светит бедно, поэтому ручное чувство дает более точное представление о стрелочном механизме. Никакого ущерба Сергей Семенович не заметил; есть одно небольшое вмятие, но оно неопасно.

Стрелочник очистил с брусьев старую сработанную смазку и обильно снабдил все места трения новой смазкой, чтобы было погуще, почище и безопасней. Он наблюдал, что стрелочное перо играет на богатой смазке, когда пропускает через себя тяжкий состав, оно как бы плавает в нефтяном жиру. Пусть играет — что́ играет, то не мучается и, стало быть, не лопнет. Затем Сергей Семенович вычистил и промазал балансир и попробовал его не-

сколько раз на перекидку, чтобы весь стрелочный механизм пригартовался. Переводил он стрелку мягко, без всякого удара, так что каждое перо касалось неподвижного рельса с нежностью и расставалось с ним медленно, экономно натягивая за собою смазку.

Пучков в начале своей службы на железной дороге относился к металлу и к машинам как к животным и растениям,— осторожно и дальновидно, стараясь при этом их не только узнать, но и перехитрить. Потом он понял, что этого отношения мало и недостаточно. К металлу и механизму нужно относиться гораздо более чувствительно, чем к зверю или растению, потому что живое можно действительно перехитрить, и оно тебе сдастся, его можно ранить, и на живом заживет. Машина же или рельс на хитрость не даются, их можно взять лишь чистым добром, и ранить их нельзя, на них не заживет, они лопаются насмерть. И поэтому Пучков вел себя на службе чутко и осторожно; он даже дверь в свою будку закрывал не с размаху, а бесшумно и деликатно, чтобы не тревожить железных петель и не расшатывать в них шурупов.

Дежурный по разъезду позвонил в будку по телефону: пусть Пучков приготовит стрелку для приема скорого поезда на проход. Сергей Семенович и сам помнил время поезда. Он уже глядел в темную просеку лесов, где лежал путь. Луны не было, слабые звезды находились высоко, однако рельсы блестели ясно и далеко, точно они собирали свет изо всей бедности тьмы, из его рассеяния во мраке. Пучков прилег ухом к рельсу и расслышал вечное пение металла — от течения воздуха, от шума дальних листьев и ветвей, заставляющих рельсы напевать в ответ. Рельсы звучали правильно, они были, наверно, целы и здоровы на всем протяжении. Но постепенно в их равномерный волнообразный гул вошло невнятное, постороннее бормотание. И бормотание становилось все более отчетливым, настойчивым, почти выговаривающим слова; эту речь говорил молодой, поющий голос — без фальши, без звука дребезжащего раздражения, значит, рельсы нигде не имели трещины и на стыках не было большой выработки. Стрелочник поднял голову с рельса, высморкался, отряхнул сор с одежды и сделал более важное, серьезное лицо. С юга на проход, на Мурманск, шел скорый, спешащий поезд. Спокойный свет паровоза взошел из-за горизонта и погнал тьму вперед и

по верху лесной чащи, освещая живые синие деревья, кустарники, таинственные предметы, неизвестные днем, фигуру путевого обходчика, сторожащего путь в темноте и одиночестве. Сергей Семенович сыграл на рожке долгий, приветственный сигнал о готовности входа на разъезд и почтительно вытянул руку с фонарем навстречу механику паровоза, своему незнакомому другу, единственному человеку, который сейчас следит за ним, будучи доволен, что все благополучно и что его ожидают. «Шибко идет,— подумал Пучков,— музыку не услышишь... Нажимает, дьявол,— опоздал минуты на четыре». При замедленном ходе скорых поездов или «Полярной стрелы» Сергей Семенович успевал иногда расслышать радио или патефон, играющие в поезде. Несколько секунд он вслушивался тогда в мелодию, не обращая внимания на прочий шум, и успевал насладиться музыкой. Если же музыка не играла, Пучков был доволен и тем, что удавалось рассмотреть какое-либо незнакомое странное или прекрасное лицо человека, глядящего через окно на здешние чуждые ему леса; стрелочнику было безразлично, кто это был — мужчина, женщина или дитя,— и не важно, куда ехал тот человек, лишь бы лицо у него было интересное и непонятное. Изредка Пучков подымал на пути после прохода поезда какую-либо вещь, и долго смотрел на нее, и вникал в ее значение. Затем он воображал человека, которому эта вещь принадлежала, и успокаивался лишь тогда, когда ясно представлял себе в своей фантазии этого промчавшегося безызвестного пассажира. Благодаря пустой папиросной коробке, ключу для консервных банок или комку ваты Сергею Семеновичу приходилось думать о характере, лице и даже о цели жизни того человека, который только что миновал его в поезде...

Поезд безжалостно проработал стрелку и засосал весь воздух за собой. «Ого, из леса показался — опаздывал на четыре минуты, а на стрелке уже на три,— сообразил Сергей Семенович,— вот это нам полезно!»

Однако теперь, если будут так скоро ходить поезда, ни музыки из вагона сроду не услышишь, ни человека там не разглядишь. Вода из уборных раньше ручьем текла, а теперь мелкими брызгами, скорость хода рвет ее в острую пыль.

От этой мысли Сергей Семенович стал скучным на всю ночь. На разъезде нет ни театра, ни библиотеки, есть одна гармоника у дорожного мастера, но он приез-

жает на разъезд редко и часто забывает взять гармонию, хотя и обещал месткому возить ее с собой неразлучно и играть повсюду в красных уголках новый репертуар. Приезжал еще среди лета член Союза писателей и делал доклад о творческой дискуссии; Пучков тогда задал ему шестнадцать вопросов и взял в подарок книгу «Путешествие Марко Поло», а писатель потом уехал. Книга та была очень интересной; Сергей Семенович сразу начал ее читать с двадцать шестой страницы. Вначале писатели всегда только думают, и поэтому от них бывает скучно, самое интересное бывает в середине или в конце, и Пучков читал каждую книгу враздробь — то на странице номер пятьдесят, то двести четырнадцатой. И хотя все книги интересные, но так читать еще лучше и интересней, потому что приходится самому соображать про все, что пропустил, и сочинять на непонятном или нехорошем месте заново, как будто ты тоже писатель.

Ночью часа три не было ни одного поезда: где-то вышла задержка или авария. Стрелочник осмотрел еще раз и опробовал стрелку после прохода скорого поезда, потом зашел в будку, притворил дверь и сыграл для самого себя некоторые мотивы на сигнальном рожке. Но все это было неудовлетворительно: Сергею Семеновичу хотелось слушать мелодию в оркестре и смотреть зрелище в театре, чтобы иметь в душе понятие об истине жизни.

Утром к стрелочнику пришла жена, Катерина Васильевна.

— Давай я тебе стрелку приберу! — сказала она.— Может, внимание обратят. Теперь обращают: ты старайся...

— Ни к чему,— сказал Сергей Семенович,— скоро сменщик придет. Без тебя обойдется, субретка какая явилась...

— Какая я субретка! — со страстью воскликнула жена.— Тебе кто это слово сказал, вчерашний день ты не знал его, ты ночью тут водишься с кем-нибудь?!

Пучков немного испугался:

— Год назад я в книжке читал, королевская дочка была...

— Я знаю, знаю, какая дочка! — говорила жена.— А кто тут намедни младшую стрелочницу прямо на стрелке обнимал? Пришел кавалер, сел на балапс и женщину обнял!..

— Да ведь это не я был! — сказал Пучков.— Разве можно в урочное время...

— Я знаю, что не ты! — сообщила жена.— Разве я допущу, чтобы ты такими делами занимался, транспорт разваливал!

Катерина Васильевна взяла метлу и стала подметать междупутье за стрелкой, потом убрала всякий мелкий сор со стрелочного перевода и вытерла тряпкой крестовину и оба пера. Стрелка теперь была приятна, как утварь у чистоплотной старушки.

— А я нынче заявление буду писать, пусть в Медвежью Гору меня переведут,— сообщил Сергей Семенович жене.— Там станция большая, там театр есть, клуб, кино и развитие...

— Так я тебя и пустила! — воспротивилась Катерина Васильевна.— Разовьешься там, а я что буду делать? Теперь одежу хорошую продают, девки красивые стали, возьмешь и бросишь меня с семейством на Лобской Горе...

Сергей Семенович коснулся жены рукою и осторожно погладил ей темные, милые волосы на голове, чтобы она не горевала вперед.

— Не надо,— тихо отвела руку жена.— Увидит начальник с платформы, скажет — ишь человек нерадивый, неаккуратный какой... Придешь в избу, там и будешь гладить мою голову,— в избе ты забываешь...

Стрелочник уговаривал Катерину Васильевну:

— На Медвежьей Горе весело народу живется, там образование можно получить и на вид скорее попадешь!

Жена рассчитывала в уме все тайны, убытки и выгоды, как и что получится.

— А ты разве можешь стать знатным человеком всего транспорта? — спросила она.— Ты не можешь!

— Могу,— покорно ответил Сергей.

— Ну тогда ладно,— согласилась Катерина Васильевна.— Только я боюсь, что ты разлюбишь меня, а куда я с дочкой пойду, я уже пожилая, мне двадцать четыре года...

Она взяла пальцами пуговицы на груди мужа. Сергей Семенович потрогал в ответ жену за плечо.

— Не разлюблю,— произнес он,— у меня сердце маленькое, на одну тебя хватает. Ты начнешь учиться, тебе будет хорошо, ты станешь знаменитой и странной женщиной.

— А ведь тебе ездить далеко до Медвежьей Горы! — сказала Катерина Васильевна.— Ты уморишься!

— Я притерплюсь,— ответил Пучков.— На Медвежьей Горе хорошо, я люблю удовольствие.

Катерина Васильевна села на рельс и еще раз подумала: а будет ли что особенное на Медвежьей Горе?

— Ну, пиши прошение,— разрешила она.— Пусть надбавку на жалованье дают. Чернилами бумагу не закапай, всегда капаешь, а там подумают — ты неграмотный, и надбавку сбавят.

Сергей Семенович поглядел на жену и подумал: «Красивая она или нет? Волосы у нее черные, сама не старая, в общем — ничего».

Начальник разъезда не стал слишком задерживать Сергея Семеновича: пусть растет человек на большой станции, где есть театр, библиотека, интеллигенция, музыка; можно отказать человеку в лишнем рубле или в удобстве жизни, но в душевной нужде отказывать никому нельзя, иначе не станет ни человека, ни работника.

С тех пор стрелочник Пучков начал ездить дежурить на Медвежью Гору. И он не бывал в семействе по двое и по трое суток, потому что после очередного дежурства оставался смотреть представление или шел в библиотеку и там читал книги в культурном зале, с восхищением посматривая на портреты великих писателей; он читал книги с середины, с конца, перемежая страницы через одну и две, любым интересным способом, и наслаждался чужою высшей мыслью и собственным дополнительным воображением. Если ум его уставал, он выходил проветривать голову. Но снаружи, на улице, всегда где-нибудь играла музыка — либо гармония в рабочем общежитии, либо патефон из окна квартиры зажиточного служащего. И тогда Сергей Семенович подолгу застаивался на ногах или садился на местный камень и слушал игру полностью до конца, счастливый и готовый на подвиг.

Наконец, наработавшись, наслушавшись музыки, прочтя книги, Сергей Семенович являлся домой на Лобскую Гору, в избу, которая превращалась в корень дуба. Катерина Васильевна встречала его в тоске и в ревностной злобе; она была уверена, что муж ее явно любит другую, лучшую женщину, неизвестную ей прекрасную злодейку.

— Ты вот там удовольствие себе получаешь,— указывала жена,— а стрелка у тебя, должно быть, грязная стоит. Как же ты в люди выйдешь, когда ж нам жизнь полегчает! Лучше б ты век вековал на десятом разъезде, там бы я за тобой глядела...

Семен Кириллович, выслушав подобный разговор сына с невесткой, звал обыкновенно Сергея Семеновича на охоту — к животным и растениям: дитя всегда дорого, даже когда оно уже пожилое.

— Кто его знает: может, так и надо, чтоб бабы ругали нас постоянно,— рассуждал старик.— Они ведь людей рожают, они хозяйки человечества, им видней... А вот одного они боятся — это когда как шарахнешь что-нибудь в жизни, так либо ты герой, либо покойник. Вот им удивление-то! А так им ничего не страшно — это нет! Да и тебе пора бы уж стать чем-нибудь,— советовал отец сыну.

Старуха вздохнула и сказала мужу:

— Чем ему стать-то? Покойником, что ль?.. Гляжу я на тебя, старик, и думаю себе: где я девкой была, когда в женихи тебя выбирала!

— А ты мне измени! — советовал отец Сергея Семеновича.

— Да и придется! — соглашалась старуха.— Дай только тело наем: я ведь пышная, я статная была, я женщина хорошая... Бывало, как выйду на улицу, как топну ногой, так ваш брат и в тоску вдастся... Зря мой век прошел, я бы его снова прожила! Ух и прожила бы! А что мне тужить, я и теперь проживу как молодая, что у нас — иль власть-то не Советская...

На Медвежьей Горе Сергей Семенович работал еще более тщательно и задумчиво, чем на десятом разъезде. Здесь, на Медвежьей, было больше руководства, больше культурности, поэтому Пучков чувствовал себя еще более, чем прежде, скромно и застенчиво и от застенчивости увеличивал свое прилежание. Постоянно видя могучие паровозы, точные механизмы сигнализации, слушая гул скоростей тяжеловесных поездов, стрелочник чувствовал торжество своего разума, словно и он был тоже повинен во всей этой технической силе мира и во всей прелести ее. Втайне и неясно он улавливал соответствие или родство между музыкой, книгой и паровозом; ему казалось, что машины и музыка выдуманы одним сердцем, и это сердце было похоже на его собственное.

Начальник станции знал своего нового стрелочника давно, еще когда Пучков был мальчиком и ходил с ним на охоту. Он выдержал его небольшое время, а потом назначил старшим стрелочником. Теперь у Пучкова стало под рукою несколько стрелочных постов и младшие стрелочники на них. Не зная, как нужно начальствовать, Сергей Семенович стал сперва работать за всех: сам чистил каждую стрелку, сам заправлял ее смазкой и выходил встречать каждый поезд, не обращая внимания, что поезд уже встречает второй стрелочник. Пучков все равно следил лично: правильно ли стоит стрелка и хорошо ли она работает при движении. Младшие стрелочники дежурили в недоумении.

— Что ж ты, Сергей Семенович, нас за рабочий класс не считаешь? — говорили они.— Чего ты сам переводы мажешь, мы тоже здесь не в виде пустяка находимся.

— А вы можете так же делать, как я? — спросил их Пучков.

Один пожилой младший стрелочник ответил:

— Кто ее знает!.. Так же, как ты, едва ли: мы лучше будем делать.

— Я там погляжу,— сумрачно сказал Пучков.— Вы сюда только служить ходите, а я здесь живу и чувствую.

Много времени Сергей Семенович проверял работу своих младших людей и наконец увидел, что они делают все хорошо, но не лучше его самого. У них не было понятия, что машины и механизмы — это сироты, которых надо постоянно держать близ своей души, иначе не узнаешь, когда они дрожат и болеют, и не успеешь ничего сделать, пока в стрелке не раздастся треск и смерть.

Мать Сергея Семеновича, постоянно внушая мужу и сыну мысль о лучшей жизни, сама тоже постоянно заботилась, чтобы в избе было много пищи и добра.

Чуть освободившись от домашнего хозяйства, старуха сейчас же шла либо в лес за грибами и орехами, либо на озеро посмотреть, не прибило ли чего к берегу: сплавное бревно, мертвую испорченную рыбу или еще что-нибудь полезное. В то лето, как ее сын поступил на Медвежью Гору, погода была сухая и грибы не рожались, поэтому старая хозяйка стала заготавливать орехи. Она нашла дальний глухой орешник и ходила туда через день с большой кошелкой.

Ходить ей приходилось мимо лесной сторожки, в которой жил бессемейный старичок. Однажды, возвра-

щаясь с орехами ко двору, старуха увидела дым, выходящий из-под деревянной крыши. Старая хозяйка поставила на землю кошелку с орехами и пошла в сторожку. Но дверь в сени оказалась запертой на большой казенный замок — сторож, наверно, ушел в обход по участку. Старуха, не видя лучшего, взяла небольшую жердь, вдела ее под замок, между пробоями, и вывернула всю снасть. В сторожевой избе на полу костром горела сухая трава, сложенная в запас на растопку, а печь была только что истоплена и закрыта. Сторож-старик, наверно, сварил себе пищу и, когда загребал жар в печке, обронил уголек на пол, либо этот уголек прилип к горшку, а от горшка сам отвалился, когда горшок выставляли из печки.

Сторож ушел, а горячий уголь стал тлеть, согрел травяную сухую ветошь и поджег ее.

Мать Сергея Семеновича не испугалась пожара, она схватила по памяти ухват из-под печки, потому что в дыму ей плохо было видно, разворошила ухватом горящую траву по всей избе, чтобы пламя разделилось и ослабело, а затем затоптала огонь живьем,— благо, что башмаки на ней были старые и жалеть их нечего. Откашлявшись от дыма, старая хозяйка отыскала кружку, зачерпнула воды в кадке и в несколько раз залила водою последнее тление травы. Пол еще не успел заняться, он только обгорел.

Дождавшись сторожа, который вернулся из обхода вместе с помощником лесничего, старуха объяснила им, что тут случилось, и пошла к себе на Лобскую Гору. Дома она ничего не сказала и вскоре сама про себя уже перестала вспоминать про огонь в лесной избушке — ей и так много помнить приходилось, что было более необходимо. Но месяца через полтора — к осени — ее вызвали в контору лесничества и на дворе конторы со склада старой женщине выдали премию: патефон с двадцатью пластинками и вязаную кофту, а юбку обещали додать потом, когда будет получен суконный материал.

Семен Кириллович вдался в тоску, когда его старуха получила патефон и кофту. Он попробовал свои мускулы, погладил себе голову, содержащую, по его мнению, ум, и ощупал остальное тело, осталась ли еще в нем сила?.. А старуха ничего ему не сказала, она не похвасталась и не попрекнула его: что же, дескать, дела-то ведь вот какие на свете, а ты думал — все шутки!..

Старик вздохнул, взял ружье и пошел в лес стрельнуть что-нибудь.

— Ты куда? — окликнула его жена.— Опять по кустам ходить, одёжу рвать,— лучше б в кружкé где-нибудь учился... А то принесет белку или зайчишку — гляди, изобилие какое!

— Дай хоть я пойду кислородом-то подышу! — отзывался старик.— Я силы хочу прибавить, чтоб работать было способней...

— Каким таким кислородом? — с интересом удивлялась старуха.— Я вот сроду им не дышала, а гляди, какая вышла — ты мне теперь не под стать...

— Я старик отстающий! — соглашался Семен Кириллович.

— Отстающий? — спросила жена.— Вернись только с охоты без всего — я тебе отстану тогда! Ты хоть в лесу-то первым будь, там хищники живут.

Сын, вернувшись с Медвежьей Горы, тотчас же попросил мать завести патефон.

— Старые носят, а молодые просят! — тихо произнесла мать и завела веселую музыку на пластинке. Она уже знала, как действует механика в патефоне.

Катерина Васильевна пригорюнилась и засмотрелась на мужа.

— Ты чего? — спросил ее Сергей Семенович.

— Я-то ничего, а ты вот — неудельный! — сказала жена; она отвернулась лицом и заплакала: у людей и патефоны, и кофты, и мужья начальники, а у нее мало всего, одна изба, и то пополам со свекровью.

Она согнулась над колыбелью своей дочери и затихла в печали своей судьбы.

Сергей Семенович глядел в окно, в лес: убежать туда, что ли! Но ведь лес тоже вырубят когда-нибудь, а в человечестве жить теперь становится все более загадочно и хорошо. По железной дороге па платформах везут великие машины и дворцы в разобранном виде, в библиотеке толстые книги лежат, красивые люди едут мимо в поездах...

На следующее дежурство Сергей Семенович прочитал приказ начальника станции, что старший стрелочник товарищ Пучков повышается в зарплате и временно назначается сцепщиком, на дефицитную и ответственную профессию.

В тихий краткий день глубокой осени в тупиковом

пути шла погрузка шпал. Человек десять мужчин и женщин поднимались со шпалами по мосткам на платформы, складывали там шпалы и сходили вниз, чтобы опять брать груз на плечи.

На выход тупик поднимался круто в гору, на большой подъем; туда паровозам приходилось вывозить груженые платформы, работая песочницей и форсируя топку во весь сифон. Шесть человек, целая бригада, лежали под вагонами и дремали, не тратя сил на пустую жизнь, когда нечего делать. Для этой бригады еще не подали платформу, и люди ожидали работы.

Для них старался сейчас Пучков на станции. Он подогнал паровозом порожнюю платформу к спуску в тупик и велел машинисту остановиться: дальше платформа пойдет самоходом, а под уклоном сцепщик ее примет на башмак. Чтобы платформа не ушла, Сергей Семенович подложил под один колесный скат старую бесхозяйственную шпалу, которая лежала без назначения возле пути, и пошел снимать сцепную стяжку, чтобы освободить паровоз. Но платформа сильно отошла от паровоза и стяжка натянулась в струну, поэтому Пучков крикнул механику: «Нажми маленько!» Механик нажал, стяжка провисла, и Сергей Семенович легко сбросил ее со сцепного паровозного крюка.

Платформа потянула Пучкова от паровоза под уклон, сцепщик ухватил стяжку обеими руками, чтобы окоротить вагон, но шпала, подложенная под скат, хряпнула от хода колес, и железо стяжки начало жечь руки — вагон уже повис над уклоном, в конце которого шла погрузка. Однако Пучков уперся ногами в путевую рабочую шпалу, решив не жалеть кожу на руках,— она сейчас сгорит, а потом зарастет опять. У него загудели ноги от усилия в костях, его повезло волоком за вагоном, он сообразил, что пользы нет, и выпустил из рук сцепной прибор.

Внизу работали люди, — кто будет жить, с кем придется водиться, кто сыграет на музыке, если внизу вагон подавит насмерть людей?.. Пучков знал, что там есть и женщины, а они могут родить и тех, кто сумеет писать книги или будет хорош сам собою по сердцу и характеру, кто споет когда-нибудь неизвестную песню или вообразит в своем уме в будущем рябоватого стрелочника с Медвежьей Горы и скажет: жил давно один бедный человек на свете.

Сергей Семенович бежал рядом с разгоняющимся вагоном. Он подымал попутные доски и колья, бросал их под передний скат, но вагон сокрушал их с разгона и набирал скорость вперед. «Без них плохо станет на свете, их будут хоронить в гробах с цветами, страшная музыка заиграет!» — решал в уме судьбу нижних рабочих Пучков. Он схватил с балласта путевой железный лом и с точным прицелом всадил его между спиц бегущего вращающегося колеса в переднем скате. Лом развернулся в воздухе и свободным концом сбил Пучкова с ног, а затем поддел и подбросил уже беспамятного человека ко второму скату, так что Пучков ударился головой о буксу. На втором и третьем повороте колеса лом начал гнуться и корчиться, потому что он задевал свободным концом за балласт и за шпалы; согнувшись, он впился между шпалами в песок, а две спицы в колесе взял враспор, посинел на сгибе от напряжения, от температуры и удержал вагон на месте.

Пучков лежал на песке и слышал, как машинист сказал: «Пучкова зарезало!»

«Нет,— подумал Сергей Семенович.— Это неверно». И он встал, чтобы узнать, что случилось.

— Ты живой или как? — спросил у Пучкова механик.

— А ты? — спросил Сергей Семенович и почувствовал, что его правая рука вся холодная, точно к ней привязали лед, и он сосет из его тела тепло, доставая холодом до середины сердца.

— Поедем на паровозе,— сказал механик.

Однако Пучкову хотелось пить; он открыл кран в тендере паровоза, и оттуда полилась вода ему в рот, а кровь из его правой руки лилась в рукавицу и в пиджак с исподней стороны, она даже пробиралась по ноге за штанами до ступни ноги. Сергей Семенович заметил, что кровь течет безобразно, что он скоро может стать совсем пустым, и велел кочегару нести его правую руку на весу, чтоб она не вытекла вся на землю.

Потом принесли носилки и Пучкова положили на них для покоя. Сергей Семенович почувствовал, что с него трудно снимают сапоги, а правый сапог промок кровью, портянки разбухли и не дают сапогу сойти. «А в гробу засохнет и будет ногу жать!» — подумал Пучков и заснул, чтобы не знать своей смерти.

Отец, мать и жена пришли в больницу и стояли около Сергея Семеновича, а он их не замечал вокруг себя.

— Сереженька, что же это сделалось с тобою! — говорила мать.— Мы бы и так прожили, нам ничего не надо...

Проснулся Сергей Семенович не скоро. Кругом тихо и чисто, постель большая. Сергей Семенович не знал, есть у него правая рука или нет. Видит, что есть, лежит рядом с ним, но неизвестно — при нем ли она заодно или лежит отдельно. Он взял ее на испытание и пошевелил пальцами. Пальцы жили, значит, рука будет, а смерть давно прошла мимо.

Вскоре к нему пришли разные люди — начальник станции, парторг, жена Катерина Васильевна, фотограф, машинист, две женщины из тех, которые грузили шпалы в тупике; одна из этих женщин принесла Пучкову букет цветов и две жамки.

— Он здесь и так сыт,— сказала Катерина Васильевна тем женщинам,— чего вы напрасно свои деньги тратите и больного тревожите!

Женщины застеснялись и ушли.

После больницы правая рука у Сергея Семеновича действовала не вполне и слабо.

— Окалечился теперь! — говорили ему семейные.— Чем работать будешь?

— Головой научусь! — отвечал Пучков и смотрел через окно в лес.

Но жена и мать относились к нему все же ласково и хорошо. Сельсовет и железнодорожная власть дали Пучкову денег тысячу рублей и назначили пенсию на всю жизнь.

Начальник станции через каждые три-четыре дня приходил в гости к Пучкову на Лобскую Гору и готовил его учиться на дежурного по станции. А один раз на Лобскую Гору поднялся автомобиль, и к Сергею Семеновичу приехали сразу шестеро людей, которые привезли ему телеграмму из Москвы с поздравлением, что ему полагается получить орден.

Пучков не спал две ночи от сильного течения мысли, пока на третьи сутки опять не пришел за шестнадцать километров начальник станции. Но он не стал заниматься с ним наукой об эксплуатации железных дорог, а сказал только: «Давай собирайся, мы поедем в Москву». Сергей Семенович не стал ничего есть, выпил лишь стакан молока, поцеловал на дворе жену и дочь и отпра-

вился. Катерина Васильевна заплакала, она подумала, что муж теперь разлюбит ее и не вернется, а дочь ничего еще не понимала, она только прижалась к отцу на прощание.

В следующие новые дни Катерина Васильевна сильно тосковала на Лобской Горе по мужу и часто плакала по нем, пряча свое горе от свекора и свекрови. «Он там парашютистку полюбит! — думала она.— Ведь они летают, у них личики, говорят, такие хорошие. А может, его сам народный комиссар при себе оставит, где я тогда буду?» Но, вспомнив, что у мужа рука-то правая почти не действует, жена утешалась: калеку едва ли кто полюбит, теперь барышни хитрые. Хотя, что же, рука ведь у него цельная, да и заживет она еще...

Сергей Семенович вернулся через месяц. Он был в черном суконном костюме, весь спокойный, точно чужой человек, и его привезли в деревню на автомобиле. Жена села перед ним на лавку и ощупала руками его самого и материал, который был одет на муже.

— Хорошо там? — спросила она.

— Хорошо! — сказал Сергей Семенович.— Я там американку видел в метро: она коричневая.

— А красивая? — спросила жена.

— Так себе! — ответил муж.

— Ты кто же теперь? — пытала Катерина Васильевна.— Начальник?

— Стрелочник старший... Начальники ученые, а я нет.

Он вынул орден в коробке и показал жене. Катерина Васильевна орден взяла и спрятала в сундук.

— Я носить его должен, зачем ты прячешь? — сказал Сергей Семенович.

Жена отдала ему обратно пустую коробку:

— А ты коробку будешь показывать! Перед кем тебе орденом хвастаться,— мы и так знаем, а другие пусть не завидуют...

Пришла мать с дочкой. Сергей Семенович взял девочку к себе на руки, чтобы поласкать ребенка и дать матери свободу поплакать от радости.

— Что ж ты один костюм-то привез? — сказала мать, управившись со слезами.— Ты бы хоть два: себе и отцу...

— Я один только взял. Два ведь не наденешь, надо один износить сначала.

Мать его села на пол, а жена на сундук.

— А патефонов сколько тебе давали? — жалобно спросила старуха.

— Хотели один подарить, да я не взял, у нас же есть, тебе дали в премию.

— А часы ручные? — томилась старая мать.

— Тоже давали... А зачем они — дома у нас ходики идут, а на работе я по поездам время знаю, теперь график!

Мать и жена заплакали, а Сергей Семенович завел патефон, чтобы занять свою дочку музыкой и самому послушать.

— А отец где? — спросил он у домашних.

— В лесу пистоны тратит! — равнодушно среди слез ответила мать.

Сергей Семенович усадил ребенка на колени жены, вынул чистый платок и вытер Катерине Васильевне лицо.

— Не плачь! — сказал он.— Я тебе восемьсот граммов московских конфет привез и библиотеку начинающего читателя!

Катерина Васильевна перестала плакать и с удивлением поглядела на мужа: кто он такой у нее?.. Сергей Семенович застенчиво и грустно смотрел на жену. Он словно желал что-то сказать Катерине Васильевне, но затруднялся или стыдился и лишь положил ей свою руку на голову и погладил ее волосы.

СВЕЖАЯ ВОДА ИЗ КОЛОДЦА

Инспектор гидротехнических работ инженер Иван Николаевич Переверзев пробыл у нас четыре дня. Он сам исследовал все ложе будущего степного водоема; мы вырыли для него добавочно двадцать разведочных шурфов, и Переверзев установил, что водоупорные глины малонадежны и расчленены супесочными огрехами. Особенно опечалила Переверзева слабость природных грунтов вблизи плотины; он предвидел возможность фильтрации воды под тело плотины, ниже заложения ее замка; инженер понимал, что, когда на грунт будет нагружен тяжкий вес воды, плотина может осесть.

Нашему прорабу была поставлена задача: ему приказали усилить грунты в ложе пруда, чтобы предупредить поглощение вод сухими песками. Для того нужно было обнажить всюду размытые породы, а затем заделать эти места пластами уплотненной глины.

Прораб сказал нам, что для усиления грунтов в ложе водоема надобно столько же сделать работы, сколько было сделано для постройки всего тела плотины, и даже немного больше.

— А нужно ли так? — спросил Зенин, пожилой землекоп.— И без того вода со степи почву моет. Она наносов натащит, всю слабость в земле покроет, а потом еще земля заилится, и сквозь нее много не просочится... Я природу знаю!

— Мало ли что! Прежде так и работали,— сказал прораб.— Я сам так работал. А Иван Николаевич говорит: «Нет, нам нужно, чтобы с первого лета пруд был полон, нам каждая капля дорога, а под плотину чтоб и слеза не прошла». А у меня всех мастеров осталось вы да каменщики. Ну, каменщикам на водосливе дела хватит, а уж вашей бригаде придется постараться. Либо людей надо добавить...

— Старания тут мало,— сказал бригадир землекопов Бурлаков.— На эту работу надо сто человек поставить, а нас восьмеро...

Бурлаков задумался; он думал, что невозможно сделать такую работу в восемь рук, и понимал, что нужно ее сделать. Но его уже тянуло к семейству, он обещал жене вернуться к уборке урожая, а теперь, выходит, он будет дома лишь по первому снегу.

Он поглядел на своих людей: они сделали много за лето, и они утомились, ныне же требуется от них столько работы, что прежний их труд является лишь малым делом.

— Тяжело будет,— сказал он.— Ну, а раз начнем, то и закончим.

— А вдруг да не справитесь и не закончите под снег? — встревоженно сказал прораб.— Лучше я затребую тогда добавочную силу через район...

— Кого потребуешь? Землекопов? — спросил Зенин.— Откуда вам их дадут, из какой области-губернии? Везде же работа идет... Чего зря говорить!

— Ну а чего делать?

— Как чего? Работать будем! — ответил Бурлаков прорабу.

— А рук же мало, как тут быть?..

Здесь объявился молчавший Альвин.

— Так и быть, чтобы лучше было,— сказал он.— Работа большая, а мы ее начнем делать — и сами из маленьких большими станем.

Прораб недовольно поглядел на Альвина.

— Чего ты, Георгий? — обратился он к Альвину.— Ты знаешь, сколько кубометров придется на каждую душу?

— Это я понимаю, я сосчитал... Так мы же не без сознания станем работать... Мы не без смысла живем!..

— Без смысла не надо, помрешь,— сказал Сазонов, самый молодой в нашей бригаде.— Без смысла силы нету — чего сделаешь?..

Бурлаков разделил свою бригаду на группы по два человека и перед каждой группой поставил рабочую задачу. Альвин и Сазонов стали работать вместе. Они устроили себе в долине балки шалаш из тальника и стеблей полыни и поселились в нем, чтобы проживать ближе к работе: участок их работы находился далеко, километра за два от нашего общего жилища.

И вскоре, всего через неделю, в бригаде стало известно, что Альвин начал выполнять в сутки четыре нормы, вдвое больше, чем работал сам бригадир Бурлаков, и больше любого из нас. Мы приходили к Альвину смотреть, как он работает, и учиться у него, но он работал обыкновенно, как мы все умели, может быть, лишь немного скорее, и мы не могли понять его тайны. В работе у него было на лице постоянно доброе выражение, словно

он хотел улыбнуться, и вся его худая фигура означала во время работы внимание к земле, будто он видел в ней образ милого ему человека.

На наши вопросы он отвечал правду, и мы сами понимали, что он говорит точно как есть и большего сказать ему нечего.

— Ты что же, трамбуешь достаточно? — спрашивал его сам Бурлаков.— Может, рыхло?

— Попробуй! — отвечал ему Альвин.

Бурлаков пробовал глиняный пласт лопатой.

— Нет, ничего,— говорил он.— Так хватит.

— Чудно́! — высказывался старый Зенин.— Не верю!

Бурлаков серчал на Зенина:

— Чему ты не веришь?.. Я же сам обмеры делаю! Мне ты не веришь?..

Однако спустя еще немного времени Альвин стал работать три нормы, а затем вдруг всего две с половиной; напарник же его Семен Сазонов почти каждый день давал две с четвертью нормы. И так было три дня, а потом Альвин сразу сработал четыре с половиной нормы, и менее того Бурлаков у него не замерял. Мы все заинтересовались, отчего так было у Альвина, что ушла от него на время выработка,— заболел он или настроение у него переменилось на плохое. Бурлаков вначале молчал, будто скрывал что-то по своей скромности, потом улыбнулся нам, кто спрашивал его, и сказал:

— Он на круг все три дня по пять норм выполнял! Сазонов Семен три дня не работал и в курене лежал — вода у него неважная, у малого живот болел,— а Альвин Егор показывал его работающим и его две с четвертью нормы сам делал.

Бурлаков вздохнул и отвел от нас глаза в землю, словно стыдясь чего-то — сам за себя или за всех нас.

— А кто им пищу готовит? — спросил Зенин.— У нас вот штатная кухарка, а они свою долю харчей сырьем взяли. Кто им там питание варит? Может, сверх штата кто приходит?

— Сам Егор Альвин готовит, кто же еще! — сказал Бурлаков.

— А это... а кто к ним в гости из совхоза ходит? Я допускаю, что ходит кто-нибудь на помощь.

— Может, ты хочешь узнать еще, кто спит за них, когда они при луне глину из карьера берут?

— Нет, чего мне, я так говорю, я не со зла,— недо-

вольно сказал Зенин.— Пускай у него, у этого товарища Альвина, дух есть, так сила-то в руках у него из каши берется, а каши у нас с ним одна порция. Где тут закон природы? Не вижу!

— И коровы похожи,— сказала здесь наша кухарка, старуха Прасковья Даниловна,— и корм ровно едят, а молоко разное.

— Так то коровы! — воскликнул Зенин.— А тут люди...

— У тебя одно нутрё, а у Альвина другое,— объяснила Прасковья Даниловна и ухмыльнулась умным, спокойным лицом.

— Нутрё! — проворчал Зенин.— Что я тебе, печенка?

— Не серчай. И у тебя душа,— произнесла наша кухарка,— да скорлупа толстая.

Вскоре Прасковья Даниловна, с согласья Бурлакова, стала готовить для Альвина и Сазонова пищу в артельном хозяйстве и сама ее носила им два раза в сутки; она хотела, чтобы Альвину и Сазонову легче стало жить и чтобы они лучше кормились: мужики сами себе плохо стряпают. Прасковья Даниловна укутывала оба горшка с обедом в свой теплый платок, и два землекопа ели теперь обед всегда горячим.

Время шло далее. Сазонов и Альвин заделывали в балке обнаженные пески и разрушенные покровы, вновь создавая тем древнюю целость природы.

Альвин работал все лучше и лучше. Он выбирал в карьере самую хорошую, увлажненную, прохладную глину, выкапывая ее из глубины разреза, грузил ее на тачку и привозил к месту работы. Такая глина способнее уминалась и трамбовалась, она хороша была в деле и давала прочное срастание с грунтом. Альвин любил земное вещество; хороня глину в углубление, укладывая ее на песчаную постель, он думал о ней и говорил ей про себя: «Покойся. Тебе там лучше будет, ты будешь цела и полезна, тебя не размоет вода, не иссушит и не выкрошит ветер», — точно он хотел объяснить глиняному грунту его положение и просил его перетерпеть временную боль, причиняемую работой человека. Разбивая трамбовкой глиняные комья, он успевал с сожалением посмотреть на каждый из них и запомнить их в отдельности, на что тот был похож. «Нельзя тебе быть таким, как нечеловек, ты

будешь другим,— решал Альвин и глядел затем на Семена Сазонова или вспоминал другого, близкого и дорогого человека,— это ради них тревожу глиняную землю, потому что я их люблю больше, но глина тоже добрая, и мы все вместе живем». Речь Альвина про себя и та речь, которую он говорил вслух, для других людей, отличались между собою; это происходило потому, что речь про себя, в сущности, не имеет слов и является лишь движением чувства, понятным и достаточным для одного того, кто переживает его.

Везя пустую тачку снова в карьер, Альвин размышлял: «Та глина, какую я сейчас увижу там, она будет уже не похожа на ту, что я отвез, она другая будет»; его это интересовало. Подымаясь по взгорью к карьеру, выше уреза воды будущего озера, Альвин внимательно разглядывал и попутные былинки, и пролетающих бабочек, и все, что живо было и существовало на его пути. «Скоро вас всех тут больше будет,— радовался он,— всего будет больше — и трав, и бабочек, и червей; здесь наполнится озеро, земля станет рожать от влаги, тогда для всех хватит пропитания». Для Альвина ничто не было безжизненным, он имел отношение к каждому предмету, к любому живому творению и не знал равнодушия; если же он видел чужое равнодушие или расчетливое самоуспокоение, то легко приходил в ожесточение, и в этом его ожесточении было, возможно, смутное желание вывести равнодушного человека из его скупого оцепенения, чтобы он увидел не видимое им — людей и природу в их истине, прелести и в их усилии к будущему времени — и соединился с ними своим сердцем и своей силой; в чувстве жестокости Альвина более всего было печали и нетерпения; так, наблюдая в одиночестве прекрасное лицо или неодушевленную красоту мира, мы испытываем горестное сожаление, что никто другой не видит сейчас того же и не разделяет своим чувством нашей радости, тем самым уменьшая ее и как бы обижая нас.

Более всякой другой работы Альвину нравился простой труд с лопатой: он верил и знал, что этот труд оживляет землю, подобно пахоте крестьянина, равно и плуг крестьянина, и лопата землекопа обращают омертвевший грунт в источник жизни для хлебной нивы или сада и через них в конце концов в питание и в дух человека,— и высший долг однажды рожденного человека был ясен ему. Поэтому Альвин с увлечением копал землю, словно

рождая каждый перевернутый пласт для осмысленного существования, и внимательно разглядывал его, провожая в будущую бессмертную жизнь. Он мог работать почти непрерывно, не переводя духа, не делая кратких остановок для отдыха, как поступают почти все рабочие, сами того не замечая. Ему не нужно было отдыхать в рабочее время, потому что усталость не могла одолеть его удовлетворения от работы; может быть, труд и не был для него работой, а был близким отношением к людям, деятельным сочувствием их счастью, что и его самого делало счастливым, а от счастья нельзя утомиться. И от этого чувства он глядел на землю сияющими глазами, в то время как пот на его рубашке проступал насквозь, просыхал от ветра и вновь проступал. Вечером он с сожалением думал о минувшем дне и не хотел спать, но наступала ночь, он ложился на траву в шалаше, укрывался своим старым пальто, и сладок был его сон.

Утром, еще на рассвете, приходила Прасковья Даниловна; она приносила на завтрак кулеш, горячую картошку и хлеб. Она спешила скорее обратно, но Сазонов обыкновенно задерживал ее своими вопросами.

— А отчего ты не замужем, Прасковья Даниловна? Ты пожилая уже.

— А я, сынок, вдовица.

— Вдовица? А дети где? Нету?

— Как так нету? И дети были. Которые выросли, которые померли...

— А сколько детей? Много?

— Да четырнадцать было, четырнадцать душ всего родила...

— Ого, сколько! Это много по количеству!

— Да не так чтоб уж много — у людей и больше бывает,— а на чужой-то взгляд много.

— А отчего ты много рожала? По новым людям, что ль, скучала?

— Да нет, чего я скучала? Я не скучала! А надобно так было...

— Надобно? А мне вот постное масло надобно. Принеси мне на обед чего-нибудь с постным маслом. Изжарь!

— Так это можно,— соглашалась Прасковья Даниловна.— Я тебе картошек напеку, а хлеб ломтиками парежу да в масле его обжарю, хлеб весь и пропитается...

— Неси, я буду кушать... Мне харчи нужны, а то работы много, и мне думать надо...

Днем Сазонов старался работать вослед Альвину, но поспеть за ним не мог, выработка его была всегда меньше. Что-то мешало ему — неправильное размышление или внутренняя жизнь, которая не соединялась целиком с общей жизнью народа посредством труда.

Стоя во впадине земли, они чувствовали запах созревших хлебов и степных трав, приносимый к ним волнами теплого воздуха, и это кроткое благоухание живого покрова земли смешивалось с запахом открытого грунта и пота работающих людей, и они дышали этих запахом травы, земли и труженика-человека, соединенным в одно живое родство.

Так, должно быть, и над всей нашей родиной волнуется ветром это благоухание жизни — воздух трав и пшеничных нив, запах человеческого пота и тонкого газа трепещущих в напряжении машин.

В обед к ним явился Бурлаков. Он сказал, что у него в бригаде от плохой воды заболели двое людей — Зенин и Тиунов; это жалко, а если еще заболеют люди, то вовсе некому станет работать, тогда и в год нам не выполнить задачу.

— Придется отрыть шахтный колодезь,— сказал Бурлаков.— Нельзя людей жижкой из ямки поить.

— Да, невозможно, там микроб! — согласился Сазонов.

Бурлаков покурил, обмерил работу, что сделали Альвин и Сазонов, и решил, как надо устроить дело. Нужно поставить на рытье колодца Сазонова и Киреева, Альвин же останется один на своем участке,— это плохо, конечно, а лучше сделать — людей нету; но из плохого положения можно тоже хорошее сделать, это смотря как взяться за работу.

Бурлаков до вечера остался на участке Альвина, они работали втроем. Бурлаков остался ради Альвина: он хотел в точности изучить все приемы Альвина, как он работает и отчего дает большую выработку. Бурлаков не мешал Альвину своим наблюдением, он смотрел на Альвина редко и незаметно, но тогда, когда именно нужно; как старый рабочий человек, он понимал, что в каждом труде есть сокровенный смысл, тайное, личное отношение ра-

бочего человека к своему делу, и нельзя бесстыдно подсматривать за работающим — это и самому будет совестно.

Бурлаков считал в уме скорость, с которой Альвин катит тачку в карьер за глиной, время нагрузки тачки и скорость возвращения Альвина с грузом. Бурлаков высчитал и число ударов в минуту трамбовки в руках Альвина, и на сколько сантиметров он подымает трамбовку над грунтом, с какой живой силой он бьет ею, а также как он дышит и много ли потеет или работает сухим. Заметив, что Альвин работает без фуражки, а ворот у него расстегнут вовсе, Бурлаков и это принял во внимание. Он знал цену точности и кажущемуся пустяку — в них бывает решение вопроса.

Под вечер Бурлаков присел на минуту поодаль от Альвина; он закурил и для виду переобул одну ногу. Альвин в тот час вскрывал лопатой слабый грунт, прикрывавший пески. Бурлаков же хотел издали поглядеть незаметно в лицо Альвина, какое у него выражение: устал вовсе человек или чувствует себя еще терпимо и душа его добра? И Бурлаков увидел на лице Альвина слабую улыбку и внимательные блестящие глаза, смотревшие в землю. Бурлаков вспомнил, что он видел такие же лица у людей, читающих большие книги, волнующие их, спокойно-счастливые лица. «Всего его не сосчитаешь,— подумал Бурлаков.— Вот что сейчас в нем есть, этого мне, должно быть, как раз и не хватает. А, ничего! Я другим возьму: у меня под лопатой тоже пар пойдет из земли, а рубашка сухая будет!»

На следующий день Альвин работал один. Семен Сазонов ушел с утра рыть колодезь, и там, на месте работы, он должен остаться ночевать вместе с Киреевым, потому что колодезь рыли довольно далеко; колодезь определили туда, чтобы он и после окончания работ сохранился для будущего поселения на берегу озера.

И странно вдруг стало Альвину работать и жить одному; обыкновенно всегда вблизи него работал человек, и хотя о нем не думалось, но чувство к нему было, чувство одинаковой участи и удовлетворенной совести: если ты работаешь и тебе трудно, то и мне трудно, я тоже с тобой здесь. Так же чувствовал и другой человек, и обоим было легче.

Альвин обрадовался, когда Прасковья Даниловна пришла с обедом; есть ему хотелось мало, но ему необходимо

было побыть немного с человеком, поговорить с ним о чем-нибудь, увидеть хотя бы в чужом лице то, что привязывает его к жизни и питает его веру в нее.

— Отсюда пойдешь Семена кормить? — спросил за обедом Альвин у Прасковьи Даниловны.

— А то кого же! Его да Киреева еще Тимошку...

— Ступай корми их... Ты бы сначала к ним ходила...

— Жуй, жуй, не глотай! Успеется... И их накормлю, и ты поешь. Не спеши!

Вечером к Альвину приходил Бурлаков. Его все более волновала тайна работы Егора Альвина; его сердце уже не могло терпеть, чтобы он не узнал, почему выработка у Альвина больше, чем у него, и чтобы он не сумел сработать столько же и даже больше. Бурлаков все время, все эти дни, чувствовал в себе мучение стыда; он уже хотел отказаться от бригадирства — пусть теперь бригадиром будет Альвин, но прораб велел ему остаться как он был, на своей должности.

Измерив способы и приемы работы Альвина, Бурлаков в точности повторил их, даже рукоятку к своей лопате он приделал подлиннее, как у Альвина,— и только уморился больше, а сделал земли, как и в прежний день, без прибавки. «Что за черт в мешке!» — подумал Бурлаков и пошел к Альвину.

— Может, скажешь? — попросил Бурлаков.— Приспособление, что ль, у тебя какое есть?

Альвин улыбнулся.

— Что ты, Николай Степанович, глупость говоришь! Неужели ты вправду так думаешь?

Бурлакову стало неловко.

— А ты не обижайся, Егор Егорыч, и глупость по причине бывает. Дело большое, узнать охота...

— Чего узнать? — грустно сказал Альвин.

Он посмотрел в темную степь и в звездное небо над землей; на небе он нашел одну звезду, на которую он смотрел каждую ночь на фронте, когда эта звезда была видна.

— Чего тебе узнать от меня? Я знаю, что все знают...

— Не ровно, видно, знание. У тебя сегодня шесть норм, а по бригаде на круг по три, у меня четыре. Скоро осень, а у нас тихий ход... Ты на скорость, что ль, берешь, без передышки? Так значит, сердце у тебя сильное, оно терпеть может.

Альвину скучно стало рассуждение, он хотел сказать, что был ранен в грудь, но промолчал: не об этом его спрашивал Бурлаков. На небе взошла невысокая, убывающая луна, и земля осветилась кротким светом.

Альвин поднялся и взял лопату.

— Ты куда? — спросил его Бурлаков.

— Землю работать... Пойдем и ты, Николай Степанович. Я завтрашний день хочу сегодня начать.

Бурлаков без охоты взял вторую лопату и молча пошел за Альвиным. Бурлаков стал возить глину, а Альвин трамбовал ее.

После полуночи они попрощались. Альвин увидел, что Бурлаков был усталый, но повеселевший.

— В работе лучше всего,— смущенно и тихо произнес Альвин,— будто со всем народом и с природой говоришь. Мне, бывало, всегда кажется так.

— А что тебе кажется? Что тебе народ говорит?

— Слов не слышно. Это не такой разговор.

— А ты ему?

— Я ничего не говорю. Я люблю его. Сказать нечего и нехорошо, работаешь — и все.

Бурлаков удивленно смотрел на Альвина; медленно шла его мысль, чувство же в его сердце действовало скорее мысли. Он обнял Альвина, постоял так немного, как брат, вблизи человека, потом ушел ночевать к остальным своим людям.

Альвин остался один. Его звезда на небе зашла за горизонт, она светила сейчас другим, невидимым людям, а не погасла.

Альвин уснул и был разбужен криком человека на заре. К нему прибежал Киреев; он сказал, что Семен Сазонов задохнулся в колодезной шахте почвенным газом, Киреев его вытащил, но Сазонов лежит на земле плохой и дышит тяжко, отдышится или нет — никто не знает, он может умереть. Альвин побежал с Киреевым на колодезь; с дороги Альвин велел Кирееву поспешить в барак — там есть аптечка, пусть он принесет ее.

Альвин прибежал один на постройку колодца. Возле холма вырытой земли, на прохладной, росистой траве, лежал Сазонов лицом к восходу солнца. Глаза его побелели и были полуоткрыты, выражение их было равнодушным; дышал он жадно, но редко и неровно, словно он то

забывал, то вновь вспоминал, что надо дышать, и пальцы рук его шевелились, слабо хватая землю в беспомощном страдании. Альвин начал помогать Сазонову чем мог и о чем сумел догадаться: он стал равномерно махать над лицом Сазонова своим пиджаком, чтобы увеличить ветром приток свежего воздуха изнемогающему человеку.

Вскоре Сазонова затошнило. Альвин снял свою исподнюю рубашку и осторожно вытер лицо больного; пошевелить его он боялся. Затем Альвин смочил платок травяной росою и освежил рот и лоб Сазонова. Подумав, что еще надо сделать, Альвин склонился к Сазонову, он стал перед ним на колени и увидел, как быстро бледнеет его лицо; невидимая едкая сила изнутри испивала его жизнь и осушала кровь. Тогда Альвин поцеловал товарища в лоб и, не думая более, полезно это или вредно, обхватил Семена, поднялся с ним и прижал его к себе. Альвин испугался, что Сазонов сейчас умрет, что он уйдет от него неизвестно куда, и держал его близко при себе, не чувствуя его тяжести.

Альвин позвал его:

— Семен, Семен, ты дыши глубже, ты очнись... Что ты, Семен! Зачем же я тогда без тебя?..

Альвин не знал, что нужно сказать ему и что делать. Он сел на землю, осторожно положил Семена возле себя, взял голову его в свои руки и прижал ее к своему животу, чтобы она не остывала более. Молодое белое лицо обращено было к Георгию Альвину, безмолвны были теперь открытые, постоянно вопрошавшие уста Сазонова, и черты его медленно превращались из юных в детские и в младенческие, приобретая первоначальный, кроткий и важный образ, исполненный покоя и достоинства. И горе, подобно воплю матери по умершему сыну, прошло через сердце Альвина, и он, не сознавая, что делает, коснулся своим ртом побледневших уст Сазонова и стал дышать его дыханием, чтобы отравленный газ скорее вышел из умирающего.

Альвин прежде мало думал над тем, кто был сам по себе Семен Сазонов и какое он имеет значение для всех людей. А теперь Георгий Альвин вздрогнул перед бледным лицом юноши: он увидел в нем неузнаваемые, затаенные черты того прекрасного человека, который был ему необходим. Альвину стало страшно, что со смертью Сазонова уменьшится весь смысл жизни на земле и

руки его ослабеют для работы... Сазонов по-прежнему дремал в предсмертном сне, и Альвин заплакал над ним.

Бурлаков издали окликнул Альвина, он бежал сюда вместе с Киреевым.

— Ну, как там Семен? Жив еще? Не упускай, не упускай его!.. Я иду!

Бурлаков оказал Сазонову помощь из ящика с аптекой, однако неизвестно, что помогло Семену: должно быть, его сила в теле, взятая для жизни еще от матери.

Сазонов очнулся и спросил:

— Это что — смерть была?

Бурлаков довольно улыбнулся:

— Видал? Интересуется! Значит, отдышится и жив будет.

— Буду,— слабо сказал Семен.— Мне надо!

Альвин опустился в колодезную шахту, чтобы проверить ее. Шахта уже освежилась от газа, в ней можно было работать, и Альвин остался в ней; к вечеру вместе с Киреевым он закончил ее углубление до грунтовой воды и там напился первым прохладной, чистой влаги...

День этот прошел, и мы его забыли. Время склонилось к осени. Бурлаков торопил работу, он сам не жалел себя и серчал на других, кто не успевал. Серчая, Бурлаков иногда сам работал за слабодушного и записывал свою землю в его выработку. Это приводило совесть людей в содрогание, и Киреев однажды плакал ночью по тому случаю, что Бурлаков приписал ему полторы нормы из своей выработки.

Осенью и самый слабый или равнодушный человек в нашей бригаде стал работать лучше, и менее трех норм уже никто не работал. Альвин же и Бурлаков работали одинаково по шести норм, но бывало, что делали и больше. Люди в бригаде говорили в шутку, что в колодце откопали счастливую сладкую воду и от нее идет добавочная сила.

Когда в первый раз Бурлаков сделал земли больше Альвина, то Альвин попросил его:

— Скажи, Николай Степанович...

— Чего тебе сказать? — улыбнулся Бурлаков, понимая Альвина.— И Зенин сегодня три с четвертью дал. Настраиваются помаленьку люди, воду из чистого колодца пьют...

— Нет, ты скажи: какое у тебя приспособление? А то я от тебя отстаю... Чего-то у меня не хватает, значит, в душе, а у тебя лишнее есть.

— Ишь ты, чего хочешь! Может, с тебя это и пошло... Я думал, ты сегодня слаб будешь, и я за тебя постарался. Поясница, правда, болит, так это пройдет...

— Пройдет,— сказал Альвин.— Так, значит, ты тоже приспособление себе сделал?

— Сделал! — засмеялся Бурлаков.— Сам чувствую, есть что-то, а сказать — не знаю. И ты ведь молчал! У каждого, дорогой, своя душа, а свежую воду мы все пьем из одного колодца.

(1937—1939)

МАТЬ

(Взыскание погибших)

«Из бездны взываю»,
Слова мертвых

Мать вернулась в свой дом. Она скиталась, убежав от немцев, но она нигде не могла жить, кроме родного места, и вернулась домой.

Она два раза прошла промежуточными полями мимо немецких укреплений, потому что фронт здесь был неровный, а она шла прямой, ближней дорогой. Она не имела страха и не остерегалась никого, и враги ее не повредили. Она шла по полям, тоскующая, простоволосая, со смутным, точно ослепшим, лицом. И ей было все равно, что сейчас есть на свете и что совершается в нем, и ничто в мире не могло ее ни потревожить, ни обрадовать, потому что горе ее было вечным и печаль неутолимой — мать утратила мертвыми всех своих детей. Она была теперь столь слаба и равнодушна ко всему свету, что шла по дороге подобно усохшей былинке, несомой ветром, и казалось, ее влечет вперед лишь ветер, уныло бредущий по дороге ей вслед. Ей было необходимо увидеть свой дом, где она прожила жизнь, и место, где в битве и казни скончались ее дети.

На своем пути она встречала врагов, но они не тронули эту старую женщину; им было странно видеть столь горестную старуху; они ужаснулись вида человечности на ее лице, и они оставили ее без внимания, чтобы она умерла сама по себе. В жизни бывает этот смутный отчужденный свет на лицах людей, пугающий зверя и враждебного человека, и таких людей никому непосильно погубить, и к ним невозможно приблизиться. Зверь и человек охотнее сражаются с подобными себе, но неподобных он оставляет в стороне, боясь испугаться их и быть побежденным неизвестной силой.

Пройдя сквозь войну, старая мать вернулась домой. Но родное место ее теперь было пустым. Маленький бедный дом на одно семейство, обмазанный глиной, выкрашенный желтой краской, с кирпичною печной трубой, похожей на задумавшуюся голову человека, давно погорел от немецкого огня и оставил после себя угли, уже порастающие травой могильного погребения. И все соседние

жилые места, весь этот старый город тоже умер, и стало всюду вокруг светло и грустно, и видно далеко окрест по умолкшей земле. Еще пройдет немного времени, и место жизни людей зарастет свободной травой, его задуют ветры, сровняют дождевые потоки, и тогда не останется следа человека, а все мученье его существованья на земле некому будет понять и унаследовать в добро и поучение на будущее время, потому что не станет в живых никого. И мать вздохнула от этой последней своей думы и от боли в сердце за беспамятную погибающую жизнь. Но сердце ее было добрым, и от любви к погибшим оно захотело жить за всех умерших, чтобы исполнить их волю, которую они унесли с собой в могилу.

Мать села посреди остывшего пожарища и стала перебирать руками прах своего жилища. Она знала свою долю, знала, что ей пора умирать, но душа ее не смирялась с этой долей, потому что если она умрет, то где сохранится память о ее детях и кто их сбережет в своей любви, когда ее сердце тоже перестанет дышать?

Мать того не знала, и она думала одна. К ней подошла соседка, Евдокия Петровна, молодая женщина, миловидная и полная прежде, а теперь ослабевшая, тихая и равнодушная; двоих малолетних детей ее убило бомбой, когда она уходила с ними из города, а муж пропал без вести на земляных работах, и она вернулась обратно, чтобы схоронить детей и дожить свое время на мертвом месте.

— Здравствуйте, Мария Васильевна,— произнесла Евдокия Петровна.

— Это ты, Дуня,— сказала ей Мария Васильевна.— Садись со мной, давай с тобой разговор разговаривать. Поищи у меня в голове, я давно не мылась.

Дуня с покорностью села рядом; Мария Васильевна положила ей голову на колени, и соседка стала искать у нее в голове. Обеим теперь было легче за этим занятием; одна старательно работала, а другая прильнула к ней и задремала в покое от близости знакомого человека.

— Твои-то все померли? — спросила Мария Васильевна.

— Все,— ответила Дуня.— И твои все?

— Все, никого нету,— сказала Мария Васильевна.

— У нас с тобой поровну никого нету,— произнесла Дуня, удовлетворенная, что ее горе не самое большое на свете: у других людей такое же.

— У меня-то горя побольше твоего будет: я и прежде вдовая жила,— проговорила Мария Васильевна.— А двое-то моих сыновей здесь, у посада, легли. Они в рабочий батальон поступили, когда фашисты из Петропавловки на Митрофаньевский тракт вышли... А дочка моя повела меня отсюда куда глаза глядят, она любила меня, она дочь моя была, потом она отошла от меня, она полюбила других, она полюбила всех, она пожалела одного — она была добрая девочка, она наклонилась к нему, он был больной, он раненый, он стал как неживой, и ее тоже тогда убили, убили сверху, от аэроплана... А я вернулась. Мне-то что же теперь! Мне все равно! Я сама теперь как мертвая...

— А что же тебе делать-то: живи как мертвая, я тоже так живу,— сказала Дуня.— Мои лежат, и твои легли... Я-то знаю, где твои лежат,— они там, куда всех сволокли и схоронили, я тут была, я-то глазами своими видела. Сперва они всех убитых покойников сосчитали, бумагу составили, своих отдельно положили, а наших прочь отволокли подалее. Потом наших всех раздели наголо и в бумагу весь прибыток от вещей записали. Они долго таково заботились, а потом уж хоронить таскать начали...

— А могилу-то кто вырыл? — обеспокоилась Мария Васильевна.— Глубоко отрыли-то? Ведь голых, зябких хоронили, глубокая могила была бы потеплее!..

— Нет, каково там глубоко! — сообщила Дуня.— Яма от снаряда, вот тебе и могила. Навалили туда дополна, а другим места не хватило. Тогда они танком проехали через могилу по мертвым, покойники умялись, место стало, и они еще туда положили, кто остался. Им копать желания нету, они силу свою берегут. А сверху забросали чуть-чуть землей, покойники и лежат там, стынут теперь; только мертвые и стерпят такую муку — лежать век нагими на холоде...

— А моих-то — тоже танком увечили или их сверху цельными положили? — спросила Мария Васильевна.

— Твоих-то? — отозвалась Дуня.— Да я того не углядела... Там, за посадом, у самой дороги, все лежат, пойдешь — увидишь. Я им крест из двух веток связала и поставила, да это ни к чему: крест повалится, хоть ты его железный сделай, а люди забудут мертвых...

Потом, когда уже свечерело, Мария Васильевна поднялась: она была старая женщина, она теперь устала: она попрощалась с Дуней и пошла в сумрак, где

лежали ее дети — два сына в ближней земле и дочь в отдалении.

Мария Васильевна вышла к посаду, что прилегал к городу. В посаде жили раньше в деревянных домиках садоводы и огородники; они кормились с угодий, прилегающих к их жилищам, и тем существовали здесь спокон веку. Нынче тут ничего уже не осталось, и земля поверху спеклась от огня, и жители либо умерли, либо ушли в скитание, либо их взяли в плен и увели в работу и в смерть.

Из пасада уходил в равнину Митрофаньевский тракт. По обочине тракта в прежнее время росли ветлы, теперь их война обглодала до самых пней, и скучна была сейчас безлюдная дорога, словно уже близко находился конец света и редко кто доходил сюда.

Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест, сделанный из двух связанных поперек жалобных, дрожащих ветвей. Мать села у этого креста; под ним лежали ее нагие дети, умерщвленные, поруганные и брошенные в прах чужими руками.

Наступил вечер и обратился в ночь. Осенние звезды засветились на небе; точно, выплакавшись, там открылись удивленные и добрые глаза, неподвижно всматривающиеся в темную землю, столь горестную и влекущую, что из жалости и мучительной привязанности никому нельзя отвести от нее взора.

— Были бы вы живы,— прошептала мать в землю, своим мертвым сыновьям,— были бы вы живы, сколько работы поделали, сколько судьбы испытали! А теперь что ж, теперь вы умерли, где ваша жизнь, какую вы не прожили, кто проживет ее за вас?.. Матвею-то сколько ж было? — двадцать третий шел, а Василию — двадцать восьмой. А дочке было восемнадцать, теперь уж девятнадцатый пошел бы, вчера она именинница была... Сколько я сердца своего истратила на вас, сколько крови моей ушло, но, значит, мало было одного сердца моего и крови моей, раз вы умерли, раз я детей своих живыми не удержала и от смерти их не спасла... Они что же, они дети мои, они жить на свет не просились. Я их родила, пускай сами живут. А жить на земле, видно, нельзя еще, тут ничего не готово для детей: готовили только, да не управились!.. Тут жить им нельзя, а больше им негде было,— что ж нам, матерям, делать-то? Одной-то жить небось и не к чему...

Она потрогала могильную землю и прилегла к ней лицом. В земле было тихо, ничего не слышно.

— Спят,— прошептала мать,— никто и не пошевельнется,— умирать было трудно, и они уморились. Пусть спят, я обожду — я не могу жить без детей, я не хочу жить без мертвых...

Мария Васильевна отняла лицо от земли: ей послышалось, что ее позвала дочь Наташа; она позвала ее, не промолвив слова, будто произнесла что-то одним своим слабым вздохом. Мать огляделась вокруг, желая увидеть, откуда взывает к ней дочь, откуда прозвучал ее кроткий голос — из тихого поля, из земной глубины или с высоты неба, с той ясной звезды? Где она сейчас, ее погибшая дочь? Или нет ее больше нигде и матери лишь чудится голос Наташи, который звучит воспоминанием в ее собственном сердце?

Потом мать задремала и уснула на могиле.

Полночная заря войны взошла вдалеке, и гул пушек раздался оттуда, там началась битва. Мария Васильевна проснулась, и посмотрела в сторону огня на небе, и прислушалась к частому дыханию пушек. «Это наши идут,— подумала она.— Пусть скорее приходят».

Мать снова припала к могильной мягкой земле, чтобы поближе быть к своим умолкшим сыновьям. И молчание их было осуждением злодеям, убившим их, и горем для матери, помнящей запахи их детского тела и цвет их живых глаз...

К полудню русские танки вышли на Митрофаньевскую дорогу и остановились возле посада на осмотр и заправку.

Один красноармеец с танка отошел от машины и пошел походить по земле, над которой сейчас светило мирное солнце.

Возле креста, связанного из двух ветвей, красноармеец увидел старуху, приникшую к земле лицом. Он склонился к ней и послушал ее дыхание, а потом повернул тело женщины навзничь и для правильности приложился еще ухом к ее груди. «Ее сердце ушло»,— понял красноармеец и покрыл утихшее лицо покойной чистой холстинкой.

— Спи с миром,— сказал красноармеец на прощанье.— Чьей бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже остался сиротой.

Красноармеец пошел обратно, и скучно ему стало

жить без мертвых. Однако он почувствовал, что жить ему теперь стало тем более необходимо. Нужно не только истребить намертво врага жизни людей, нужно еще суметь жить после победы той высшей жизнью, которую нам безмолвно завещали мертвые; и тогда, ради их вечной памяти, надо исполнить все их надежды на земле, чтобы их воля осуществилась и сердце их, перестав дышать, не было обмануто. Мертвым некому довериться, кроме живых, и нам надо так жить теперь, чтобы смерть наших людей была оправдана счастливой и свободной судьбой нашего народа и тем взыскана их гибель.

1943

АФРОДИТА

Жива ли была его Афродита? — с этим сомнением и этой надеждой Назар Фомин обращался теперь уже не к людям и учреждениям — они ему ответили, что нет нигде следа его Афродиты,— но к природе, к небу, к звездам и горизонту. Он верил, что есть какой-либо косвенный признак в мире или неясный сигнал, указывающий ему, дышит ли еще его Афродита или грудь ее уже охладела. Он выходил из блиндажа в поле, останавливался перед синим наивным цветком, долго смотрел на него и спрашивал наконец: «Ну? Тебе там видней, ты со всей землей соединен, а я отдельно хожу,— жива или нет Афродита?» Цветок не менялся от его тоски и вопроса, он молчал и жил по-своему, ветер шел равнодушно поверх травы, как он прошел до того, быть может, над могилой Афродиты или над ее живым смеющимся лицом. Фомин смотрел вдаль на плывущие над горизонтом, сияющие чистым светом облака и думал, что оттуда, с высоты, пожалуй, можно было бы увидеть, где находится сейчас Афродита. Он верил, что в природе есть общее хозяйство и по нему можно заметить грусть утраты или довольство от сохранности своего добра, и хотел разглядеть через общую связь всех живых и мертвых в мире еле различимую, тайную весть о судьбе своей жены Афродиты — о жизни ее или смерти.

Афродита исчезла в начале войны среди народа, отходившего от немцев на восток. Сам Назар Иванович Фомин был в то время уже в армии и не мог ничем помочь любимому существу для его спасения. Афродита была женщина молодая, смышленая, уживчивая и не должна потеряться без следа или умереть от голодной нужды среди своего же народа. Допустимо, конечно, несчастье на дальних дорогах или случайная гибель. Однако ни в природе, ни в людях нельзя было заметить никакого голоса и содрогания, отвечающего печальной вестью открытому, ожидающему сердцу человека, и Афродита должна быть живой на свете. Фомин предался воспоминанию, повторяя в себе следы однажды остановленного счастья...

Он увидел памятью небольшой город, освещенный солнцем, ослепительные известковые стены и черепичные кровли его домов, фруктовые сады, растущие в теплом блаженстве под синим небом. В полуденный час Фомин

шел обычно завтракать в кафе, что было неподалеку от конторы огнестойкого строительства, в которой он служил производителем работ. В кафе играл патефон. Фомин подходил к буфету, просил себе сосисок с капустой, так называемую «летучку», то есть соленый горох, который бросается в рот свободным полетом, и брал вдобавок кружку пива. Женщина, специально работающая на пиве, наливала напиток в кружку, а Фомин следил за пивной струей, принципиально требуя, чтобы ему наливали по черту и не заполняли емкости пустою пеной; в этой ежедневной борьбе с пивной пеной он ни разу внимательно не посмотрел в лицо женщины, служащей ему, и не помнил ее, когда уходил из кафе. Но однажды та женщина глубоко нечаянно вздохнула в неурочное время, и Фомин долгим взором посмотрел на нее. Она тоже смотрела на него; пена переполнила кружку, а служащая, забывшись, не обращала на это внимания. «Стоп!» — сказал ей тогда Фомин и впервые обнаружил, что женщина была молодою, ясной на лицо, с темными блестящими глазами, странно соединяющими в своем выражении задумчивость и насмешку, с дремучими, с дикою силой растущими черными волосами на голове. Фомин отвел от нее свой взор, но чувство его уже прельстилось образом этой женщины, и то чувство не стало затем считаться ни с его разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло вразрез им, уводя человека к его счастью. Он смотрел тогда на пивную пену на столе и был уже равнодушен, что пена полнится напрасно на мраморной плоскости стойки. Позже он с улыбкой назвал Наталью Владимировну Афродитой, образ которой явился для него тоже поверх пены, хотя и не морской воды. И вместе со своей Афродитой Назар Иванович прожил, как муж с женой, двадцать лет, если не считать одного перерыва в два с половиной года, и лишь война разлучила их; а теперь он тщетно спрашивает о ее судьбе у растений и у всех добрых тварей земли и даже всматривается с тем же вопросом в небесные явления облаков и звезд. Справочное бюро об эвакуированных усиленно и давно разыскивало Наталью Владимировну Фомину, но пока еще не отыскало ее. Ближе Афродиты у Назара Ивановича не было человека; он всю жизнь привык с ней беседовать, потому что это помогало его размышлению и внушало ему доверие к делу, которое он исполнял. И ныне, на войне, четвертый год находясь в разлуке с Афродитой, Назар Иванович Фо-

мин в каждое свободное время пишет ей длинные письма и отправляет их в справочное бюро эвакуированных в Бугуруслан, с тем чтобы эти письма были вручены адресату по нахождении его. За войну уже много таких писем, наверное, скопилось в справочном бюро,— иные из них будут вручены, иные никогда и сотлеют без прочтения. Назар Иванович писал жене спокойно и обстоятельно, веря в ее существование и в будущую встречу с ней, но еще ни разу он не получил ответа от Афродиты. Красноармейцы и офицеры, которыми командовал Фомин, тщательно следили за почтой, чтобы не утратилось письмо, адресованное командиру, потому что он был чуть ли не единственный человек в полку, который не получал писем ни от жены, ни от родственников. Теперь давно миновали те счастливые мирные годы. И они не могли длиться постоянно, ибо и счастье должно изменяться, чтобы сохраниться. В войне Назар Иванович Фомин нашел другое свое счастье, иное, чем прежний мирный труд, но тоже родственное ему; после же войны он надеялся узнать более высшую жизнь, чем та, которую он уже испытал, будучи тружеником и воином.

•

Наши авангардные части заняли тот южный город, в котором до войны жил и работал Фомин. Полк Фомина шел в резерве и не был пущен в дело за отсутствием в том нужды.

Полк Фомина расположился в районе города во втором эшелоне, чтобы двинуться затем в дальний марш на запад. Назар Иванович в первую же дневку написал письмо Афродите и пошел на побывку в самый милый город для него на всей русской земле. Город был раздроблен артиллерийским огнем, сожжен пламенем пожаров, а прочные здания его были взорваны врагом в прах. Фомин уже привык видеть истоптанные машинами хлебные нивы, израненную траншеями землю и срытые ударами огня поселения людей; это была пахота войны, где посевалось в землю то, что никогда не должно вновь произрасти на ней,— трупы злодеев, и то, что было рождено для доброй деятельной жизни, но обречено лишь вечной памяти,— плоть наших солдат, посмертно стерегущих в земле павшего неприятеля.

Фомин прошел через фруктовый сад к тому месту, где находилось некогда кафе Афродиты. Был декабрь

месяц. Голые плодовые деревья остыли на зиму и занемели в грустном сне, и протянутые ветви их, державшие в осень плоды, теперь были рассечены очередями пуль и беспомощно повисали книзу на остаточных волокнах древесины, и лишь редкие ветви сохранились в здоровой целости. Многие же деревья были вовсе спилены немцами прочь как материал для постройки обороны.

Дом, где двадцать с лишним лет тому назад находилось кафе, а затем было жилище, сейчас лежал раскрошенный в щебень и мусор, убитый и умерший, выдуваемый ветром в пространство. Фомин еще помнил обличье этого дома, но скоро, за временем, и оно стушуется в нем, и он забудет его. Не так ли где-либо в дальнем, заглохшем поле лежит теперь холодное большое любимое тело Афродиты, и его снедают трупные твари, и оно истаивает в воде и воздухе, и его сушит и носит ветер, чтобы все вещество жизни Афродиты расточилось в мире равномерно и бесследно, чтобы человек был забыт.

Он пошел далее на окраину города, где проживал в детстве. Безлюдье студило его душу, поздний посмертный ветер веял в руинах умолкших жилищ. Он увидел место, где жил и играл в младенчестве. Старый деревянный дом сгорел по самый фундамент, искрошившаяся от сильного жара черепица лежала поверх его детской обители на опаленной земле. Тополь во дворе, под которым маленький Назар спал в летнее время, был спилен и лежал возле своего пня, умерший, с истлевшей корой.

Фомин долго стоял у этого дерева своего детства. Онемевшее сердце его стало вдруг словно бесчувственным, чтобы не принимать больше в себя печали. Затем Фомин собрал несколько уцелевших черепиц и сложил их маленьким правильным штабелем, точно делая заготовку материала для будущего строительства или собирая семена, чтобы снова посеять Россию. Эта черепица и вся другая, что есть в округе, была сделана в мастерских, которые учредил здесь в старое мирное время Фомин и которыми он ведал целые годы.

Фомин пошел в степь; там, в двух верстах от города, он заложил и построил когда-то свою первую прудовую плотину. Он был тогда счастливым строителем, но сейчас грустно и пусто было поле его молодости, изрытое войной и бесплодное; незнакомые былинки изредка виднелись на талом мелком снегу и, равнодушные к человеку, покорно колебались под ветром... Земляная плоти-

на была взорвана в середине своего тела, и водоем осох, а рыбы в нем умерли.

Фомин возвратился в город. Он нашел улицу имени Шевченко и дом, в котором он жил после возвращения из Ростова, когда окончил там политехническое училище. Дома не было, но осталась скамья. Она стояла раньше под окнами его квартиры; он сидел по вечерам на этой скамье, сначала один, а позже с Афродитой, и в этом, ныне погибшем доме они жили тогда вдвоем в одной комнате с окнами на улицу. Отец его, мастер литейного завода, скоропостижно умер, когда Фомин еще учился в Ростове, а мать вышла вторично замуж и уехала на постоянное жительство в Казань. Юный Назар Фомин остался жить тогда одиноким, но весь мир, освещенный солнцем, полный привлекательных людей, влекущий мир юности и нерешеных вечных тайн, мир, еще не устроенный и скудный, но одушевленный надеждой и волей рабочих-большевиков,— этот мир ожидал юношу, и знакомая родная земля, оголодалая, оголенная бедствиями первой мировой войны, лежала перед ним.

Фомин сел на скамью, где много летних тихих вечеров он провел в беседах и в любви с Афродитой. Теперь перед ним был пустой, разрушенный мир, и лучшего друга его уже, может быть, не стало на свете. Все надо теперь сделать сначала, чтобы продолжать задуманное еще четверть века тому назад.

Наверное, совсем иначе направилась бы жизнь Назара Фомина, если бы в минувшие дни юности его не воодушевила вера в смысл жизни рабочего класса. Он бы, возможно, прожил свою жизнь более спокойно, но уныло и бесплодно; он бы имел свою отдельную участь, но не узнал бы той судьбы, когда, доверив народу лишь одно свое сердце, он почувствовал и узнал больше, чем положено одному. И он стал жить всем дыханием человечества. Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде,— тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтобы иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни.

Советская Россия тогда только начала свою судьбу. Народ направился в великий, безвозвратный путь — в то

историческое будущее, куда еще никто впереди него не шествовал: он пожелал найти исполнение всех своих надежд, добыть в труде и подвигах вечные ценности и достоинство человеческой жизни и поделиться ими с другими народами. Фомин видел в молодости на Азовском море одно простое видение. Он был на берегу, и одинокое парусное рыбачье судно уходило вдаль по синему морю под сияющим светло-золотым небом; судно все более удалялось, белый пар его своим кротким цветом отражал солнце, но корабль долго еще был виден людям на берегу; потом он скрылся вовсе за волшебным горизонтом. Назар почувствовал тогда тоскующую радость, словно кто-то любящий его позвал за собою в сияющее пространство неба и воды, а он не мог еще пойти за ним вослед. И подобно тому кораблю, исчезающему в даль света, представилась ему в тот час Советская Россия, уходящая в даль мира и времени.

Он помнил еще какой-то полуденный час одного забытого дня. Назар шел полем, спускаясь в балку, заросшую дикой прекрасной травою; солнце с высоты звало всех к себе, и из тьмы земли поднялись к нему в гости растения и твари — они были все разноцветные; каждый — иной и не похожий ни на кого: кто как мог, тот так и сложился и ожил в земле, лишь бы выйти наружу, дыша и торжествуя, и быть свой срок на всеобщем свидании всего существующего, чтобы успеть полюбить живущих и затем снова навсегда разлучиться с ними. Юный Назар Фомин почувствовал тогда великое немое горе вселенной, которое может понять, высказать и одолеть лишь человек, и в этом состоит его обязанность. Назар обрадовался в то время своему долгу человека, он знал наперед, что выполнит его, потому что рабочий класс и большевики взяли на себя все обязанности и бремя человечества, и посредством героической работы, силою правильного понимания своего смысла на земле рабочий народ исполнит свое назначение, и темная судьба человечества будет осенена истиной. Так думал Назар Фомин в юности. Он тогда больше чувствовал, чем знал, он еще не мог изъяснить идею всех людей ясными словами, но для него было достаточно одной счастливой уверенности, что сумрак, покрывающий мир и затеняющий человеческое сердце, не вечная тьма, а лишь туман перед рассветом.

Сверстники Назара Фомина, комсомольцы и большевики, были одушевлены тою же идеей создания нового

мира, они так же, как и Назар, были убеждены, что они призваны Лениным участвовать во всемирном подвиге человечества,— ради того, чтобы началось наконец на земле время истинной жизни, чтобы исполнились все надежды людей, чего они заслужили веками труда и смертных жертв, которые они сберегли в долгом опыте и в терпеливом размышлении...

По окончании специального училища в Ростове-на-Дону Назар Фомин вернулся на родину, в этот же город, где он сидел сейчас в одиночестве. Назар стал тогда техником-строителем, и началось деяние его жизни. Все материальное, серое и обыкновенное он принял столь близко к сердцу, что оно стало для него духовным и питало его страсть к работе. Сейчас он уже не помнил — сознавал ли он в то время, что все действительно возвышенное рождается лишь из житейской нужды; но он своими руками делал тогда это превращение материального в духовное, и он верил в правду революции, потому что сам совершал ее и видел ее действие на судьбе народа.

Назар Фомин заведовал вначале сельским огнестойким строительством в районе — это считалось небольшой должностью. Но он воодушевился этой работой, он принял ее в свое сердце не как службу, но как смысл своего существования, и смотрел страстными глазами на впервые изготовленное в кустарной мастерской черепичное изделие; он погладил тогда первую черепичную плитку, понюхал ее и унес к себе в комнату, где жил, чтобы вечером и наутро еще раз рассмотреть ее — действительно ли она вполне хороша и прочна, чтобы на долгие годы лечь вместо соломы в кровлю сельских хат и тем сберечь крестьянские жилища от пожаров. Он тогда же изучил статистику пожаров в своем районе по земским сведениям и рассчитал, что если черепица заменит соломенную кровлю, то крестьянство от одной экономии на убытках от огня может, например, через три года построить в каждом селе по артезианскому колодцу с обильной здоровой водой или еще что-либо, а в последующие три-четыре года можно на те же средства, спасенные черепицей от огня, построить местную электрическую станцию с мельницей и крупорушкой. От этих соображений Назар Фомин мог, не скучая, долго смотреть на черепичную плитку и думать о том, как ее сделать еще прочнее и дешевле — черепица была тогда его чувством и пережи-

ванием, она заменяла ему книгу и друга — человека; позже он понял, что никакой предмет не может заместить ему человека, но в молодости ему хватало одного воображения человека.

Бывают времена, когда люди живут лишь надеждами и ожиданием перемены своей судьбы; бывает время, когда только воспоминание о прошлом утешает живущее поколение, и бывает счастливое время, когда историческое развитие мира совпадает в людях с движением их сердец. Назар Фомин был человеком счастливого времени своего народа, и вначале, как многие его сверстники и единомышленники, он думал, что наступила эпоха кроткой радости, мира, блаженства и братства, которая постепенно распространится по всей земле. Для того чтобы это было в действительности, достаточно лишь строить и трудиться: так верил тогда молодой человек Фомин.

И Назар Фомин создал себе душевный покой любовью к жене Афродите и своей верностью ей; он смирил тем в себе все смутные страсти, увлекавшие его в темные стороны чувственного мира, где можно лишь бесполезно, хотя, может быть, и сладостно расточить свою жизнь, и он отдал свои силы работе и служению идее, ставшей влечением его сердца,— тому, что не расточало человека, а вновь и непрерывно возрождало его, в чем стало состоять его наслаждение, не яростное и изможлающее, но кроткое, как тихое добро.

Назар Фомин в те времена был занят, как и его поколение людей, одухотворением мира, существовавшего дотоле в убогом виде, в разрозненности и без общего ясного смысла.

В начале своей работы Фомин делал черепицу для огнестойких покрытий; затем его обязанности увеличились, и вскоре он был избран заместителем председателя поселкового Совета; по действительному значению своей деятельности он стал главным инженером всех работ в поселке и в окружающем его районе. Тогда еще этот город считался слободой, которая являлась районным или волостным центром.

Фомин строил плотины в сухой степи для водопоя скота, он рыл в поселках колодцы с креплением из бетонных колец и замащивал дороги по всей округе из местной породы камня, чтоб всеми средствами одолеть бедность хозяйства и приобщить ко всему народу одинокую крестьянскую душу.

Но он уже тогда думал о более существенном, и даже в сновидениях одна и та же дума продолжалась в нем, обнадеживая его счастьем. Два года Фомин готовил свое дело, пока районный исполком не доверил ему начать его. Это дело состояло в постройке в слободе электрической станции, с постепенным расширением электрической сети от нее на всю волость, чтобы дать народу свет для чтения книг, машинную силу в облегчение его труда и тепло в зимнее время для отопления жилищ и скотных помещений. От исполнения этой простой мечты весь уклад жизни населения должен измениться, и человек тогда почувствует освобождение от бедности и горя, от тягости труда, изможлающего его до костей, и все же ненадежного, не дающего ему жизненного благополучия...

Тени воспоминания проходили сейчас по лицу полковника Фомина, сидевшего посреди руин поврежденного города, который он некогда создал со своими товарищами. Воспоминания запечатлевали на его лице то улыбку, то грусть, то спокойное воображение давно минувшего.

Он построил тогда электрическую станцию. В клубе волполитпросвета был бал в честь открытия к действию мощной по тому времени силовой электростанции, и Афродита тогда танцевала на том балу, освещенном сиянием электричества, под оркестр из трех баянов, и она была счастливее самого Назара, потому что дело ее мужа удалось.

Но трудно было тогда Фомину вести постройку. Волостных средств отпустили по бюджету мало; потребовалось поэтому разъяснить всему населению волости пользу электричества, чтобы народ вложил в постройку станции и электрической сети свой труд и свои сложенные вместе скопленные средства. Ради того Фомин организовал тогда тридцать четыре крестьянских товарищества по электрификации и объединил их в волостной союз. Это стоило ему много сердца, тревоги и беспокойного труда. Он вспомнил одну крестьянскую девушку-сироту, Евдокию Ремейко; родители оставили ей небольшое девическое приданое, она без остатка внесла его в свой пай и потом усерднее и охотнее многих работала как плотник второй руки на постройке здания станции. Сейчас Евдокия Ремейко, если еще жива на свете, то она уже пожилая женщина, а была бы она молодая, то служила бы, наверное, в Красной Армии или воевала в партизанском отряде. Фомин вспомнил еще многих людей,

работавших с ним тогда,— крестьян и крестьянок, слободских жителей, стариков и юношей. Они со всей искренностью и чистосердечием, изо всего своего уменья строили новый мир на земле. Их затаенные, сдавленные способности объявились тогда наружу и начали развиваться в осмысленной, благодатной работе; их душа, их понимание жизни светлели и росли тогда, как растут растения из земли, с которой сняты каменные плиты. Станция еще не была вполне достроена и оборудована, а Фомин уже видел с удовлетворением, что ее строители — крестьяне, работавшие добровольно сверх своего хлебного труда на полях,— настолько углубились в дело и почувствовали через него интерес друг к другу и свою связь с рабочим классом, сделавшим машины для производства электричества, что убогое одиночество их сердец отошло от них, и единолично-дворовое равнодушие ко всему незнакомому миру и страх перед ним также стали оставлять их. Правда, в тайном замысле каждого человека есть желание уйти со своего двора, из своего одиночества, чтобы увидеть и пережить всю вселенную, но надо найти посильные и доступные для всех пути для того. Старый крестьянин Еремеев выразил тогда Фомину свою смутную мысль о том же:

«Иль мы не чувствуем, Назар Иванович, что Советская власть нам рыск жизни дает: действуй, мол, радуйся и отвечай сам за добро и за лихо, ты, мол, теперь на земле не посторонний прохожий. А прежде-то какая жизнь была: у матери в утробе лежишь — себя не помнишь, наружу вышел — гнетет тебя горе и беда, живешь в избе, как в каземате, и света не видать, а помер — лежи смирно в гробу и забудь, что ты был. Повсюду нам было тесное место, Назар Иванович,— утроба, каземат да могила —одно беспамятство, и ведь каждый всем мешал! А теперь каждый всем в помощь — вот она где, Советская власть и кооперация!»

Где тот старик Еремеев теперь? Может быть, и существует еще? Хотя едва ли, уж много прошло времени.

Электрическая станция работала недолго; через семь дней после пуска ее в действие она сгорела. Назар Фомин был в тот час за сорок верст от слободы; он выехал, чтобы осмотреть плотину возле хутора Дубровка, размытую осенним паводком, и установить объем работ для ее восстановления. Ему сообщили о пожаре с верховым нарочным, и Фомин сразу поехал обратно.

На окраине слободы, где еще вчера было новое саманное здание электростанции, теперь стало пусто. Все сотлело в прах. Остались лишь мертвые металлические тела машин вертикального двигателя и генератора. Но от жара из тела двигателя вытекли все их медные части; сошли и окоченели на фундаменте ручьями слез подшипники и арматура; у генератора расплавились и отекли контактные кольца, изошла в дым обмотка и выкипела в ничто вся медь.

Назар Фомин стоял возле своих умерших машин, глядевших на него слепыми отверстиями выгоревших нежных частей, и плакал. Ненастный ветер уныло гремел железными листами на полу, свернувшимися от пережитого ими жара. Фомин поглядел в тот грустный час своей жизни на небо; поверху шли темные облака осени, гонимые угрюмой непогодой; там было скучно и не было сочувствия человеку, потому что вся природа, хоть она и большая, она вся одинокая, не знающая ничего, кроме себя. Лишь здесь, что сгорело в огне, было иное; тут был мир, созданный людьми в сочувствии друг другу, здесь в малом виде исполнилась надежда на высшую жизнь, на изменение и оживление в будущем всей тягостной, гнетущей самое себя природы,— надежда, существующая, возможно, во всей вселенной только в сердце и сознании человека, и не всякого человека, а того лишь, который первым в жертве, в работе и в революции пробился к такому пониманию своей судьбы. Как мала еще, стало быть, эта благая сила в размерах огромного мира и как ее надо беречь.

Для Назара Фомина наступило печальное время; следственная власть сообщила ему, что станция сгорела не по случайности или небрежности, а сожжена злодейской рукой. Этого не мог сразу понять Фомин — каким образом то, что является добром для всех, может вызвать ненависть и стать причиной злодейства. Он пошел посмотреть человека, который сжег станцию. Преступник на вид показался ему обыкновенным человеком, и о действии своем он не сожалел. В словах его Фомин почувствовал неудовлетворенную ненависть, ею преступник и под арестом питал свой дух. Теперь Фомин уже не помнил точно его лица и слов, но он запомнил его нескрытую злобу перед ним, главным строителем уничтоженного народного создания, и его объяснение своего поступка как действия, необходимого для удовлетворения его ра-

зума и совести. Фомин молча выслушал тогда преступника и понял, что переубедить его словом нельзя, а переубедить делом можно, но только он никогда не даст возможности совершить дело до конца, он постоянно будет разрушать и уничтожать еще вначале построенное не им.

Фомин увидел существо, о котором он предполагал, что его либо вовсе нет на свете, либо оно после революции живет уже в немощном и безвредном состоянии. На самом же деле это существо жило яростной жизнью и даже имело свой разум, в истину которого оно верило. И тогда вера Фомина в близкое блаженство на всей земле была нарушена сомнением; вся картина светлого будущего перед его умственным взором словно отдалилась в туманный горизонт, а под его ногами опять стлалась серая, жесткая, непроходимая земля, по которой надо еще долго идти до того сияющего мира, который казался столь близким и достижимым.

Крестьяне, строители и пайщики электростанции сделали собрание. На собрании они выслушали слова Фомина и задумались в молчании, не тая своего общего горя. Потом вышла Евдокия Ремейко и робко сказала, что надо снова собрать средства и снова отстроить погоревшую станцию; в год или полтора можно сызнова все сработать своими руками, сказала Ремейко, а может быть, и гораздо скорее. «Что ты, девка,— ответил ей с места повеселевший крестьянин, неизвестно кто,— одно приданое в огне прожила, другое суешь туда же: так ты до гробовой доски замуж не выйдешь, так и зачахнешь в перестарках!»

Обсудив дело, сколько выдаст Госстрах по случаю пожара, сколько поможет государство ссудой, сколько останется добавить из нажитого трудом, пайщики положили себе общей заботой построить станцию во второй раз. «Электричество потухло,— сказал кустарь по бочарному делу Евтухов,— а мы и впредь будем жить неугасимо! А тебе, Назар Иванович, мы все в целости мерикандуем в карикатическом смысле строить по плану и масштабу, как оно было!» Евтухов любил и великие и малые дела рекомендовать к исполнению в категорическом смысле; он и жил категорически и революционно и изобрел круглую шаровую бочку. Словно теплый свет коснулся тогда омраченной души Назара Фомина. Не зная, что нужно сделать или сказать, он прикоснулся к Евдокии Ремейко и, стыдясь людей, хотел поцеловать ее

в щеку, но осмелился поцеловать только в темные волосы над ухом. Так было тогда, и живое чувство счастья, запах волос девушки Ремейко, ее кроткий образ до сих пор сохранились в воспоминании Фомина.

И снова Назар Фомин на прежнем месте построил электрическую станцию, в два раза более мощную, чем погибшая в огне. На эту работу ушло почти два года. За это время Афродита оставила Назара Фомина; она полюбила другого человека, одного инженера, приехавшего из Москвы на монтаж радиоузла, и вышла за него вторым браком. У Фомина было много друзей среди крестьян и рабочего народа, но без своей любимой Афродиты он почувствовал себя сиротой, и сердце его продрогло в одиночестве. Он раньше постоянно думал, что его верная Афродита — это богиня, но теперь она была жалка в своей нужде, в своей потребности к новой любви, в своей привязанности к радости и наслаждению, которые были сильнее ее воли, сильнее ее верности и гордой стойкости по отношению к тому, кто любил ее постоянно и единственно. Однако и после разлуки с Афродитой Назар Фомин не мог отвыкнуть от нее, и любил ее как прежде; он и не хотел бороться со своим чувством, превратившимся теперь в страдание: пусть обстоятельства отняли у него жену и она физически удалилась от него, но ведь не обязательно близко владеть человеком и радоваться лишь возле него — достаточно бывает чувствовать любимого человека постоянным жителем своего сердца; это, правда, труднее и мучительней, чем близкое, удовлетворенное обладание, потому что любовь к равнодушному живет лишь за счет одной своей верной силы, не питаясь ничем в ответ. Но разве Фомин и другие люди его страны изменяют мир к лучшей судьбе ради того, чтобы властвовать над ним или пользоваться им затем как собственностью?.. Фомин вспомнил еще, что у него явилась тогда странная мысль, оставшаяся необъяснимой. Он почувствовал в разлуке с Афродитой, что злодейская сила снова вступила поперек его жизненного пути; в своей первопричине это была, может быть, та же самая сила, от которой сгорела электростанция. Он понимал разницу событий, он видел их несоответственно, но они равно жестоко разрушали его жизнь, и противостоял им один и тот же человек. Возможно, что он сам был повинен перед Афродитой,— ведь бывает, что зло совершается без желания, невольно и незаметно, и даже тогда,

когда человек напрягается в совершении добра другому человеку. Должно быть, это бывает потому, что каждое сердце разное с другим: одно, получая добро, обращает его целиком на свою потребность, и от доброго ничего не остается другим; иное же сердце способно и злое переработать, обратить в добро и силу — себе и другим.

После утраты Афродиты Назар Фомин понял, что всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как он их представлял дотоле, есть ложная мечта и не в том состоит истина человека и его действительное блаженство. Одолевая свое страдание, терпя то, что его могло погубить, снова воздвигая разрушенное, Фомин неожиданно почувствовал свободную радость, независимую ни от злодея, ни от случайности. Он понял свою прежнюю наивность, вся натура его начала ожесточаться, созревая в бедствиях, и учиться способности одолевать, срабатывать каменное горе, встающее на жизненном пути: и тогда мир пред ним, доселе, как ему казалось, ясный и доступный, теперь распространился в дальнюю таинственную мглу — не потому, что там было действительно темно, печально или страшно, а потому, что он действительно был более велик во всех направлениях и сразу его нельзя обозреть — ни в душе человека, ни в простом пространстве. И это новое представление более удовлетворяло Фомина, чем то убогое блаженство, ради которого, как прежде он думал, только и жили люди.

Но он тогда, вместе со своим поколением, находился лишь у начала нового жизненного пути всего русского советского народа; и все, что переживал в то время Назар Фомин, было только вступлением к его трудной судьбе, первоначальным испытанием юного человека и его подготовкой к необходимому историческому делу, за свершение которого взялся его народ. В сущности, в стремлении к счастью для одного себя есть что-то низменное и непрочное; лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет, начинается человек, и в том состоит его высшее удовлетворение, или истинное вечное счастье, которого уже не может истребить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние. Но тогда он не мог скрыть своей печали от своих несчастий, и если бы возле него не было людей, любивших его как единомышленника, может быть, он вовсе бы пал духом и не оправился. «Успокойся,— с грустью понимания сказал ему один близкий товарищ,— ты успокойся! Чего ты ожидал

другого — кто нам приготовил здесь радость и правду? Мы сами их должны сделать, потому наша партия и совершает смысл жизни в мире... Наша партия — это гвардия человечества, и ты гвардеец! Партия воспитывает не блаженных телят, а героев для великой эпохи войн и революций... Перед нами будут все более возрастать задачи, мы подымемся на такие горы, откуда видны будут все горизонты до самого конца света! Чего же ты скулишь и скучаешь! Живи с нами, что тебе, все тепло от одной домашней печки да от жены, что ли! Ты сам умный, ты знаешь, нам не нужна немощная, берегущая себя тварь! Другое время теперь наступило!»

Фомин в первый раз услышал тогда слово «гвардия»... Жизнь его продолжалась далее. Афродита, жена Назара Фомина, оскорбленная неверностью второго мужа, встретила однажды Назара и сказала ему, что ей живется грустно и она тоскует по нем, что она неправильно понимала жизнь, желая лишь радоваться в ней и не знать ни долга, ни обязанностей. Назар Фомич молча выслушал Афродиту; ревность и уязвленное самолюбие еще существовали в нем, подавленные, почти безмолвные, но все еще живые, как бессмертные твари. Но радость его перед лицом Афродиты, близость ее сердца, бьющегося навстречу ему, умертвили его жалкую печаль, и он после двух с лишним лет разлуки поцеловал руку Афродиты, протянутую к нему.

Пошли новые годы жизни. Много раз обстоятельства превращали Фомина в жертву, подводили на край гибели, но его дух уже не мог истощиться в безнадежности или в унынии. Он жил, думал и работал, словно постоянно чувствуя большую руку, ведущую его нежно и твердо вперед — в судьбу героев. И та же рука, что вела его твердо вперед, та же большая рука согревала его, и тепло ее проникало ему до сердца.

— До свиданья, Афродита! — вслух сказал Назар Фомин.

Где бы она ни была сейчас, живая или мертвая, все равно здесь, в этом обезлюдевшем городе, до сих пор еще таились следы ее ног на земле и в виде золы хранились вещи, которые она когда-то держала в руках, напечатлев в них тепло своих пальцев. Здесь повсюду существовали незаметные признаки ее жизни, которые целиком никогда не уничтожаются, как бы глубоко мир не изменился. Чувство Фомина к Афродите удовлетво-

рялось в своей скромности даже тем, что здесь когда-то она дышала и воздух родины еще содержит рассеянное тепло ее уст и слабый запах ее исчезнувшего тела — ведь в мире нет бесследного уничтожения.

— До свидания, Афродита! Я тебя сейчас только чувствую в своем воспоминании, но я хочу видеть тебя всю, живой и целой!..

Фомин встал со скамьи, поглядел па город, .пизко осевший в свои руины, свободно просматриваемый теперь из конца в конец, поклонился ему и пошел обратно в полк. Сердце его, наученное терпению, было способно снести все, может быть, даже вечную разлуку, и оно способно было сохранить верность и чувство привязанности до окончания своего сушествования. Втайне же он имел в себе гордость солдата, который может исполнить любой труд и подвиг человека; и Фомин был счастливым, когда сбивал противника, вросшего в бетон и в землю, или когда отчаяние своей души превращал в надежду, а надежду — в успех и в победу.

Ординарец зажег свет в маленькой стеариновой плошке па деревянном кухонном столе. Фомин снял шинель и сел писать письмо Афродите: «Дорогая Наташа, ты верь мне и не забывай меня, как я тебя помню. Ты верь мне, что все сбудется, как быть должно, и мы снова будем жить неразлучно. У нас еще будут с тобою прекрасные дети, которых мы обязаны родить. Они томят мое сердце тоской по тебе...»

1945—1946

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Кузин. Навстречу будущему . . . 3

ПОВЕСТИ

Происхождение мастера 25
«Эфирный тракт» 79
Город Градов 145
Сокровенный человек 175

РАССКАЗЫ

О лампочке Ильича 245
Жена машиниста 255
Третий сын 261
В прекрасном и яростном мире /Машинист Мальцев/ 267
На заре туманной юности 280
Фро 305
Скрипка 327
Среди животных и растений 342
Свежая вода из колодца 364
Мать (Взыскание погибших) 377
Афродита 383

Платонов А. П.

П37 Жена машиниста. Повести и рассказы. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1979.

400 с., портр. автора.

Однотомник избранных произведений выдающегося советского писателя. Главная тема книги — свободный труд как основа человеческого бытия, как процесс освоения мира.

П $\frac{70302-071}{M158(03)-79}$ Р2

ИБ № 372

Андрей Платонович Платонов

ЖЕНА МАШИНИСТА

Редактор М. А. Федотовских. Художник А. М. Туманов. Художественный редактор Я. И. Черняхов. Технический редактор Т. В. Меньщикова. Корректоры Г. Г. Быкова, М. А. Казанцева.

Сдано в набор 3.11.78. Подписано в печать 23.05.79. НС 19111. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Типографская № 1. Обыкновенная новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,1. Уч-изд. л. 22,3. Тираж 70 000. Заказ 654. Цена 2 р. 10 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

верд-

ся со-
труд
оения

Р2

манов.
ий ре-
ыкова,

.05.79.
№ 1.
печ.
Цена

ловск,
очий»,